

НОВЫЙ Журнал

113

THE NEW
REVIEW

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of August 12, 1970: Section 3685. Title 39, United States Code)

1. Title of Publication—The New Review.
2. Date of Filing—[Sept. 26. 73.]
3. Frequency of issue—Quarterly (March, June, September, December).
4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

6. Names and addresses of publisher, editor, and managing editor—Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025; Managing editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc.—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Alexis Goldenweiser, President 523 West 112-th Street, New York, 10025; Zoya Yurieff, Secretary 46-04, 196-th Street Flushing, N.Y. 11358.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None.

9. For optional completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121, Postal Service Manual).

39 U. S. C. 3626 provides in pertinent part: "No person who would have been entitled to mail matter under former section 4359 of this title shall mail such matter at the rates provided under this subsection unless he files annually with the Postal Service a written request for permission to mail matter at such rates."

In accordance with the provisions of this statute, I hereby request permission to mail the publication named in Item 1 at the reduced postage rates presently authorized by 39 U. S. C. 3626.

(Signature and title of editor, publisher, business manager, or owner).—Roman Goul, Editor.

10. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

11. Extent and nature of circulation

	<i>Average No. of copies each issue during preceding 12 months</i>	<i>Actual number of copies of single issue published nearest to filling date</i>
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1600	1600
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	388	386
2. Mail Subscriptions	1141	1111
C. Total paid circulation	1529	1497
D. Free distribution by mail, carrier or other means		
1. Samples, complimentary, and other free copies	21	23
2. Copies distributed to news agents, but not sold	—	2
E. Total distribution (Sum of C and D)	1550	1599
F. Office use, left-over, unaccounted, spoiled after printing	50	78
G. Total (Sum of E & F—should equal net press run shown in A)	1600	1600

I certify that the statements made by me above are correct and complete.

(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцать второй год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, December 1973
Quarterly No. 113
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Н. Эрдман</i> — Самоубийца	5
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	37
<i>В. Шаламов</i> — Тишина	39
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	47
<i>Ю. Кротков</i> — Последнее слово	49
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	57
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	58
<i>З. Шаховская</i> — Лоскутки	59
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи	64
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	65
<i>М. Волин</i> — Генерал и дракон	66
<i>Б. Нарциссов</i> — Стихи	70
<i>В. Иверин</i> — Стихи	71
<i>Т. Лопухина-Родзянко</i> — Духовные основы в творчестве Солженицына	72
<i>В. Бетак</i> — Стихи	81
<i>О. Ильинский</i> — Лермонтов и Плотин	82
<i>Е. Матвеева</i> — Стихи	88
<i>Л. Владимирова</i> — Стихи	89
<i>М. Дубинин</i> — Радищев и Пушкин	90
<i>Н. Коржавин</i> — Церковь Спаса на крови	106
<i>В. Вейдле</i> — Звучащие смыслы	108
<i>С. Мар</i> — Стихи	127
<i>Г. Евангулов</i> — Баллада о дровосеке	128

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Из дневников и записей И. А. Бунина</i> (публ. М. Грин) .	129
<i>Письма артиста МХТ И. Ф. Колина</i> (публ. К. Аренского)	149
<i>Письма М. В. Добужинского</i> (публ. Е. Климова).....	175

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Б. Суварин</i> — «Сталинизм» по Рою Медведеву	190
<i>Ж. Медведев</i> — А. Д. Сахаров и проблема мирного сотрудничества	212
<i>Р. Гуль</i> — Книга Жореса Медведева	226
<i>Н. Андреев</i> — «Свиток» Н. И. Ульянова	233
<i>А. Авторханов</i> — Кто же «отец колхозов»?	242
<i>Б. Толстой</i> — Установление личности «Индриса», родоначальника Толстых .	257

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>С. Пушкарев</i> — Г. В. Вернадский	266
---	-----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>А. Лукашкин</i> — Казачья печать в Маньчжурии	271
<i>Б. Прянишников</i> — Урок на будущее (письмо в редакцию)	277

БИБЛИОГРАФИЯ: <i>О. Анстей</i> — Б. Зайцев. Избранное. <i>Р. Гуль</i> — А. Донат. Неопалимая купина. <i>И. Одоевцева</i> — И. Чиннов. Композиция. <i>Б. Нарциссов</i> — Р. Гуль. Одвуконь. <i>С. Крыжицкий</i> — Август 14-го читают на родине. <i>Ю. Иваск</i> — И. Шувалов. Молоко и хлеб. <i>Ю. Иваск</i> — М. Цветаева. Незданные письма. <i>Б. Нарциссов</i> — Е. Таубер. Нездешний дом. <i>Б. Нарциссов</i> — А. Rannit. Kaljud. Sõrmus. <i>Ю. Иваск</i> — I. Rakuša. Studien zum Motiv der Einsamkeit in der russischen Literatur	279
--	-----

Указатель содержания от 102-й до 113-й книги «Нового Журнала»	303
---	-----

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011



САМОУБИЙЦА

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

(Та же комната, что и в первом действии. Все приведено в порядок)

Явление первое

(Семен Семенович восседает на табурете с огромной трубой, одетой через плечо. Перед ним раскрыт самоучитель. В стороне на стульях Мария Лукьяновна и Серафима Ильинишна)

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ *(читает)*: «Глава первая». Под названием «Как играть». «Для игранья на бейном басы применяется комбинация из трех пальцев. Первый палец на первый клапан, второй палец на второй клапан, третий палец на третий клапан». Так. «При вдутии получается нота «си». *(Дует. Снова дует)* Это что ж за сюрприз за такой получается? Воздух вышел, а звука нет.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Ну, Мария, теперь держись. Если он в геликоне разочаруется...

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Стой, стой, стой. Так и есть. Вот глава специально о выпуске воздуха под названием «Как дуть». «Для того, чтобы правильно выпустить воздух, я — всемирно известный художник звука Теодор Гуго Шульц — предлагаю простой и дешевый способ. Оторвите кусочек вчерашней газеты и положите ее на язык».

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: На язык?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: На язык. Серафима Ильинишна. Ну-ка, дайте сюда «Известия». *(Серафима Ильинишна подбегает с газетой)* Отрывайте.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Поменьше, поменьше, мамочка...

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну, кладите теперь, Серафима Ильинишна.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Что же вам помогает, Семен Семенович?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: И-е-ае-е, о-ога-е, и-ай-е, а-е. А-е, а-е, и-ай-е, я-а, го-го-ю.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: У-а!

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: У-а я го-гогою.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что ты, Сенечка, говоришь? Я, ей Богу, не понимаю.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: *(выплескивает бумажку)*: Дура, я говорю. Понимаешь теперь? Я по-русски сказал вам — ЧИТАЙТЕ дальше. Оторвите кусочек вчерашней газеты и положите ее на язык. Дальше что?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА. Дальше, Сенечка, сказано *(читает)*: «Сплюньте эту газету на пол. Постарайтесь запомнить во время плевания положение вашего рта. Зафиксировав данное положение, дуйте так же, как вы плюете». Всё.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Прошу тишины и внимания. *(Отрывает кусочек газеты)* Отойдите в сторону, Серафима Ильинишна. *(Кладет на язык. Сплювывает. Начинает дуть)* Что за черт, ни черт!

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Кончен бал! Начинает шароcharываться. *(Семен Семенович снова сплевывает. Собирается дуть)*

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Господи! Если Ты существуешь на самом деле, исполни ему звук. *(В этот самый момент коммату оглашает совершенно невероятный рев трубы)*

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Я тебе говорила, что существует. Вот, пожалуйста, факт налицо.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну, Мария, бери расчет. Больше ты на работу ходить не будешь.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Как же так?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: А на что же мы будем жить?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Я заранее все подсчитал и высчитал. Приблизительно двадцать концертов в месяц по пяти с половиной рублей за штуку. Это в год составляет... Одну минутку. *(Шарит в кармане)* Где-то здесь у меня подведен итог. *(Вынимает записку)* Вот он. Слушайте. *(Раскрывает записку. Читает)*: «В смерти мо...» *(Пауза)* Нет, не то. *(Прячет. Вынимает другую)* Вот. Вот написано: «В год мой заработок выражается в тысячу триста двадцать рублей». Да-с. А вы говорите — на что нам жить.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Но ведь вы еще даже не учились, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Для меня научиться теперь, Серафима Ильинишна, раз плюнуть. *(Берет бумажку. Сплесывает. Дует. Труба ревет)* Слышали? Через эту трубу, Серафима Ильинишна, к нам опять возвращается незабвенная жизнь. Нет, ты только подумай, Машенька, до чего хорошо. Приехать с концерта с хорошим жалованьем, сесть на кушетку в кругу семьи: «Что полотеры сегодня были?» — «Обязательно были, Семен Семенович». — «А статую, что я приглядел, купили?» — «И статую купили, Семен Семенович». — «Ну, прекрасно, подайте мне гоголь-моголь». Между прочим, я с этой минуты требую, чтобы мне ежедневно давали на третье выше мной упомянутый гоголь-моголь. Гоголь-моголь, во-первых, смягчает грудь, во-вторых, он мне правится, гоголь-моголь. Поняли?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Очень, Сенечка, яйца дороги.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Для кого это дороги? И кого это, кроме меня, касается? Кто теперь зарабатывает — ты или я?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Дело в том...

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Вы все время мешаете планомерным занятиям, Серафима Ильинишна. Чем со мной пререкаться, Серафима Ильинишна, вы молчали бы лучше и слушали музыку. *(Дует)* Вообще я просил бы в минуты творчества относительной тишины. *(Читает)* «Гаммы. Гамма есть пуповина музыки. Одолевши сию пуповину, вы рождаетесь как музыкант». Ну, сейчас я уже окончательно выучусь. «Для того, чтобы правильно выучить гамму, я — всемирно известный художник звука Теодор Гуго Шульц — предлагаю вам самый дешевый способ. Купите самый дешевый ро... *(перевортыивает страницу)* ...яль». Как рояль?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: }
МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: } Как рояль?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Подождите. Постойте. Не может быть. «Предлагаю вам самый дешевый способ. Купите самый дешевый ро...» *(пробует, не слиплись ли страницы)* ...яль». Это как же? Позвольте. Зачем же рояль? *(Читает)* «В примечаниях сказано, как играется гамма. Пронграйте ее на рояле и скопируйте на трубе». Это что же такое, товарищи, делается? Это что же такое? Это, конечно, значит. Значит, конечно. Значит... Ой, мерзавец какой. Главное дело — художник звука. Не художник ты, Теодор, а подлец. Своль ты... со своей пуповиной. *(Разрывает самоучитель)* Маша! Машенька! Серафима Ильи-

нишна! Ведь рояль-то мне не на что покупать. Что он сделал со мной. Я смотрел на него как на якорь спасения. Я сквозь эту трубу различал свое будущее!

СЕРАФИМА ИЛЬНИШНА: Успокойтесь. Наплюйте, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Как же мы будем жить, Серафима Ильинишна? Кто же будет теперь зарабатывать, Машенька?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Ты не думай об этом, пожалуйста, Сенечка, я одна заработаю.

СЕРАФИМА ИЛЬНИШНА: Столько времени жили на Машинно жалование и опять проживем.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ах, мы, значит, на Машино жили, по-вашему? Значит, я не причем, Серафима Ильинишна. Только вы одно не учли, Серафима Ильинишна, что она на готовом на всем зарабатывала. Эти чашечки кто покупал, Серафима Ильинишна? — это я покупал. Эти блюдечки кто покупал, Серафима Ильинишна? — это я покупал. А когда эти блюдечки разобьются, тебе хватит, Мария, на новые блюдечки?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Хватит. Сенечка, хватит.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Хватит?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Хватит.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ (*бросает блюда на пол и разбивает их*): Ну, посмотрим. А когда эти чашечки разобьются, тебе хватит, Мария, на новые чашечки?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Ой, не хватит.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну, значит, так жить нельзя. Значит, мне остается... Уйдите отсюда. Уходите сейчас же, я вам говорю. Все равно на троих нам не хватит такого жалования.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Что ты, Сенечка, Бог с тобой! И на нас, Сеня, хватит, и на тебя.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Как же может хватить на меня, Мария, если даже на чашечки не хватает?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Хватит, Сенечка, хватит.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Хватит. (*Разбивает чашки*) Ну, посмотрим. А когда эта вазочка разобьется, тебе хватит, Мария, на новую вазочку?

СЕРАФИМА ИЛЬНИШНА: Говори, что не хватит.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Не хватит, Сенечка.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ах, не хватит? Тогда уходите отсюда.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Вот убей — не уйду!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Не уйдешь?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Не уйду!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну, посмотрим. *(Разбивает вазу)*

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Что же ты, Сенечка, все разобьешь?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Разобью!

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Ну, посмотрим. *(Разбивает зеркало)*

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ты... при мне... при главе?... Это что ж возникает такое? Господи! Ради Бога, оставьте меня одного. Я вас очень прошу. Я вас очень прошу. Ради Бога, оставьте меня. Пожалуйста. *(Мария Лукьяновна и Серафима Ильинишна уходят в другую комнату. Семен Семенович запер за ними дверь)*

Явление второе

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ *(один)*: Все разбито... все чашечки... блюдечки... жизнь... человеческая. Жизнь разбита, а плакать некому. Мир!... Вселенная!... Человечество!... Гроб... и два человека за гробом, вот и все человечество. *(Подходит к столу)* Столько времени жили на Машинно жалование и опять проживем. *(Открывает ящик)* Проживем. *(Вынимает из кармана записку. Кладет на стол)* Или нет. *(Вскакивает)* Нет, простите, не проживем. *(Приставляет револьвер к виску)* Вот тебе, Сеня, и гоголь-маголь. *(Зажмуривается. В это время раздается оглушительный стук в дверь. Семен Семенович, пряча револьвер за спину)* Кто там? Кто? *(Дверь распахивается и в комнату входит Аристарх Доминикович Гранд-Скубик)*

Явление третье

(Семен Семенович с револьвером за спиной и Аристарх Доминикович)

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Виноват. Я вам, может быть, помешал? Если вы, извиняюсь, здесь что-нибудь делали, ради Бога, пожалуйста, продолжайте.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ничего-с. Мне не к спеху. Вы собственнно... Чем могу?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: А позвольте вначале узнать, с кем имею приятную честь разговаривать?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: С этим... как его... Подсекальниковым.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Очень рад. Разрешите полюбопытствовать, вы не тот Подсекальников, который стреляется?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Кто сказал? То есть нет, я не то сказал. Ну, сейчас арестуют за хранение оружия. Я не тот. Вот, ей Богу, не тот.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Неужели не тот? Как же так? Вот и адрес и... *(Замечает записку)* Стойте! *(Берет записку)* Да вот же написано. *(Читает)* «В смерти прошу никого не винить». И подписано — «Подсекальников». Это вы Подсекальников?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Я. Шесть месяцев принудительных.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Ну, вот видите. Так нельзя. Так нельзя, гражданин Подсекальников. Ну, кому это нужно, скажите, пожалуйста, никого не винить. Вы, напротив, должны обвинять и винить, гражданин Подсекальников. Вы стреляетесь. Чудно. Прекрасно. Стреляйтесь себе на здоровье. Но стреляйтесь, пожалуйста, как общественник. Не забудьте, что вы не один, гражданин Подсекальников. Посмотрите вокруг. Посмотрите на нашу интеллигенцию. Что вы видите? Очень многое. Что вы слышите? Ничего. Почему же вы ничего не слышите? Потому что она молчит. Почему же она молчит? Потому что ее заставляют молчать. А вот мертвого не заставишь молчать, гражданин Подсекальников, если мертвый заговорит. В настоящее время, гражданин Подсекальников, то, что может подумать живой, может высказать только мертвый. Я пришел к вам как к мертвому, гражданин Подсекальников. Я пришел к вам от имени русской интеллигенции.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Очень рад познакомиться. Садитесь, пожалуйста.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Вы прощаетесь с жизнью, гражданин Подсекальников, в этом пункте вы правы, действительно, жить нельзя. Но ведь кто-нибудь виноват в том, что жить нельзя. Если я не могу говорить об этом, то ведь вы, гражданин Подсекальников, можете. Вам терять теперь нечего. Вам теперь ничего не страшно. Вы свободны теперь, гражданин Подсекальников. Так скажите же честно, открыто и смело, гражданин Подсекальников, вы кого обвиняете?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Я?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Да.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Теодор Гугу Шульца.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Это кто-нибудь верно из Коминтерна? Без сомнения, и он виноват. Но ведь он не один, гражданин Подсекальников. Вы напрасно его одного обвиняете. Обвиняйте их всех! Я боюсь, вы еще не совсем понимаете, почему вы стреляетесь. Разрешите, я вам объясню.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ради Бога! Пожалуйста!

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Вы хотите погибнуть за правду, гражданин Подсекальников. Только правда не ждет, гражданин Подсекальников, погибайте скорей. Разорвите сейчас же эту записочку и напишите другую. Напишите в ней искренно всех, кого следует. Защитите в ней нас. Защитите интеллигенцию и задайте правительству беспощадный вопрос: почему не использован в деле строительства такой чуткий, лояльный и знающий человек, каковым безо всякого спора является Аристарх Доминикович Гранд-Скубик.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Кто?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Аристарх Доминикович Гранд-Скубик. Через тире.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Это кто же такой?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Это я. И когда, написавши такую записочку, гражданин Подсекальников, вы застрелитесь, вы застрелитесь как герой. Выстрел ваш — он раздастся на всю Россию. Он разбудит уснувшую совесть страны. Он послужит сигналом для нашей общественности. Имя ваше прольется из уст в уста. Ваша смерть станет лучшей темой для диспутов. Ваш портрет поместят на страницах газет, и вы станете лозунгом, гражданин Подсекальников!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: До чего интересно, Аристарх Доминикович. Дальше, дальше. Еще, Аристарх Доминикович.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Вся российская интеллигенция соберется у вашего гроба, гражданин Подсекальников. Цвет страны понесет вас отсюда на улицу. Вас завалят венками, гражданин Подсекальников. Катафалк ваш утонет в цветах, и прекрасные лошади в белых пополах повезут вас на кладбище, гражданин Подсекальников.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Елки-палки! Вот это жизнь!

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Я бы сам застрелился, гражданин Подсекальников, но к несчастью не могу. Из-за принципа не могу. *(Смотрит на часы)* Значит, так мы условимся. Вы составьте конспект предсмертной записочки... или может быть лучше я сам напишу, а вы просто подпишете и застрелитесь.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Нет, зачем же, я сам.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Вы Пожарский! Вы Минин, гражданин Подсекальников! Вы титан! Разрешите прижать вас к груди от имени русской интеллигенции. *(Обнимает)* Я не плакал, когда умерла моя мать. Моя бедная мама, гражданин Подсекальников. А сейчас... А сейчас... *(рыдая уходит)*

Явление четвертое

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Пострадаю. Пострадаю за всех. И прекрасные лошади в белых понохах. Обязательно пострадаю. Где бумага? *(Ищет)* Я сейчас их на чистую воду выведу. *(Ищет)* Ну, попалось. Теперь трепещите, голубчики. Я всю правду сейчас напишу. Всю как есть. У меня этой правды хоть пруд пруди. *(Ищет)* Что за чорт. Вот какую устроили жизнь. Правда есть, а бумаги для правды нету. *(Подходит к двери, открывает ее)* Ухожу я.

Явление пятое

(Из двери выбегают Мария Лукьяновна и Серафима Ильинична)

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Куда?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: За бумагой. Для правды. Коммерческого формата. Дайте шляпу и рунь, Серафима Ильинична. И потом я хотел тебе, Маша, сказать. Как ты выглядишь, как ты выглядишь? Так нельзя. Ко мне люди приходят, интеллигенция. Это, Маша, обязывает.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что ж я, Сенечка, должна делать, по-твоему?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Приколи себе брошку какую-нибудь или голову вымой на всякий случай. Не забудь, что ты носишь фамилию Подсекальникова. Это все-таки с чем-то сопряжено. *(Серафима Ильинична подает ему шляпу и рубль)* Ну, идите, ступайте теперь на кухню. *(Мария Лукьяновна и Серафима Ильинична уходят)*.

Явление шестое

(Семен Семенович надевает шляпу, поднимает осколок разбитого зеркала, смотрится)

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: А действительно что-то есть у Пожарского от меня. И у Минина есть. Но у Минина меньше, чем у Пожарского.

Явление седьмое

СЕРАФИМА ПЛЫНИШНА (*высунув голову*): К вам какая-то дама, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Пусть войдет.

Явление восьмое

(В комнату входит Клеопатра Максимовна)

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Что месье Подсекальников это вы?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Вуй, мадам. Лично я.

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Познакомьтесь со мной. (*Протягивает руку*) Клеопатра Максимовна. Но вы можете звать меня просто Капочкой.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Боже мой!

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: А теперь, раз мы с вами уже познакомились, я хочу попросить вас о маленьком одолжении.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ради Бога. Пожалуйста. Чем могу?

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Господни Подсекальников, все равно вы стреляетесь, будьте ласковы, застрелитесь из-за меня.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: То есть как из-за вас?

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Ну, не будьте таким эгоистом, месье Подсекальников, застрелитесь из-за меня.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: К сожалению, не могу. Я уже обещал.

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Вы кому обещали? Рансе Филипповне? Ой, зачем же? Да что вы, месье Подсекальников! Если вы из-за этой наскуды застрелитесь, то Олег Леонидович бросит меня. Лучше вы застрелитесь из-за меня, и Олег Леонидович бросит ее. Потому что Олег Леонидович — он эстет, а Ранса Филипповна просто сука. Это я заявляю вам как романтик. Она даже стаканы от страсти грызет. Она хочет, чтоб он целовал ее тело, она хочет сама целовать его тело, только тело, тело и

Н. ЭРДМАН

тело. Я, напротив, хочу обожать его душу, я хочу, чтобы он обожал мою душу, только душу, душу и душу. Заступитесь за душу, господин Подсекальников, застрелитесь из-за меня. Возродите любовь! Возродите романтику! И тогда... Сотни девушек соберутся у вашего гроба, месье Подсекальников, сотни юношей понесут вас на нежных плечах, и прекрасные женщины...

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: В белых поножах.

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Что?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Извиняюсь. Увлёкся, Клеопатра Максимовна.

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Как? Уже? Вы какой-то безумец, месье Подсекальников. Нет, нет, нет, не целуйте меня, пожалуйста.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Уверю вас!...

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Верю, верю. Но ясно, что после этого вы должны отказаться от Рансы Филипповны.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Никакой я не видел Рансы Филипповны.

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Ах, не видели? Так увидите. Вот увидите, что увидите. Она, может быть, даже сейчас прибежит. Она будет наверное вам рассказывать, что все в полном восторге от ее живота. Она вечно и всюду об этом рассказывает. Только это неправда, месье Подсекальников, у нее совершенно заурядный живот. Уверю вас. И потом ведь живот не лицо, сплошь да рядом его абсолютно не видно. Вот лицо... Подойдите сюда. Вы заметили?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Нет.

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: То есть как это нет? Если здесь не заметно, месье Подсекальников, что я очень красивая на лицо, то пойдемте сейчас же отсюда ко мне и вы сразу увидите. У меня над кроватью висит фотография. Обалдеете. Как посмотрите, так воскликнете: «Клеопатра Максимовна, вы красавица!»

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну, не может быть.

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Уверю вас. Это прямо стихийно для вас обнаружится. Ну, пойдемте. Идемте, месье Подсекальников. Вы за кофием там у меня и напишете.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Как напишете? Что?

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Всё, что чувствуете. Что я вас раздавила своим обаянием и что вы на взаимность мою не

надеетесь и потому даже, увы, стреляетесь. Мне смешно вас учить, господин Подсекальников, вы же сами эстет. Вы романтик, неправда ли? Ну, идемте, идемте, месье Подсекальников.

Явление девятое

(Входит Мария Лукьяновна. В руках у нее таз с водой, мыло и мочалка)

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Все равно вам придется отсюда уйти, здесь сейчас будут пол мыть, месье Подсекальников.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: И совсем даже не пол, а голову.

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Я не с вами, голубушка, разговариваю. Это кто же такая вульгарная женщина?

СЕМЕН СЕМНОВИЧ: Это... Это... *(Мария Лукьяновна проходит в следующую комнату)* Кухарка моя, Клеопатра Максимовна.

Явление десятое

(Входит Серафима Ильинична. В руках у нее веник и совок)

СЕРАФИМА ИЛЬИНИЧНА: Вы куда же? Сейчас самовар закипит. Может, дамочка чаем у нас побалуется?

СЕМЕН СЕМНОВИЧ: Фу ты, чорт. Вот что, Сима. Вы здесь приберите, пожалуйста, в комнате, а я с дамой кофе поеду попить. Это... мама... кухаркина, Клеопатра Максимовна. Ну, пошли. *(Уходят. Серафима Ильинична подметает пол.)*

Явление одиннадцатое

(В комнату входит Егорушка. На цыпочках подкрадывается к двери и заглядывает в замочную скважину)

СЕРАФИМА ИЛЬИНИЧНА: Вы это зачем же, молодой человек, такую порнографию делаете? Там женщина голову или даже еще чего хуже моет, а вы на нее в щель смотрите.

ЕГОРУШКА: Я на нее, Серафима Ильинична, с марксистской точки зрения смотрю, а в этой точке никакой порнографии быть не может.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИЧНА: Что же, по-вашему, с этой точки по-другому видать, что ли?

ЕГОРУШКА: Не только что по-другому, а вовсе наоборот. Я на себе сколько раз проверял. Идешь это, знаете, по бульвару, и идет вам навстречу дамочка. Ну, конечно, у дамочки всякие формы и всякие линии. И такая исходит от нее нестерпимая для глаз красота, что только зажмуришься и задышешь. Но сейчас

же себя оборвешь и подумаешь: а взгляну-ка я на нее, Серафима Ильинишна, с марксистской точки зрения, и... взглянешь. И что же вы думаете, Серафима Ильинишна, все с нее как рукой снимает, такая из женщины получается гадость, я и передать не могу. Я на свете теперь ничему не завидую. Я на все с этой точки могу посмотреть. Вот хотите сейчас, Серафима Ильинишна, я на вас посмотрю.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Боже унаси!

ЕГОРУШКА: Все равно посмотрю.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Караул!

Явление двенадцатое

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что случилось?

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Егорка до точки дошел.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что ты мамочка, до какой?

ЕГОРУШКА: До марксистской, Мария Лукьяновна. Здравствуйте.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Вы по делу Егорушка, или так?

ЕГОРУШКА: Я насчет занятой к вам, Мария Лукьяновна.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Как насчет занятой?

ЕГОРУШКА: Я, Мария Лукьяновна, стал писателем. Написал для газеты одно сочинение, только вот занятые — не знаю, где ставятся.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Поздравляю! А свадьба когда же, Егорушка?

ЕГОРУШКА: Почему это свадьба, Мария Лукьяновна?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Ну, раз стали писателем, значит, влюбились. Значит, муза у вас появилась, Егорушка.

ЕГОРУШКА: Сознаюсь, появилась, Мария Лукьяновна.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Кто же, кто же она? Как же звать-то, Егорушка?

ЕГОРУШКА: Музу?

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Да.

ЕГОРУШКА: Александр Петрович Калабушкин.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Здравствуйте! Очумел!

ЕГОРУШКА: Сознаюсь, очумел, Серафима Ильинишна. Отродясь я писателем быть не готовился, но как только увидел его — конец. До того он меня вдохновляет, Мария Лукьяновна, что рука прямо в ручку сама вгрызается и все пишет, все пишет, все пишет, все пишет.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Чем же он вдохновляет тебя, Егорушка?

ЕГОРУШКА: Эротизмом своим, Серафима Ильинишна. Я в газету об этом и написал.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что же вы написали такое, Егорушка?

ЕГОРУШКА: Если вы запятую мне после проставите, я могу прочитывать. Начинается так (*читает*) «Гражданину редактору нашей газеты от курьера советского учреждения. Ученые доказали, что на солнце бывают пятна. Таким пятном в половом отношении является Александр Петрович Калабушкин, содержатель весов, силомера и тира в летнем саду «Красный бомонд». Силомер для курьеров не имеет значения, потому что мы силу свою измерили на гражданской войне за свободу трудящихся, что касается тира, то тир закрыт и все лето не открывается. Тир закрыт, а курьеры хотят стрелять. Между тем, Александр Петрович Калабушкин все вечернее время проводит в отсутствии и сидит в ресторане, как наглый самец, с Маргаритой Ивановной Пересветовой. Пусть редактор своею железной рукой примет меры». И под этим подписано: «Тридцать пять тысяч курьеров».

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Неужели же тридцать пять тысяч курьеров подписывали?

ЕГОРУШКА: Нет, подписывал я один.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Так зачем же вы тридцать пять тысяч курьеров подписываете?

ЕГОРУШКА: Это мой псевдоним. Серафима Ильинишна.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИШНА: Вы совсем очумели, Егор Тимофеевич. Как вам только не совестно? Ни с того, ни с сего человека подводить.

Явление тринадцатое

(В комнату вбегают Александр Петрович и Маргарита Ивановна)

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Как вы кстати. Скорее, товарищ Калабушкин. Вот Егор. Потолкуйте с ним, пожалуйста.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Да? В чем дело, Егор Тимофеевич?

ЕГОРУШКА: Дело? Дело вот в чем, товарищ Калабушкин. «И сидит в ресторане как наглый самец» — запятая, по-вашему, где полагается?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Перед как.

ЕГОРУШКА: Перед как. Ну, мерси вам. Бегу в редакцию (*убегает*).

(*Мария Лукьяновна, Серафима Ильинична, Александр Петрович, Маргарита Ивановна*)

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Что вы сделали? Что вы сделали? Вы сейчас человеку неграмотность ликвидировали. А на что? На свою, Александр Петрович, голову. Разве вы, Александр Петрович, не знаете, кто такой этот наглый сидящий самец?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Нет, а кто?

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Вы, и больше никто иной.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Я?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Пожалуйста, не прикидывайся. Сознавайся, с какою ты плюхой сидел?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Да наверно с тобой, Маргарита Ивановна.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИЧНА: С вами, с вами.

МАРИЯ ЛУКЪЯНОВНА: Там в точности так и написано. И про вас, и про тир, Маргарита Ивановна.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Догоните его! Возвратите его! И скажите, что тир непременно откроется. Ну, бегите, бегите, а то не догоните! (*Мария Лукьяновна и Серафима Ильинична убегают*).

Явление пятнадцатое

(*Александр Петрович, Маргарита Ивановна. Уходят в комнату Калабушкина*)

Явление шестнадцатое

(*Входит Никифор Арсентьевич Пугачев, мясник*)

ПУГАЧЕВ: Вот так раз — никого.

Явление семнадцатое

(*Входит Виктор Викторович, писатель*)

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Гражданин Подсекальников это вы?

ПУГАЧЕВ: Нет, я сам его жду.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Вот что. Так-с.

Явление восемнадцатое

(*Входит отец Елпидий, священник*)

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Виноват. Подсекальников это вы?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Нет, не я.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Значит, вы?

ПУГАЧЕВ Тоже нет.

Явление девятнадцатое

(Входит Аристарх Доминикович Гранд-Скубик)

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Вот наверное он. Подсекальников — это вы?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Что вы, нет.

Явление двадцатое

(Александр Петрович выходит из своей комнаты. Все бросаются к нему)

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Александр Петрович!

ПУГАЧЕВ: Товарищ Калабушкин!

Явление двадцать первое

(В комнату вихрем влетает Раиса Филипповна)

РАИСА ФИЛИППОВНА: Вот вы где мне попались, товарищ Калабушкин! Отдавайте сейчас же пятнадцать рублей!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вы зачем же при людях, Раиса Филипповна?

РАИСА ФИЛИППОВНА: А зачем же вы шахеры-махеры делаете? Вы меня обманули, товарищ Калабушкин! Вы надули меня своим Подсекальниковым. Для чего я дала вам пятнадцать рублей? Чтобы он из-за этой паскуды застрелился? Вы мне что обещали, товарищ Калабушкин? Вы его для меня обещали использовать, а его Клеопатра Максимовна пользуется.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Виноват! Кто такая Клеопатра Максимовна? Вы же мне обещали, товарищ Калабушкин.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Вы ему обещали, товарищ Калабушкин? А за что же я деньги тогда заплатил?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: А скажите, за что вы, товарищи, платите, если покупаете лотерейный билет? За судьбу. За участие в риске, товарищи. Так и здесь, в данном случае с Подсекальниковым. Незабвенный покойник пока еще жив, а предсмертных записок большое количество. Кроме вас, заплатило немало желающих. Например, вот такие записки составлены: «Умираю как жертва национальности, затравили жида». «Жить не в силах по подлости фининспектора». «В смерти прошу никого не винить, кроме нашей любимой советской власти».

И так далее, и так далее. Все записочки будут ему предложены, а какую из них он, товарищи, выберет — я сказать не могу.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Между прочим, он выбрал уже, товарищи. Он стреляется в пользу интеллигенции. Я с ним только что лично об этом беседовал.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Я считаю, что это нахальство, Аристарх Доминикович. Вы должны были действовать через меня, так сказать, наравне с остальными клиентами.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Отыщите клиентам другого покойника — пусть они подождут.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Подождите и вы.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Что касается русской интеллигенции, то она больше ждать не в силах.

ПУГАЧЕВ: А торговля, по-вашему, в силах, товарищ?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: А святое искусство?

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: А наша религия?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Нет, вы лучше подумайте, дорогие товарищи, что такое есть наша интеллигенция. В настоящее время интеллигенция — это белая рабыня в гареме пролетариата.

ПУГАЧЕВ: В таком случае, в настоящее время торговля — это черная рабыня в гареме пролетариата.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: В таком случае, в настоящее время искусство — это красная рабыня в гареме пролетариата.

ПУГАЧЕВ: Что вы всё говорите — искусство, искусство. В настоящее время торговля — тоже искусство.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: А что вы всё время говорите — торговля, торговля? В настоящее время искусство тоже торговля. Ведь у нас, у писателей, музыкантская жизнь. Мы сидим в государстве за отдельным столом и все время играем туш. Туш гостям. Туш хозяевам. Я хочу быть Толстым, а не барабанщиком.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Мы хотим, чтобы к нам хоть немного прислушались. Чтобы с нами считались, дорогие товарищи.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Мы должны завоевывать молодежь.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Да, но чем?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Чем? Идеями!

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Но припомните, как это раньше делалось. Раньше люди имели идею и хотели за нее умирать.

В настоящее время люди, которые хотят умирать, не имеют идеи, а люди, которые имеют идею, не хотят умирать. С этим надо бороться. Теперь больше, чем когда бы то ни было, нужны идеологические покойники.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Пусть покойник льет воду на нашу мельницу.

ПУГАЧЕВ: Вы хотите сказать — на нашу.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Да, на нашу, но не на вашу.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Почему же на вашу, а не на нашу?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Потому что на нашу, а не на вашу.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Нет, на нашу.

ПУГАЧЕВ: Нет, на нашу.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Тише, тише, товарищи! Вы же все с одной мельницы, что вы спорите? Вы бы лучше его сообща использовали.

РАИСА ФИЛИППОВНА: Очень мало на всех одного покойника.

ПУГАЧЕВ: Ничего от покойника не останется.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Нет, останется.

ПУГАЧЕВ: Что ж останется?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Червячек. Вот в чем сила, товарищи. Вечный труженик червячек. Червячек поползет и начнет подтачивать.

ПУГАЧЕВ: Что подтачивать?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Пусть начнет со слабейшего. Вы случайно не знаете Федю Питунина?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Кто такой?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Замечательный тип. Положительный тип. Но с какой-то грустнотой, товарищи. Нужно будет в него червячка заронить. Одного червячка. А вы слышали, как червячки размножаются?

Явление двадцать второе

(Входит Семен Семенович)

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Вы ко мне?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Эти люди узнали о вашем прекрасном решении, гражданин Подсекальников, и пришли к вам, чтоб выразить свой восторг.

ПУГАЧЕВ: Вы последняя наша надежда, Семен Семенович.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Вы подвижник! Вы мученик!

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Вы герой!

РАИСА ФИЛИППОВНА: Вы мой самый любимый герой современности.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Что вы, право...

РАИСА ФИЛИППОВНА: Не скромничайте, вы герой.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Вы когда же решили стреляться, Семен Семенович?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Я еще не решил.

РАИСА ФИЛИППОВНА: Ради Бога, не скромничайте.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Скажем, завтра в 12 часов вас устраивает?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Завтра?!

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Отложите до завтра, Семен Семенович.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Мы устроим вам проводы.

ПУГАЧЕВ: Мы закатим банкет вам, Семен Семенович.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Мы вас чествовать будем, гражданин Подсекальников.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Завтра в 10 часов вас устраивает?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Завтра в десять?!

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Банкет.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ах, банкет... да, устраивает.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Значит, так мы условимся. Завтра в 10 часов начинаются проводы, ну, а ровно в 12 вы тронетесь в путь.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: В путь? Куда?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Затрудняюсь сказать. В никуда... в неизвестное. Будем ждать.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Я дороги не знаю, дорогие товарищи.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Мы заедем за вами, Семен Семенович. Ну, пока. *(Уходят)*

Явление двадцать третье

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ *(один)*: Завтра в путь. Надо вещи собрать. Портсигар... это брату отправлю... в Елец. И пальто... тоже брату... демисезонное... и штаны полосатые... нет, штаны я, пожалуй, одену сам... на банкет. На банкет хорошо полосатые.

*Явление двадцать четвертое**(Серафима Ильинична и Мария Лукьяновна)*

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Фу, запарилась. Еле-еле догнали Егор Тимофеевича.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Вот разгладьте штаны и заштопайте дырочку. Я их завтра одену, Серафима Ильинична.

СЕРАФИМА ИЛЬИНИЧНА: Для чего же задаром штаны трепать. Вы куда в них пойдете, Семен Семенович?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: В это... я... я на место устраиваюсь.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Что ты, Сеня? Когда?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Завтра ровно в 12 часов.

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Наконец-то! Какое же место? Временное?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Нет, как будто бы навсегда!

МАРИЯ ЛУКЬЯНОВНА: Мама, ставь утюги. Мы сейчас их и выгладим и заштопаем. *(Мария Лукьяновна и Серафима Ильинична со штанами убегают)*

Явление двадцать пятое

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Завтра ровно в 12 часов. Если ровно в 12 часов, что же будет со мной половина первого... даже пять минут первого? Что? Кто может ответить на этот вопрос? Кто?

Явление двадцать шестое

(Входят старушка и молодой человек. У молодого человека в руках сумочек и узел)

СТАРУШКА: Ничего, если он посидит у вас?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Кто?

СТАРУШКА: Вот племянничек к тетке Анисье приехал. Из провинции. А у тетки Анисьи-то дверь на замке. Вот пускай он минутку у вас посидит, а я живо за ихнюю теткой сбегаяю. Он мешать вам не будет, он тихой, Семен Семенович, из провинции.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Пусть сидит. *(Старушка уходит. Молодой человек садится)*

*Явление двадцать седьмое**(Семен Семенович и молодой человек. Пауза)*

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Как вы думаете, молодой человек? Ради Бога, не перебивайте меня, вы сначала подумайте. Вот представьте, что завтра в двенадцать часов вы берете своей

рукой револьвер. Ради Бога, не перебивайте меня. Хорошо. Предположим, что вы берете... и вставляете дуло в рот. Нет, вставляете. Хорошо. Предположим, что вы вставляете. Вот, вставляете. Вставили. И как только вы вставили, возникает секунда. Подойдемте к секунде по-философски. Что такое секунда? Тики-так. Да, тики-так. И стоит между тиком и таким стена. Да, стена, то есть дуло револьвера. Понимаете? Так вот дуло. Здесь тик. Здесь так. И вот тик, молодой человек, это еще все, а вот так, молодой человек, это уже ничего. Ни-че-го. Понимаете? Почему? Потому, что тут есть собачка. Подойдите к собачке по-философски. Вот подойдите. Подошли. Нажимаете. И тогда раздается: пиф-паф. И вот пиф — это еще тик, а вот паф — это уже так. И вот все, что касается тика и пифа, я понимаю, а вот все, что касается така и пафа, совершенно не понимаю. Тик — и вот я еще и с собой, и с женой, и с тещей, с солнцем, с воздухом и водой, это я понимаю. Так — и вот я уже без жены... хотя я без жены — это я понимаю тоже, я без тещи... ну, это я даже совсем хорошо понимаю, но вот я без себя — это я совершенно не понимаю. Как же я без себя? Понимаете, я? Лично я. Подсекальников. Чело-век. Подойдем к человеку по-философски. Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка. Ради Бога, не перебивайте меня. Человек есть клетка. И томится в этой клетке душа. Это я понимаю. Вы стреляете, разбиваете выстрелом клетку, и тогда из нее вылетает душа. Вылетает. Летит. Ну, конечно, летит и кричит: «Осанна! Осанна» Ну, конечно, ее подзывает Бог. Спрашивает. Ты чья? Подсекальникова. Ты страдала? Я страдала. Ну, пойдя же, попляши. И душа начинает плясать и петь. *(Поет)* Слава в вышних Богу, и на земле мир. и в человеках благоволение. Это я понимаю. Что тогда? Как по-вашему? Есть загробная жизнь или нет? *(Трясет его)* Я вас спрашиваю, есть или нет? Есть или нет? Отвечайте мне! Отвечайте! *(Входит старушка)*

Явление двадцать восьмое

СТАРУШКА: Ну, спасибо, Семен Семенович. Вот я ключик достала от комнаты. А то он у них глухонемой. приехал, а сказать ничего не может. Ну, спасибо, спасибо. *(Уходит)*

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Значит, завтра в двенадцать часов.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

(Ресторан, под открытым небом, в летнем саду «Красный бомонд». За столом: Калабушкин, Гранд-Скубик, Пугачев, Виктор Викторович, отец Елпидий, Маргарита Ивановна, Пересветова, Клеопатра Максимовна, Раиса Филипповна, Зипка Надеспань, Груня. На скамьях возле тира хор цыган. Цыгане поют здравицу Подсекальникову. Семен Семенович опутан серпантинном и обсыпан конфетти)

Явление первое

ЦЫГАНЕ (поют. Цыганка передает Семену Семеновичу бокал вина на перевернутой гитаре. Все поднимаются с бокалами вина в руках. Семен Семенович выпивает вино, после чего вдребезги разбивает бокал. Гости аплодируют).

ПУГАЧЕВ: Вот гусар! Вот лихач! Вот, действительно, это да!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Вот за это люблю вас, Семен Семенович. Костя! Костенька! Костька, чорт! *(Подбегает официант)* Запиши за бокал девяносто копеек. Пейте! Пейте! Вы что же, Семен Семенович?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Сколько времени? А?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: До двенадцати долго, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Долго?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Долго, Семен Семенович. Вы не думайте. Пейте, Семен Семенович.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ *(нагнувшись к Груне)*: Раз пошел Пушкин в баню...

ГРУНЯ: Вы про Пушкина мне не рассказывайте, я похабщины не люблю.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Человек!

ВТОРОЙ ОФИЦИАНТ: Чего изволите-с?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Сколько времени? А?

ВТОРОЙ ОФИЦИАНТ: Полагаю, что скоро двенадцать, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Скоро?

ВТОРОЙ ОФИЦИАНТ: Скоро, Семен Семенович.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ *(наклонившись к Раисе Филипповне)*: Раз пошел Пушкин в баню... *(Раиса Филипповна начинает ржать)*

РАИСА ФИЛИППОВНА (*сквозь ржанье*): Фу, бессовестный! Ой, не могу! Я сейчас так рельефно себе представила... Ну?

ОТЕЦ ЕЛНИДИЙ: Ну, пришел Пушкин в баню...

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Уважаемое собрание! Мы сейчас провожаем Семена Семеновича, если можно так выразиться, в лучший мир. В мир, откуда не возвращаются.

СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ: За границу, наверное?

КАРПОВ: Нет, подальше, Степан Васильевич.

СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ: Пожелаю приятного путешествия.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Вы зачем же перебиваете, граждане?

ГОЛОСА: Тише! Тише! (*Наступает мертвая тишина*)

ОТЕЦ ЕЛНИДИЙ: Ну, Пушкин снимает подытаники... (*Раиса Филипповна начинает ржать*)

ГОЛОСА: Тише! Тише!

РАИСА ФИЛИППОВНА: Я сейчас так рельефно себе представляла... Ну?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Любимый Семен Семенович! Вы избрали прекрасный и правильный путь. Убежденно и смело идите своею дорогой, и за вами пойдут другие.

РАИСА ФИЛИППОВНА (*сквозь ржанье*): Ну, а банница что?

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Много буйных, горячих и юных голов повернутся в открытую вами сторону, и тогда зарыдают над ними отцы, и тогда закричат над могилами матери, и тогда содрогнется великая родина, и раскроются настежь ворота Кремля и к нам выйдет in согроре наше правительство. И правитель протянет свою руку куцу, и кунец свою руку протянет рабочему, и протянет рабочий свою руку заводчику, и заводчик протянет свою руку крестьянину, и крестьянин протянет свою руку помещику, и помещик протянет свою руку к своему поместью, и свое поместье про... нет, хотя на своем поместьи можно будет остановиться.

ОТЕЦ ЕЛНИДИЙ: Ну, а Пушкин ей в рифму на букву «дэ».

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Честь и слава вам, милый Семен Семенович! Ура!

ВСЕ: Урррааа!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Дорогие присутствующие.

ГОЛОСА: Тсссс...

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Прошу тишины и внимания.

(Наступает мертвая тишина) Вот теперь говорите, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Сколько времени? А?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Вы не думайте, пейте, Семен Семенович.

ПУГАЧЕВ: Я почти что не критик, Аристарх Доминикович, я мясник. Но я должен отметить, Аристарх Доминикович, что вы чудно изволили говорить. Я считаю, что будет прекрасно, Аристарх Доминикович, если наше правительство протянет руки.

АРИСТРАХ ДОМИНИКОВИЧ: Я считаю, что будет еще прекраснее, если наше правительство протянет ноги.

ПУГАЧЕВ: Хоть бы руки покамест, Аристарх Доминикович.

СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ: Вы меня извините, я раньше не знал: вы сегодня в двенадцать часов стреляетесь? Разрешите поэтому выпить за ваше здоровье.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: А сейчас сколько времени?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Вы не думайте, пейте, Семен Семенович.

ЗИНКА ПАДЕСПАНЬ: Господа кавалеры, проявите себя. Предложите чего-нибудь очень веселого.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Предлагаю собравшимся крикнуть ура.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Все!

ВСЕ: Урррааа!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Человеки! Шампанского!

ПУГАЧЕВ: Ну-ка хором, за десять рублей про душу.

ЦЫГАНЕ: (поют)

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Хоп!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Чеши!

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Шевели!

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Вот, действительно, в этом есть...

ПУГАЧЕВ: До чего вы, родные, меня растрогали.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Я не плакал, когда умерла моя мать, моя бедная мама, дорогие товарищи. А сейчас... А сейчас...

РАИСА ФИЛИППОВНА: Я сейчас так рельефно себе пред- ставила: диктатура, республика, революция... а кому это нужно, скажите пожалуйста?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Как кому? Разве можно так ставить вопрос? Я не мыслю себя без советской республики. Я почти что согласен со всем, что в ней делается. Я хочу только малень-

кую добавочку. Я хочу, чтоб в дохе, да в степи, да на развальнях, да под звон колокольный у светлой заутрени, заломив на затылок седого бобра, весь в цыганах, обнявшись с любимой собакою, мерить версты своей обездоленной родины. Я хочу, чтоб порвались струны гитар, чтобы плакал ямщик в домотканую варежку, чтобы выбросить шанку, упасть в сугроб и молиться и клясть, сквернословить и каяться, а потом опрокинуть холодную стопочку, да присвистнуть, да ухнуть на всю вселенную и лететь... да по-нашему, по-русскому, чтобы душа вырывалась к чертовой матери, чтоб вертелась земля как волчок под полозьями, чтобы лошади птицей над полем распластывались! Эх, вы, лошади, лошади — что за лошади! И вот тройка — не тройка уже, а Русь, и несется она, вдохновенная бегом. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!

Явление второе

(Входит Егор Тимофеевич)

ЕГОРУШКА: Прямо в милицию, будьте уверены.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Как в милицию? Почему?

ЕГОРУШКА: Потому что так ездить не полагается. Ездить можно, согласно постановлению, не быстрее 50-ти верст в час.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Но ведь это метафора, вдохновение.

ЕГОРУШКА: Разрешите мне вам преподать совет: вдохновляйтесь согласно постановлениям. Что же тир — открывается или нет?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Из-за вас вся задержка, Егор Тимофеевич, ждали, ждали, почти что совсем отчаялись.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Осчастливьте стаканчик, Егор Тимофеевич.

ЕГОРУШКА: Совершенно не пью.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Почему ж вы не пьете, Егор Тимофеевич?

ЕГОРУШКА: Очень страшно приучиваться.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Да чего же здесь страшного? Вы попробуйте.

ЕГОРУШКА: Нет, боюсь.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Да чего ж вы бонтесь, Егор Тимофеевич?

ЕГОРУШКА: Как чего? Может так получится, что только

приучишься, хватъ — наступит социализм, а при социализме вина не будет. Вот, как хочешь, тогда и выкручивайся.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Только рюмку, всего лишь одну, за дам.

ЕГОРУШКА: Между прочим, при социализме и дам не будет.

ПУГАЧЕВ: Ерунда-с! Человеку без дамочки не прожить.

ЕГОРУШКА: Между прочим, при социализме и человека не будет.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Как не будет? А что же будет?

ЕГОРУШКА: Массы, массы и массы. Огромная масса масс.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Вот за массы и выпейте.

ЕГОРУШКА: Ну, за массы, куда ни шло.

ПУГАЧЕВ: Наливайте!

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Покрепче!

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Затягивай, Пашенька!

ЦЫГАНЕ (*поют*): К нам приехал наш родимый

Егор Тимофеевич дорогой.

Жоржик, Жоржик, Жоржик,

Жоржик, Жоржик, Жоржик,

Жоржик, Жоржик, пей до дна,

Жоржик, пей до дна.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Как-с находите?

ЕГОРУШКА: Ничего. Я люблю, когда мне про меня поют, а то нынче другие ерундой занимаются.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Это собственно кто?

ЕГОРУШКА: Да к примеру хоть вы. Вот скажите, писатель, об чем вы пишете?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Обо всем.

ЕГОРУШКА: Эка невидаль — обо всем. Обо всем и Толстой писал, это нас не захватывает. Я курьер и хочу про курьеров читать. Поняли?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: А вот я про литейщика написал.

ЕГОРУШКА: Ну, пускай вас литейщики и читают. А курьеров литейщики не захватывают. Я опять заявляю, что я курьер и хочу про курьеров читать, понимаете? Что вы скажете? Как по-вашему?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: А скажите, по-вашему как, Егорушка, есть загробная жизнь или нет?

ЕГОРУШКА: В настоящее время возможно что есть, но при социализме не будет. Это я гарантирую.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Что же вы стали? Идите сюда. Присаживайтесь.

КЛЕОНАТРА МАКСИМОВНА: Познакомьтесь со мной: Клеонатра Максимовна.

РАИСА ФИЛИППОВНА (*за столом, соседу*): Мне Олег Леопидович прямо сказал: «У меня твой прекрасный живот, Раиса, не выходит из головы».

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: За здоровьице массы, Егор Тимофеевич!

ЕГОРУШКА: Не могу отказаться. Всегда готов.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Вы не ешьте, вы пейте, Семен Семенович.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Первая за дам!

ЗИНКА ПАДЕСПАНЬ: Мерси, батюшка!

КЛЕОНАТРА МАКСИМОВНА: Вы не видали жизни, Егор Тимофеевич. Есть другая, прекрасная, чудная жизнь. Жизнь с белым, с обстановкой, мехами, косметикой. Неужели, сознайтесь, Егор Тимофеевич, вас отсюда не тянет, ну, скажем, в Париж?

ЕГОРУШКА: Сознаюсь, Клеонатра Максимовна, тянет. Я стал деньги от этого даже копить.

КЛЕОНАТРА МАКСИМОВНА: На поездку!

ЕГОРУШКА: На башню, Клеонатра Максимовна.

КЛЕОНАТРА МАКСИМОВНА: На какую же башню?

ЕГОРУШКА: На очень высокую.

КЛЕОНАТРА МАКСИМОВНА: Для чего же вам башня, Егор Тимофеевич?

ЕГОРУШКА: То есть как — для чего? Вы представьте, что башня уже построена. И как только затянет меня в Париж, я сейчас же влезаю на эту башню и смотрю на Париж, Клеонатра Максимовна, с марксистской точки зрения.

КЛЕОНАТРА МАКСИМОВНА: Ну и что?

ЕГОРУШКА: Ну, и жить не хочется в этом Париже.

КЛЕОНАТРА МАКСИМОВНА: Почему?

ЕГОРУШКА: Вам меня не понять, Клеонатра Максимовна, потому что вы женщина потустороннего класса.

АРИСТАРХ ДОМИНЬКОВИЧ: Как же так, извиняюсь, по-

тустороннего? А позвольте спросить вас, Егор Тимофеевич, кто же сделал, по-вашему, революцию?

ЕГОРУШКА: Революцию? Я. То есть мы.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Вы сужаете тему, Егор Тимофеевич. Разрешите, я вам поясню свою мысль аллегорией.

ЕГОРУШКА: Не могу отказаться. Всегда готов.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Так сказать, аллегорией из звериного быта домашних животных.

ВСЕ: Просим! Просим!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Вы не слушайте, пейте, Семен Семенович.

АРИСТРАХ ДОМИНИКОВИЧ: Под одну сердобольную курицу положили утиные яйца. Много лет она их высиживала. Много лет согревала своим телом, наконец, высидела. Утки вылупились из яиц, с ликованием выползли из-под курицы, ухватили ее за шиворот и потащили к реке. «Я ваша мама, вскричала курица, — я сидела на вас. Что вы делаете?» «Плыви!» — заревели утки. Понимаете аллегорию?

ГОЛОСА: Чтой-то нет. Не совсем.

АРИСТРАХ ДОМИНИКОВИЧ: Кто, по-вашему, эта курица? Это наша интеллигенция. Кто, по-вашему, эти яйца? Яйца эти — пролетариат. Много лет просидела интеллигенция на пролетариате, много лет просидела она на нем. Все высиживала, все высиживала, наконец, высидела. Пролетарии вылупились из яиц, ухватили интеллигенцию и потащили к реке. Я ваша мама — вскричала интеллигенция. Я сидела на вас. Что вы делаете? Плыви! — заревели утки. Я не плаваю. Ну, лети! Разве курица — птица? — сказала интеллигенция. Ну, сиди. И, действительно, посадили. Вот мой шурин сидит уже пятый год. Понимаете аллегорию?

ЗИНКА ПАДЕСПАНЬ: Что же тут не понять? Он казенные деньги растратил наверное.

АРИСТРАХ ДОМИНИКОВИЧ: Деньги — это деталь. Вы скажите, за что же мы их высиживали? Знать бы раньше, так мы бы их из этих яиц... Что бы вы, гражданин Подсекальников, сделали?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Гоголь-моголь.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Вы гений, Семен Семенович. Золотые слова.

ГРУНЯ: Вы о чем заскучали, гражданин Подсекальников?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Вот скажите мне, дорогие товарищи, есть загробная жизнь или нет?

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Про загробную жизнь вы у батюшки спрашиваете. Это их специальность.

ОТЕЦ ЕЛИЩДИЙ: Как прикажете отвечать: по религии или по совести?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: А какая же разница?

ОТЕЦ ЕЛИЩДИЙ: Ко-лос-саль-па-я. Или можно еще по науке сказать.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Мне по верному, батюшка.

ОТЕЦ ЕЛИЩДИЙ: По религии — есть. По науке — нет. А по совести — никому неизвестно.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Никому? Значит, нечего даже и спрашивать.

ПУГАЧЕВ: А зачем же вам спрашивать — вот чудак. Вы же сами минут через тридцать узнаете.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Через тридцать? Так, значит, сейчас половина двенадцатого. Как?... Уже половина двенадцатого?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Вы не думайте, пейте, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Неужели уже половина двенадцатого? Половина двена... Отпевайте меня, дорогие товарищи! Пойте, милые! Пойте, сволочи! (*Цыгане гаркают хоровую*) Пострадаю за всех. Пострадаю за вас!

ЦЫГАНЕ: Эх раз! Еще раз!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Вот когда наступила, товарищи, жизнь, наступила... за тридцать минут до смерти.

ЕГОРУШКА: За здоровьице масс!

ЦЫГАНЕ: Эх раз! Еще раз!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Массы! Слушайте Подсекальникова. Я сейчас умираю. А кто виноват? Виноваты вожди, дорогие товарищи. Подойдите вплотную к любому вождю и спросите его: «что вы сделали для Подсекальникова?» И он вам не ответит на этот вопрос, потому что он даже не знает, товарищи, что в Советской Республике есть Подсекальников. Подсекальников есть, дорогие товарищи. Вот он я. Вам отсюда не видно меня, товарищи. Подождите немножечко. Я достигну таких грандиозных размеров, что вы с каждого места меня увидите. Я не жизнью — так смертью свое возьму. Я умру и зарытый начну разговаривать. Я скажу им открыто и смело за всех. Я скажу им, что я

умираю за... за... что я умираю за... что я за... тьфу ты, черт! Как же я им скажу, за что я, товарищи, умираю, если я даже предсмертной записки своей не читал.

АРИСТРАХ ДОМИНИКОВИЧ: Мы сейчас все устроим, Семен Семенович. Дайте кресло и стол, Маргарита Ивановна.

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Костя, стол!

(Официанты вносят стол и кресло. На столе письменный прибор, бумага, ваза с цветами, бутылка шампанского и рабочая лампа с зеленым абажуром)

АРИСТРАХ ДОМИНИКОВИЧ: Потрудитесь прочесть, гражданин Подсекальников.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Это что?

АРИСТРАХ ДОМИНИКОВИЧ: Здесь написано.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: «Почему я не в силах жить». Вот, вот, вот. Я давно уже этим интересуюсь.

АРИСТРАХ ДОМИНИКОВИЧ: Так садитесь и переписывайте. *(Семен Семенович садится за стол)* Мы не будем мешать вам, Семен Семенович. Будьте добры, маэстро, негромкий вальс.

(Музыка)

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: *(переписывает)* Почему я не в силах жить — восклицательный знак. Люди и члены партии, посмотрите в глаза истории. Как написано! А? Посмотрите в глаза истории. Замечательно! Красота!

ПУГАЧЕВ: Уважаемые, до чего я люблю красоту, даже страшно становится. Красота, уважаемые...

ЗИНКА ПАДЕСПАНЬ: Вольдемар, вы начнете сейчас блевать. Уверяю вас.

ПУГАЧЕВ: Я? Пожалуйста. Сколько хотите.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ *(читает)*: «Потому что пас всех коснулся очистительный вихрь революции». Восклицательный знак. С красной строки. *(Переписывает)*.

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Мне претит эта скучная, серая жизнь. Я хочу диссонансов, Егор Тимофеевич.

ЕГОРУШКА: Человек!

КОСТЯ: Что прикажете?

ЕГОРУШКА: Диссонансов! Два раза! Для меня и для барышни.

КОСТЯ: Сей минут.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: *(читает)*: Помните, что интелли-

Н. ЭРДМАН

генция — соль нации, и если ее не стан т — вам нечем будет посолить кашу, которую вы заварили. Значит, так: помните... *(переписывает)*

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Червячок уже есть, Аристарх Доминикович.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Это вы про кого?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Я вчера говорил вам про Федю Питункина — замечательный тип, положительный тип, но уже с червячком, Аристарх Доминикович.

РАИСА ФИЛИППОВНА: Говорят, что вы были за рубежом?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Был в рабочих кварталах Франции.

РАИСА ФИЛИППОВНА: А скажите, во Франции в этом сезоне парижанки какие груди носят — маленькие или большие?

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Кто как может, смотря по средствам.

КЛЕОПАТРА МАКСИМОВНА: Между прочим, я так и думаю. Ах, Париж... А у нас? Ведь у нас даже дама со средствами сплошь да рядом должна оставаться такой, какова она есть.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Дайте волю интеллигенции.

ПУГАЧЕВ: Дайте ванную! Дайте ванную! Маргарита Ивановна, дайте ванную!

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Для чего?

ПУГАЧЕВ: Мы сейчас проституток в ней будем купать.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Восклицательный знак. Вот за что, товарищи, умираю. Поднись. *(Пугачев начинает плакать)*

ЗИНКА ПАДЕСПАНЬ: Что случилось? О чем вы, Никифор Арсентьевич?

ПУГАЧЕВ: Заболел я. Тоска у меня... по родине.

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Как по родине? Вы какой же национальности?

ПУГАЧЕВ: Русский я, дорогие товарищи.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Разлюбезные граждане, что я могу.

ГОЛОСА: Что такое?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Нет, вы знаете, что я могу? Нет, вы знаете, что я могу? Я могу никого не бояться, товарищи. Нико-го. Что хочу, то сделаю. Все равно умирать. Все равно умирать. Понимаете? Что хочу, то и сделаю. Боже мой! Все могу. Боже мой! Никого не боюсь. В первый раз за всю жизнь никого не боюсь. Захочу, вот пойду на любое собрание, на любое,

заметьте себе, товарищи, и могу председателю язык показать... язык показать. Не могу? Нет, могу, дорогие товарищи. В том все дело, что все могу. Никого не боюсь. Вот в Союзе сто сорок миллионов, товарищи, и кого-нибудь каждый миллион бонтея, а вот я никого не боюсь. Никого. Все равно умирать. Все равно умирать. Ой, держите, а то я плясать начну. Я сегодня над всеми людьми владычествую. Я диктатор. Я царь, дорогие товарищи. Все могу. Что хочу, то и сделаю. Что бы сделать такое? Что бы сделать такое со своею сумасшедшею властью, товарищи? Что бы сделать такое для всего человечества?... Знаю! Знаю! Нашел! До чего это будет божественно, граждане. Я сейчас, дорогие товарищи, в Кремль позвоню. Прямо в Кремль. Прямо в красное сердце Советской Республики. Позвоню... и кого-нибудь там... изругаю по-матерному. Что вы скажете? *(Идет к автомату)*

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Ради Бога!

КЛЕОНАТРА МАКСИМОВНА: Не надо, Семен Семенович.

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Что вы делаете?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Караул!

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Цыц! *(снимает трубку)*. Все молчат, когда колосс разговаривает с колоссом. Дайте Кремль. Вы не бойтесь, не бойтесь, давайте, барышня. Ктой-то? Кремль? Говорит Подсекальников. Под-се-каль-ни-ков. Индивидуум. Инди-ви-ду-ум. Позовите кого-нибудь. Все равно, позовите кого-нибудь самого главного. Нет у вас? Ну, тогда передайте ему от меня, что я Маркса прочел, и мне Маркс не понравился. Цыц! Не перебивайте меня. И потом передайте ему еще, что я их посылаю... Вы слушаете? Боже мой! *(Остолбенел. Выронил трубку)*

АРИСТАРХ ДОМИНИКОВИЧ: Что случилось?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ. Повесили.

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ: Как?

ОТЕЦ ЕЛПИДИЙ: Кого?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Трубку. Трубку повесили. Испугались. Меня испугались. Вы чувствуете? Постигаете ситуацию? Кремль — меня. Что же я представляю собой, товарищи? Это боязно даже анализировать. Нет, вы только подумайте. С самого раннего детства я хотел быть гениальным человеком, но родители мои были против. Для чего же я жил? Для чего? Для статистики. Жизнь моя, сколько лет издевалась ты надо мной?

Сколько лет ты меня оскорбляла, жизнь? Но сегодня мой час настал. Жизнь, я требую сатисфакции!

(Бьет 12 часов. Гробовое молчание)

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Собирайтесь, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Как, уже? А они не вперед у вас, Маргарита Ивановна?

МАРГАРИТА ИВАНОВНА: Нет, у нас по почтамту, Семен Семенович. *(Пауза)*.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ: Что ж, присядемте по обычаю.

(Все садятся. Пауза)

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Ну, прощайте, товарищи. *(Идет к выходу. Возвращается, берет бутылочку, прячет в карман)*. Извиняюсь, для храбрости. *(Идет к выходу)*.

КОСЯ-ОФИЦИАНТ: Приходите опять к нам, Семен Семенович.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ: Нет, теперь уже вы приходите ко мне. *(Уходит)*

З а н а в е с

(Окончание следует)

Н. Эрдман

ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ

О нст, я зверь иной породы,
Какой я, к черту, царь природы,
Я — часть ее: в умение — ум,
В ее особенностях — особь,
В ее способностях я — способ
Цель выбирать не наобум.

Я только часть, я частный случай,
Я слог (нелепый и колючий,
Как все, что ново и остро):
Я только «Ба!» в ее забаве,
Я только «ржа» в ее державе,
В ее устройстве только «стро...»

Теперь я стал начальным слогом
И стану словом — стройным, строгим,
Порой строптивей, чем оса,
И стану строить, сознавая,
Что строчка для строфы — кривая,
Взлетающая в небеса.

Что мною — словом петушиным! —
Природа ищет путь к вершинам,
Ей не дававшимся досель,
Что бес вселился в бесконечность,
Но в человечности есть вечность,
А в счастье — часть и в целом — цель.

ОТ АСТРЫ К ЗВЕЗДАМ

Пока не перешел на ты
Со здешней флорой,
В анфас я одобрял цветы
И в профиль — горы.

Хвалил, разборчивый эстет,
В платане — ствол, в каштане — цвет,
В секвойе — рост, в орехе — плод,
Но не умел наоборот.

А побратавшись, полюбил
Землетрясение и навоз
И понял роль подземных сил
В создании выигрышных поз.

Когда земле в противовес
Хребты и травы перли ввысь,
Я ахнул: это роль небес,
И без нее не обойтись!

И, как Ньютон или Кулон,
Открыл в рождении стихов
Кибернетический закон
Взаимотяготенья слов.*

И, в хаосе почуя связь,
Я в космосе нащупал ось
И с той поры живу смеясь,
А следовательно, всерьез.

Николай Моршен

* «Сила стиха прямо пропорциональна произведению слов и обратно пропорциональна квадрату расстояния поэта от темы» (Закон Моршена).

Т И Ш И Н А

Мы все — вся бригада — с удивлением, недоверием, осторожностью и боязнью рассаживались за столы в лагерной столовой — грязные, липкие столы, за которыми мы обедали всю нашу здешнюю жизнь. Отчего бы столам быть липкими — ведь не суп же здесь проливали, «мимо рта ложку никто не проносил» и не пронес бы, но ложек ведь не было, а пролитый суп был собран пальцами в рот и просто долизан.

Было время обеда ночной смены. В ночную смену упрятали нашу бригаду, убрали с чьих-то глаз — если были такие глаза! — в нашей бригаде были самые слабые, самые плохие, самые голодные. Мы были человеческими отбросами, и все же нас приходилось кормить — притом вовсе не отбросами, даже не остатками. На нас тоже шли какие-то жиры, приварок, а самое главное — хлеб, совершенно одинаковый по качеству с хлебом, который получали лучшие бригады, что пока еще сохранили силу и еще дают план на «основном производстве» — дают золото, золото, золото...

Если уж кормили нас — то в самую последнюю очередь — ночную ли, дневную — все равно. Сегодня ночью мы тоже пришли в последнюю очередь.

Мы жили в одном бараке, в одной секции. Я кое-кого знал из этих полутрупов — по тюрьме, по транзиткам. Я двигался ежедневно вместе с комками этих бушлатов, матерчатых ушанок, надеваемых от бани до бани; бурок, стеганых из рваных брюк, обгорелых на кострах, и только памятью узнавал, что среди них и краснолицый татарин Муталов — единственный житель на весь Чикмент, имевший двухэтажный дом под железом, и Ефремов — бывший первый секретарь Чикментского горкома партии, который в тридцатом ликвидировал Муталова как класс.

Здесь был и Оксман, бывший начальник политотдела дивизии, которого маршал Тимошенко, еще не будучи маршалом, выгнал из своей дивизии как еврея. Был здесь и Лупинов — помощник верховного прокурора СССР, помощник Вышинского. Жаворонков — машинист Савеловского паровозного депо. Был и бывший начальник НКВД из города Горького, затеявший на транзитке спор с каким-то своим «подопечным»:

— Тебя били? Ну и что? Подписал — значит враг, путаешь советскую власть, мешаешь нам работать. Из-за таких годов я и получил пятнадцать лет.

Я вмешался: — Слушаю тебя и не знаю, что — смеяться или плюнуть в рожу...

Разные были люди в этой «доплывающей» бригаде... Был и сектант из секты «Бог знает», а может секта называлась и иначе, — просто это был единственный всегдашний ответ сектанта на все вопросы начальства.

Фамилия сектанта в памяти осталась, конечно, — Дмитриев, хотя сам сектант на нее никогда не откликался. Руки товарищей, бригадира, передвигали Дмитриева, ставили в ряды, вели.

Конвой часто менялся, и почти каждый новый командир старался постичь тайну отказа от ответа на громкое: *обзовись!* при выходе на работу для так называемого труда.

Бригадир кратко разъяснял «обстоятельства», и обрадованный конвоир продолжал перекличку.

Сектант надоел всем в бараке. По ночам мы не спали от голода и грелись и грелись около железной печки, обнимая ее руками, ловя уходящее тепло остывающего железа, приближая лицо к железу.

Разумеется, мы загораживали жалкое это тепло от остальных жителей барака, лежащих — как и мы не спящих от голода — в дальних углах, затянутых инеем. Оттуда, из этих дальних темных углов, затянутых инеем, выскакивал кто-нибудь, имеющий право на крик, а то и право на побои, и отгонял от печки голодных работяг руганью и пинками.

У печки можно было стоять и легально подсушивать хлеб,

но у кого был хлеб, чтобы легально его подсушивать? И сколько часов можно подсушивать ломтик хлеба?

Мы ненавидели начальство, ненавидели друг друга, а больше всего мы ненавидели сектанта — за песни, за гимны, за псалмы...

Все мы молчали, обнимая печку. Сектант пел, пел хриплым остуженным голосом — негромко, но пел какие-то гимны, псалмы, стихи. Песни были бесконечны.

Я работал в паре с сектантом. Остальные жители секции на время работы отдыхали от пения гимнов и псалмов, отдыхали от сектанта, а я и этого облегчения не имел.

— Помолчи!

— Я бы умер давно, если бы не песни. Ушел бы — в мороз. Нет сил. Если бы чуть больше сил. Я не прошу Бога о смерти. Он все видит сам.

Были в бригаде и еще какие-то люди, закутанные в тряпье, одинаково грязные и голодные, с одинаковым блеском в глазах. Кто они? Генералы? Герои испанской войны? Русские писатели? Колхозники из Волоколамска?

Мы сидели в столовой, не понимая, почему нас не кормят, кого ждут? Что за новость объявят? Для нас новость может быть только хорошей. Есть такой рубеж, когда все, что ни случается с человеком — к счастью. Новость может быть только хорошей. Это все понимали, телом своим понимали, не мозгом.

Открылась дверца окна раздачи изнутри, и нам стали носить в мисках суп — горячий! Кашу — теплую! и кисель — третье блюдо — почти холодный! Каждому дали ложку, и бригадир предупредил, что ложку надо вернуть. Конечно, мы вернем ложки. Зачем нам ложки? На табак променять в другом бараке? Конечно, мы вернем ложки. Зачем нам ложки? Мы давно привыкли есть «через борт». Зачем тут ложка? То, что останется на дне, можно пальцами подтолкнуть к борту, выходу...

Думать тут было нечего — перед нами стояла еда, пища. Нам раздали в руки хлеб — по двухсотке — «хлеба только по

пайке», торжественно объявил бригадир, а остального «от пуза».

И мы ели «от пуза». Всякий суп делится на две части: гущицу и жижу. «От пуза» нам давали жижу. Зато второе блюдо — каша была и вовсе без обмана. Третье блюдо — чуть теплую воду с легким привкусом крахмала и едва уловимым следом растворенного сахара. Это был кисель.

Арестантские желудки вовсе не огрублены, их вкусовые способности отнюдь не притуплены голодом и грубой пищей. Напротив, вкусовая чувствительность голодного арестантского желудка необычайна. Качественная реакция в арестантском желудке не уступает по своей тонкости любой физической лаборатории. Любой «вольный» желудок не обнаружил бы присутствия сахара в том киселе, который мы ели, вернее пили этой колымской ночью на прииске «Партизан». А нам кисель казался сладким, отменно сладким — казался чудом, и каждый вспоминал, что сахар еще есть на белом свете и даже попадает в арестантский котел. Что за волшебник...

Волшебник был недалеко. Мы разглядели его после второго блюда второго обеда.

«Хлеба только по пайке, — сказал бригадир, — остального «от пуза» и поглядел на волшебника.

— Да-да, — сказал волшебник.

Это был маленький, чистенький, черненький, чисто вымытый человечек с неотмороженным еще лицом.

Наши начальники, наши смотрители, десятники, прорабы, начальники лагерей, конвоиры — все уже попробовали Колымы, и на каждом, на каждом лице Колыма написала свои слова, оставила свой след, вырубил лишние морщины, посадила навечно пятно отморожений, несмываемое клеймо, неизгладимое тавро!

На розовом лице чистенького черного человечка не было еще ни одного пятна, не было клейма. Это был новый старший воспитатель нашего лагеря, только что приехавший с материка. Старший воспитатель проводил опыт.

Воспитатель договорился с начальником, настоял, чтобы

колымский обычай был нарушен — остатки супа и каши ежедневно по давней традиции, уносились всегда с кухни в барак блатарей — когда «со дна погуще» — и раздавались в бараках лучших бригад, чтобы поддержать не наиболее, а наименее голодные бригады, чтобы всё обратить на «план», все превратить в золото — души, тела всех — начальников, конвоиров и заключенных.

Те бригады — и блатари тоже — уже приучились, привыкли рассчитывать на эти остатки. Но новый воспитатель не согласился с обычаем, настоял на том, чтобы раздать остатки пищи самым слабым, самым голодным. — У них, дескать, и совесть проснется.

— Вместо совести у них рог вырос, — пытался вмешаться десятник, но воспитатель был тверд и получил разрешение на эксперимент.

Для опыта была выбрана самая голодная, наша бригада.

— Вот увидите, человек поест и в благодарность государству поработает лучше. Разве можно требовать работы от этих доходяг? «Доходяги» — так, кажется, я говорю? Доходяги — это первое слово из блатной речи, которому я научился на Колыме. Правильно я говорю?

— Правильно, — сказал начальник участка, вольняшка, старый колымчанин, пославший «под сопку» не одну тысячу людей на этом прииске. Он пришел полюбоваться на «опыт».

— Их, этих филонов, этих симулянтов надо кормить мясом и шоколадом при полном отдыхе. Да и тогда они работать не будут. У них в черепушке что-то изменилось навечно. Это — шлак, отброс. Производству дороже бы подкормить тех, кто еще работает, а не этих филонов!

У кухонного окошка заспорили, закричали. Воспитатель что-то горячо говорил. Начальник участка слушал с недовольным лицом, а когда прозвучало имя Макаренко, и вовсе махнул рукой и отошел в сторону.

Мы молились каждому своему богу, и сектант — своему. Молились, чтобы окошко не закрыли, чтобы воспитатель по-

бедил. Арестантская воля двух десятков человек напряглась и воспитатель победил.

Мы продолжали есть, не желая расстаться с чудом.

Начальник участка вынул часы, но гудок уже гудел пронзительная лагерная сирена звала нас на работу.

— Ну, работяги, — неуверенно выговаривая ненужное здесь слово, сказал новый воспитатель. — Я сделал все, что мог. Добился для вас. Ваше дело ответить на это трудом, только трудом.

— Поработаем, гражданин начальник, — важно произнес бывший помощник Верховного прокурора СССР, подвывая грязным полотенцем бушлат и дыша в рукавицы, вдувая туда теплый воздух.

Дверь открылась, выпуская белый пар, и мы выползли на мороз, чтобы на всю жизнь запомнить эту удачу — кому придется жить. Мороз показался нам полегче. Но это было недолго. Мороз был слишком велик, чтобы не поставить на своем.

Мы пришли в забой, сели в кружок, дожидаясь бригадира, сели на место, где когда-то мы разжигали костер и грелись, дышали в золотое пламя, где прожигали рукавицы, шапки, брюки, бушлаты, бурки, напрасно пытаюсь согреться, спастись от мороза. Но костер был давно — в прошлом, кажется, году. Нынешнюю зиму рабочим не разрешалось греться, греется только конвоир. Наш конвоир сел, сложил головни своего костра, расшуровал пламя. Запахнул тулуп, сел на бревно, поставил винтовку.

Белая мгла окружала забой, освещенный лишь светом костра конвоира. Сидевший рядом со мной сектант встал и пошел мимо конвоира в туман, в небо...

— Стой! Стой!

Конвоир был малый неплохой, но винтовку знал хорошо.

— Стой!

Потом раздался выстрел, сухой винтовочный шелчок — сектант еще не исчез во мгле, второй выстрел...

— Вот видишь, олень, — по-блатному сказал начальник

старшему воспитателю, — они пришли в забой. Но убийству воспитатель не посмел удивиться, а начальник участка не умел удивляться таким вещам.

— Вот твой опыт. Они, суки, еще хуже стали работать. Лишний обед — лишние силы бороться с морозом. Работу из них — запомни, олень, выжимает только мороз. Не твой обед, и не моя плюха, а только мороз. Они машут руками, чтобы согреться. А мы вкладываем в эти руки кайла, лопаты, не все ли равно, чем махать, — подставляем тачки, короба, грабарки, и принск выполняет план. Дает золотишко...

— Теперь эти сыты и совсем не будут работать. Пока не застынут. Тогда помахают лопатами. А кормить их бесполезно. Ты здорово фраернулся с этим обедом. На первый раз прощается. Все мы были такими оленями.

— Я не знал, что они такие гады, — сказал воспитатель.

— В следующий раз будешь верить старшим. Одного застрелили сегодня. Филон. Полгода зря государственную пайку ел. Повтори — филон.

— Филон, — повторил воспитатель.

Я стоял тут же, но начальство меня не стеснялось. Ждать у меня была законная причина — бригадир должен был привести мне нового напарника. Бригадир привел мне Лупилова — бывшего помощника Верховного прокурора Союза. И мы начали сыпать взорванный камень в короба — делать работу, которую делали мы с сектантом.

Мы возвращались по знакомой дороге, как всегда, не выполнив нормы, не заботясь о норме. Но, кажется, мы мерзли меньше, чем обычно.

Мы старались работать, но слишком далеко было расстояние нашей жизни от того, что можно выразить в цифрах, в тачках, в процентах плана. Цифры были кошунством. Но на какой-то час, на какой-то миг наши силы — душевные и физические — после этого ночного обеда — окрепли.

И холодея от догадок, я понял, что этот ночной обед дал силы сектанту для самоубийства. Это была та порция каши, которой недоставало моему напарнику, чтобы решиться уме-

реть. — Иногда человеку надо спешить, чтобы не потерять воли пойти на смерть.

Как всегда, мы окружили печку. Только гимнов сегодня некому было петь. И, пожалуй, я даже был рад, что теперь — тишина.

В. Шаламов

Кто душа твоя? Изольда? Дульцинея?
— Незнакомка, невидимка, неслышимка.
Скоро утро, станет проще, холоднее:
Улыбнемся, поцелуемся, простимся.

Губы, губы, темно-розовые шелкопряды,
Выпрядите нескудеющие нити.
Не жалеите незаслуженной награды —
О, прижмитесь, поцелуйте, говорите.

Мягкий рот — как теплый, сладкий красный перец.
Милый рот певучий, алый, не накрашен:
Сладкопевец, запоздалый псалмопевец,
Пой о нежности, о сладости, о нашем.

Ничего и не узнали друг о друге,
И в глазах, неясных, искорка и дымка.
Где душа твоя? В аду? В котором круге?
— Незнакомка, невидимка, неслышимка.

2

Я тебя «рисовал на песке».
Ну и сдунуло ветром. Что делать.
На холодном сухом ветерке
Две слезинки, соленая мелочь.
«Здравствуй, утро!» (Лишь сердце твое —
Темный камушек, сгусточек ночи).
Жить, работать. Житье — забыть.
«Память сердца», давай покороче.

Ну, «счастливо». Ну что ж, я пойду.
Сам с собой пошучу: успокоит.
Вот и астра тоскует в саду:
Влюблена в голубой астероид.

Астероид, прощай. Птичий писк
Это значит, по-птичьему: сжальтесь!
След улитки слегка серебрист:
Млечный Путь на холодном асфальте.

Не душа, а легкий пар,
Говорят, у кошки нежной.
Паром полон самовар:
Чай душистый, жар душевный.

Ты не оборотень, нет,
Черный кот розовоносый?
Хоп, прыжок — и ваших нет:
Аль-Рашид сидит полночный.

Попрыгун ты, друг Гарун,
Что с тобой, халифом, делать?
Что мне даришь — изумруд?
Только череп, только челюсть?

Ты бы лучше мне принес
Луч от лампы Аладина.
Полно, призраки! От вас
В доме страшный холодина.

Игорь Чиннов

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Сестра, дай утку!

Вот так... А теперь слушь чего я тебе скажу. Темь здесь в палате-то. Знаю, каталашка, тюрьма значит. Не-ет, не в глазу у меня. Попросту темь — вот и вся штука. Лектричество экономит начальство. Лампочка под потолком, как в уборной. Сколько свечей-то? Двадцать пять. Знаю. Нет, ты, сестра, погодь, не уходи. Я вот что: помирать скоро буду. Меня ТБЦ жрет внутри. Ох, жрет! Но тебе не в урон. Я хроник. Не заразный. И не думай, что я того — не соумыслил или толкотуша. Нет покеда. Ты присядь-ка, присядь маленько. Не ту-жись. Я тя не трону. У меня и мускула уже нету. Заморыш с картофельным пузом — вот который я. Вишь, одни костяшки, да желтым пергаментом обхвачены...

Ох, нянюшка, жрет меня ТБЦ. Во внутри палочки Коха квасятся. А власть еще судить намерена. За убийство. А разве я убивец? Перед Богом говорю: не убивец я! Нет!... Да нет, я не кричу. Я шепотком, шепотком. Знаю, сосед тож помирает. Трупом здесь пахнет...

Вот суд будет. Хорошо, пушай. Пушай. Я человек малограмотный. Четыре класса в деревне Кашки кончил. Меня пацаном в Москву привезли, в трудовую колонию, имени Розы Люксембург, сдали. Выучили на слесаря-водопроводчика. А нынче мне шестьдесят восемь. Знаю, назначат адвоката бесплатного, а он будет сопливый да глухой, и будет на суде дрыхать. Если бы я ему деньгу посулил, шепку, другую — иной табак. А так — ему что? Да пусть я сдохну — навару нет. Ну и пушай на суде дрыхнет. Обойдусь. Сам за себя последнее слово скажу. Встану, отхаркаюсь и скажу.

Скажу: —

Гражданин судья и граждане народные заседатели! Вот я как есть перед вами — Евграф Антонович Лужинков. Прописан по Мансуровскому № 8. Последнее время служил в домоуправлении. Гол как сокол. Баба моя во время войны, царство ей небесное, сваяла, а сыновья, двое, на фронте погибли. Сапёры были. Но я медали имею. А как ж! «За оборону Москвы» и «За доблестный труд». И грамоты имею. И благодарности. Целую жизнь ведь работал в тресте «Мосгормусоропровод», ассенизатором, по канализации тоже. Нечистоты выгребал. И молоко пил государственное, как бы против бацилл. Шабловка, Даниловский рынок и Котельническая набережная — вот мои районы были. И Нобельмановская застава одно время. Канализация — дело мытарное, маркое. Но суть важная. И сноровки требует.

Ты не думай, сестра, что я того — не соумыслию и толкоуша. Нет покеда. А тело горит. В поту я. Вот и харкаю. Уже с кровью. В коробочку все, в металлическую-то. Но тебе это не страшно, сестра. Я хроник. Не заразный. Ладно, шепотком, шепотком.

И на суде так скажу:

Гражданин судья, граждане народные заседатели, мне скоро — к прадедам. На Ваганьковское кладбище значит, хоша там теперича только вождей наших хоронят, которые помельче...

Скажу:

Ты, гражданин судья, меня не перебивай! Я по закону последнее слово имею. А тебе-та закон уважать надобно, парень. Ежели ты судья, народом выбранный. Так что терпи. Я не долго. Я человек простой, обныкновенный, а целую жизнь прожил. И у меня совесть есть. А знаешь чего люд про нее думает? А думает: от соседа уйдешь, а от совести — никуда. Вот чего люд про нее думает-то. И я открыто скажу — что у меня на уме. Не сдрейфлю. Адвокат сопливый сдрейфит, а я — нет.

И прокурор не припугнет. Не-е. Видал я всяких дамочек в туфельках на иголках или как их там. Видал я «правильных

товарищей» в юбках. Раскрепощенных баб, так сказать. А на деле кволах. Небось взятки втихоря берут эти бабы-прокуроры...

И скажу:

Ты, гражданин судья, парень, меня не перебивай! Я право имею: последнее это мое слово!

Скажу:

Вот у тебя, гражданин судья, чего есть? Квартира? Отдельная? Ну пушай без ванной, но с душем. Правильно? А у дамочки-прокурора чего есть? Поди с ванной. Ну а у народных заседателей чего есть? Ни шиша. Вот чего. Зато у народных заседателей пятки драные и мозоли на руках, как у меня. Вы их тут для декорации держите. Знаю. А на стене вон висит этот самый товарищ Карл Маркс, с бородой. Висит и молчит. Так с кем же народным заседателям по пути, с тобой, гражданин судья, парень, с кволой бабой-прокурором, с товарищем Марксом или со мной? Не-ет, им со мной по пути. Ни хрена у нас нету. Ни ванн, ни квартир, ни иголок.

Ты, сестра, слышь, ты не думай, что я в бреду. Я не в бреду. В поту я. И тело горит. Но я при себе. Я тебя, нянечка, люблю. Я вас всех, нянек, люблю. Вы люди.

А на суде я скажу:

Вот ты, гражданин народный судья, парень, требуешь: «Ближе к делу!». Хорошо, пушай. Давай-ка разберемся в этом самом деле. В следствии, то есть. При всем честном люде, который в зале тут сидит. Убийца я или не убийца? Как это будет в соответствии с нашей социалистической конституцией? Не забывай, гражданин судья, что я хоть и «винтик-шпунтик», а человек и паспорт имею.

Правильно. Не отрицаю: стукнул я того толстара, как позже выяснилось, начальника Главрозопарфюмер, который заведывал производством клозетной бумаги и всякими такими изделиями для нового советского уюту. Стукнул. Правильно. Да ведь в передней стоял горшок с цветами — тюльпаны что ли. Я схватил его и ударил им этого толстара, как позже выяснилось, Гаврилу Петровича Прикулькина, по кумполу.

Горшок оказался увесистым, а кумпол, главковский, не прочь-ным. Ну и того... отдал он Богу душу. Гаврила-то.

Это, гражданин судья, граждане народные заседатели, как говорят адвокаты, голый факт. Но вы должны вникнуть в суть. Потому тут произошло классовое столкновение, классовое, как об этом сказано у наших вождей, начиная с Владимира Ильича Ленина.

Дело в том, гражданин судья и граждане народные заседатели, что толстарь, Гаврила то есть, тоже был пожираем ТБЦ во внутренних. Оба мы были чахоточными третьей стадии — безнадежными, хотя он теперича, царство ему небесное, избавился уже от палочек Коха. С собой в землю унес. Зарыл их, на веки веков... Нет, нет, сестра, ты не думай. Я в своем уме. И говорю тебе все как есть. И им скажу. На суде-то.

Я скажу:

Дело в том, гражданин судья и граждане народные заседатели, что мы оба, я и главковский Гаврила, начальник, жирный, бритый, с женскими титьками, хотя его и пичкали и день и ночь этими калориями, а то ж, как и я, вял. На глазах. От ТБЦ. И были мы с ним, с Гаврилой-то, в одном санатории для туберкулезных, имени «Третьего Интернационала», это под Москвой, в Красной Пахре. В бывшем барском доме, двухэтажном, расположился он, санаторий-то. А потом к нему пристройки пошли всякие. И принадлежал этот санаторий так: первый этаж Министерству Здравоохранения РСФСР, а второй — Кремлевскому Лечебному Управлению.

Гражданин народный судья, парень, граждане народные заседатели! Следствием было установлено, что на первом этаже находились обыкновенные трудящиеся, работяги, так сказать рядовой туберкулезник, а на втором — «элитники», то есть новый класс, ленинская листоватия, так сказать номенклатурный туберкулезник.

Вот, сестра, в молодые годы как-то я на пароходе «Фрунзе» прокатился. По Волге. В третьем классе конечно. На нижней палубе значит. Плашмя. А был второй класс с каютами и на верхней палубе — первый, люксовый. Так туда нас не

пушали. И написано было: «Пассажирам третьего класса вход строго воспрещен!». Вот и в санатории том, перед лестницей на второй этаж, висела надпись: «Вход посторонним воспрещен!». А какие же мы посторонние? И мы и они — чахоточные. И нас и их ТБЦ жрет. Туберкулезник туберкулезнику, хоша один член КПСС, а другой нет, не может быть посторонним. Потому приговоренные оба. Приговоренные, ежели третьей стадии.

Да нет, сестра, я не кричу. Ох темь тута. Вот чего. Темь как в могиле. Ты извини, сестра, что я харкаю кровью. Что делать? Без крови не получается уж. Ох тоскливо мне в этой каталашке! И на окнах железные решетки. Разве это больничная палата?

Я тебе вот чего скажу, сестра, слушь. На разных этажах мы были. Я в палате номер семь, а он, Гаврила-то, покойник-то, тот, которого я тюкнул, он в палате «А», как следствие выяснило. Но были мы как бы на разных классовых ступенях.

Их там, «элитников», калориями накачивали. А нас на манке без молока держали, да на морковных котлетах, да на треске, что б ей сдохнуть (разве от ее каверну затянет?)! Их там, «элитников» питали по меню на выбор пять разов на день, им даже наполеон пекли, и фрукты — завал, и икры, и гоголя-моголя или как его там. А думаешь, сестра, врачи одни и те ж были? Не-ет, и врачи разные и медикаменты. Продувания, например, им, на втором этаже, сколько хошь, а нам — лимит. Им даже заграничные лекарства вливали, а нам — дулю с маслом. И сестры разные были. У них — финтифлюшки, у нас — старушки. Один наш, угнетенный туберкулезник, Иван Рукавников, сказал: «Это как государство в государстве». Ну да, отдельным островком трутни там наверху жили и помирали. И телевизёр у них был с большим экраном. Слушь, любуйсь. И ковры со львами. А у нас: телевизёр с воробыиным экраном, а под потолком в палатах вот такие же сортирные лампочки в двадцать пять свечей. Темь. У них там, на верхней палубе: на каждого чахоточного отдельная комната, а нас по десять в палату затискивали. У них — пижамы шелковые, у нас —

куртки драные... Разные миры. Вот чего. И на одной земле. Разные миры, сестра...

Я на суде так скажу:

Гражданин народный судья, парень, граждане народные заседатели! Мы как два враждующих стана жили, два племени. Мы им, гадам, «элитникам», всякие пакости устраивали. Даже веревочку у входа на лестницу протягивали, чтобы они, сходя вниз, на прогулку идя, спотыкались, шлепались и расквашивали себе носы.

А тот факт, что нас на верх «парохода», в помещение «первого класса» не пушали, гнев копил. А как она, думаете, гражданин народный судья, парень, граждане народные заседатели, она, Октябрьская революция, совершилась? По гневу народному. Не будь гневу, не было бы и Владимира Ильича. Он на гневе народном и взошел.

Тут меня судья непременно перебьет, сестра. А я ему скажу:

Ты меня, гражданин народный судья, не перебивай! Я свое последнее слово говорю! Уважать надо!

И я вот что скажу:

Гражданин народный судья, парень, граждане народные заседатели! Как следствие показало, 24-го ноября прошлого года, в одиннадцать часов утра в здании санатория имени «Третьего Интернационала» произошла «Октябрьская революция». Да, да, она. Взбунтовались мы, палубные чахоточные, туберкулезники то есть, те, которые рылом не вышли, те, которые угнетенные пролетарии или из крестьян-бедняков. Взбунтовались и всё. И ворвались мы на второй этаж и начали, как это говорят, избивание младенцев. Начали крушить!

А поводом к тому, искрой, было вот чего: опять нам на завтрак картошку горелую дали. Конечно картошка хлебу присошка, но чахоточным жиры надобны. Осточертела нам картошка. И осточертело кашниками быть, на сметках каких-то сидеть. (Вот и здесь в тюремной больнице такой режим!)

Вот, гражданин судья, граждане народные заседатели, может быть, вы помните такое кино было: «Броненосец Потем-

кин». Там наш русский моряк восстал против царя. А почему восстал? А потому восстал, что кормили его, русского моряка-то, червивым мясом.

Правильно. Не отрекаюсь. В этой суматохе, когда побище началось и когда милицию и пожарников с «бранбойтами» вызвали, подвернулся мне под руку Гаврила. Он уверещевал: «Братцы, мы же свои: туберкулезники. Не бейте!». А я его и трахнул, как я уже сказал, горшком цветочным. До основания.

Ну и чего? Советский чахоточный трахнул советского ахоточного. Точно по Марксу. В соответствии с учением о классовой борьбе. Не уголовное это дело — классовое. Да, да, по закону о классовой борьбе и проходить должно.

И скажу:

А то, что адвокат мой, бесплатный, дрыхнет... Пущай себе. Я без него обойдусь. Ему что? Ему с меня навару нет. Он часы отсиживает. По форме. Сопливый. Глухой.

И еще скажу:

Гражданин судья, граждане народные заседатели, если чего нас и уравнивало в этом социалистическом санатории, то они — палочки Коха. Они жрали одинаково и нас, работяг, трудящихся города и села, и их — «элитников», пассажиров первого класса, с верхней палубы то есть. Палочки Коха на Карла Маркса плюют. Им один черт, богатый ты или нищий. Жрут всех подряд. Спасибо им за это. Хоть они — по-христиански действуют.

Ты, сестра, не думай, нет, нет, я еще в себе. Хоша и горит тело. Нет, я не толкотуша. Я правду говорю. Как совесть диктует.

Эх, сестрица, видела бы ты какой букет по воскресеньям приезжал к «элитным», навещать. В санаторий-та. В «Третий-та Интернационал». На второй этаж. Бабы в каракулях, туфли на иголках, пальцы в кольцах, духами за километр несет, на автомобилях конечно. Толстозадые, грудастые, с них жир так и каплет. И сумочки в руках лакированные. Одно слово: «новый класс». А кто к нам приезжал? Эх, одно слово — люд, с

мозолями, да с драными пятками, с грязными шеями. Люд и всё.

Вот что б я сдох, у вдовы той, у Гавриловой, небось квартира в пять комнат осталась, с пальмой в гостиной, а в кадке пальмовой, в земле то наверняка золото зарыто или деньги в непромокаемом мешочке. Он же, Гаврила-то, как следствием установлено, до Главрозопарфюмер, был директором Центрального ломбарда в Москве. Представляешь, нянька, сколько хавпанул?

Так что я на суде скажу:

Гражданин судья, граждане народные заседатели! Не я виноват, а вот он, тот, что висит на стене тут, Карл Маркс.* Его и судите! Он закон о классовой борьбе изобрел. Его и вина. Не я убил Гаврилу, он — Маркс! Так что прошу меня оправдать и из-под стражи милиции выпустить. По соответствующей статье нашей родной советской конституции!

И еще добавлю:

А вы, граждане народные заседатели, с дырявыми пятками и с мозолями на руках, не забудьте, что в комнате судьи, когда он будет на вас жать и требовать согласия с его решением, вы можете отказаться. Это ваше право. А он один приговор вынести не может. Так что вы сила! И не забудьте, граждане народные заседатели, с кем вам по пути!

Ты вот, сестра, говоришь, что мол хитер я, мужик протестский. А какая уж тут хитрость? Разве их перехитришь — палочки-то Коха? Тех, которые квасятся.

Слуш, сестра, дай-ка опять утку! Утку!

Вот так...

Ю. Кротков



Смотря альбом в осенней полумгле,
«Как хорошо мы жили на земле!»
Подумала с улыбкой, забывая,
Что я случайно все еще живая.

Но там, на снимках старого альбома,
С давно ушедшими — я больше дома.
О память, память! Плача и любя,
Как мне за них благодарить тебя?



Двадцать лет — их как не бывало!
Снова я в любимом лесу,
И в ладони тепло усталой
Смоляную шишку несу.

Пробираюсь знакомым бором, —
Улыбаюсь. Грущу. Молчу:
Больше нет уже тех, которым
Я о нем рассказать хочу.



Было небо серо-жемчужным,
Пухлый снег еще не обмяк,
И казалось радостно нужным
В нем отметить глубокий шаг.

А за синью пятого шага —
Куст шиповника на снегу:
Жар его оранжевых ягод
До сих пор забыть не могу.

Столько грозных лет отшумело,
Но презрев их злые дела,
Память выбрала эту мелочь
И к моим глазам поднесла.

Л. Алексеева

ИЗГОЙ

Изгнанником, бродягой, чужаком
Я прошагал по рывинам и шпалам,
Но с верностью, хотя бы только в малом,
И с Пушкиным, читаемым тайком.

Останься же, Россия, родником,
Не слившимся с разливом небывалым,
И шелести — в обиду карнавалам —
Мне на-ухо запретным шепотком!

Китай — любовь, Бразилия — свобода,
А только я не видел ледохода,
И соловей не пел в моем саду.

Я сыт, одет. И всё же нет желанья
На жимолость, рябину, резеду
Наклеивать латинские названья!

В НАЧАЛЕ ЗАПОЯ

То ссорюсь, то пьянствую
замашки изгоя:
по глобусу странствую
в начале запоя.

Верни мне, Бразилия,
природное право
взбегать без усилия
наверх и направо!

А там — гололедица,
оскомина святок,
и в небе — Медведица
пасет медвежаток.

Валерий Перелешин

ЛОСКУТКИ

В Доме для престарелых, где жила Амалия Н., было даже уютно и хотя, по кротости ее характера, сожительница по комнате ядовито ее подъедала, Амалия была там по-своему счастлива.

В жизнь насельников Амалия, собственно говоря, не входила. Ссоры, дразги, зависть и ревность (а это бывало, и даже придавало соль сонному существованию) оставались вне ее. Худенькая, с редкими седыми волосами для удобства коротко стриженными, Амалия чаще всего сидела в своей комнате, хотя ходить еще могла, смотрела в окно на теперь желтеющий сад, пожевывала губами, плотнее куталась в старенький платок, когда сожительница на зло ей открывала окно и даже не старалась уловить то, что та бормотала. Глушинка была для Амалии большим удобством.

За кротость права дирекция и прислуга ее баловали и частенько приносили ей в комнату оставшийся кусок сладкого пирога, зная что она любит сладенькое, а иногда, в вазочке, цветок из сада, как вот эту сентябрьскую, вялую розу, которую она гладила сморщенными пальцами. Никто не знал, о чем она думала, и о самой Амалии мало что было известно.

Где прошла ее молодость, как попала она в эту страну, в этот Дом, есть ли где-нибудь на каком-нибудь континенте у нее родственники или друзья, образованная она или нет, никто этим не интересовался, как не интересовалась и она теми, кто жил взбудораженно, растрачивая в спорах и обидах накопившийся от безделья остаток жизненной энергии.

«Выжила из ума», — говорили некоторые об Амалии, но напрасно: голова у нее ясная, потеряла только вкус к разговорам.

Равнодушие ее казалось странным и все помнят, например,

что, когда в Доме случился пожар и все очень перепугались и, хотя опасности не было, все долго переживали этот случай, корили дирекцию за неосторожность, волновались — а вдруг опять такое случится и все сгорят — кто-то, зашедший в комнату Амалии, рассказал ей об этих опасениях, Амалия то ли ничего не боялась, то ли не вслушалась в то, что посетитель ей кричал, она только улыбнулась благосклонно и вежливо. Посетитель махнул рукой, решив, что ей все равно — жить или умереть. Пожалуй, это так и было, а может быть терпения у Амалии хватало на ущемленную, без будущего, жизнь.

Амалия никогда не расставалась с каким-то мешком, не очень большим и не очень маленьким, когда-то расшитым многоцветной шерстью «о пети пуан» как гобелены. Над этим в Доме подшучивали: может, среди мягкого какого-то вздора в мешке запрятаны бриллианты? Хотя кое-какие золотые вещицы Амалия, поступая в Дом отдала под расписку дирекции (как и другие пенсионеры, от греха подальше) — кольцо с изумрудом, золотую цепочку и медальончик, неизвестно что хранивший в своем сердце, да нитку мертвого жемчуга.

С мешком брела Амалия в столовую, когда хорошо себя чувствовала, или, при поддержке, ковыляла в сад на солнце. Открывала же она мешок только когда сожительница, грохнув дверью, выплывала из комнаты смотреть телевидение. Амалия знала, что часа два она не вернется. Вот тогда-то, как-то подбравшись в своем кресле, Амалия неторопливо вытаскивала из мешка один за другим какие-то лоскутки, разноцветные, разношерстные и каждый из них долго и любовно держала в руках.

С каких пор она стала собирать эти маленькие кусочки бывших своих платьев, не всех, конечно, а только тех, которые для нее знаменовали что-то значительное, а иногда и просто приятное? У других фотографии, вырезки, предметы, альбомы — у Амалии лоскутки для памяти. И зрения не надо — на ощупь...

Кусочек пожелтевшего, пергаментно-сухого атласа. Сва-

дебное платье. Как она была красива, когда с отцом входила в сияющую кирку и шлейф нес за ней маленький паж, давно умерший племянник. И как она была глупа и застенчива! Гудел орган, на котором играл, с отчаянием, отвергнутый поклонник. Корсет останавливал дыхание, кругом были люди, лица, как нечто собирательное и уже стертые памятью. А после банкета, платье было сброшено, привидением лежало на кресле. Она, с малознакомым человеком, уезжала в Италию.

За атласом в руку попало что-то простое, ситцевое — из мешка, как из лотерейного тамбура, вытягивались билеты наугад — совсем из другой эпохи. Амалия вспомнила синее с красными крапинками, а ля шинуаз — платье деревенское. И вот заскрипели уключины лодки на озере, с берега кричали, лодка медленно шла среди кувшинок и запах тины поднимался от воды, мешаясь с запахом соснового, солнцем пригретого бора.

Пальцы все копошились внутри мешка, роясь в прошлом. Голубое, тяжелое, с золотыми нитями. Нити наверно почернели, но Амалия хорошо помнила, что в этом сияющем, королевском платье она выходила на эстраду, в первую минуту задыхаясь от страха перед черным провалом зала, но затем вдруг через страх прорывалось и несло в мир то, что люди называли музыкой. Как торжественно подымался ее голос в концертном зале, как легко выходило дыхание, переходящее в пение, в призыв, в биение крови, становилось самой жизнью...

Мир отвечал плеском рук, грохотом аплодисментов, криками б-ии-сс! б-ии-сс! и анкор! анкор! и, несомая этой благодарностью мира, Амалия пела и пела, пока не возвращалась, как боец после битвы, изнеможенная в свою ложу, где ждали цветы и поклонники.

Голубое неожиданно сменилось чем-то — наверное черно-синим. Это уже была не парча, а добротное тонкое сукно. В таком тайере она ездила к мужу, сначала на фронт, затем в госпиталь и, хотя осталась протестанткой, по-православному крестилась, прежде чем войти в палату, улыбкой стирая страх перед ранены и быстро-быстро говорила ему: «Ну какой ты

молодец! Какой у тебя хороший вид. Вот я скоро за тобой приеду».

Лоскутья не повиновались времени. На удочку попадались то кусочек шелка с кружевной прошивкой — распашонка, в которой она лежала после рождения сына, то английское крепкое сукно, от амазонки — и вот, после надушенной спальни, неслась Амалия по полю великокняжеской охоты. Мчатся всадники, вытягиваются стрелой борзые, воздух светел и чист и ей совсем не хочется, чтобы лиса была убита, но она вошла в игру и тоже что-то кричит и вуаль, привязанная к ее цилиндру, вьется за нею как дым...

В Вене, после концерта, она была приглашена петь в Шёнбрунн и императрица Елизавета со вниманием знатока оглядела присевшую в глубоком реверансе Амалию, а было на ней вот такое нежно-сиреневое, все сплошь вырезанное платье на чехле из розового атласа...

Попался еще лоскуток, Амалия не сразу его на ощупь узнала, а узнав — улыбнулась. В этом платье она была в Париже на Всемирной выставке, куда повезла (пожалев ее) свою некрасивую двоюродную сестру из Риги, девушку серьезную и неулыбчивую. Амалия увлекла ее в Луна-Парк и там, на трясущихся мостках, какая была умора! Она от смеха чуть не задохнулась, — кузина растеряла все свои «шиши» фальшивые буколки модной тогда прически.

В этом кипсеке, как в семейном альбоме, Амалия сохранила не только свидетелей прошлой радости, но и прошлого горя: черный креп по умершему сыну и, с розовой вышивкой, темно-серый атлас последнего концерта — голос ее уже пропал... Не только свидетелей счастливой и честной жизни, но и двух незаконных увлечений, в которых она все хотела раскаться и не могла, хотя оба принесли ей: первое — развод с мужем, а второе — мучения, доведшие до отчаяния, и к тому же до разорения.

Последние годы, самые тягучие, были годы потерь, обид и бедности и уже не приходило на ум отрезать кусочки от изношенных платьев.

Глухие, командорские шаги застучали по коридору — тучная сожительница возвращалась. Пробудившись от воспоминаний, Амалия торопливо засовывала обратно в мешок урожай вечера.

Разрозненные, пестрые осколки неосознанной жизни не могли стать панорамой чего-то целого и законченного. Мельтешили в них события и лица, наступая друг на друга, друг друга вытесняя. Не сливалось в целое лоскутное царство, копилка счастья и несчастья, но, вероятно, где-то какая-то нить, его связывающая, и выявлялась, придавая ему смысл, облекая в гармонию.

Амалия об этом не задумывалась. Как спускаются шторы на окне, закрылось ее лицо, застыло в обычной полуулыбке.

Шнурки мешка были затянуты. Она побрела к кровати и положила мешок под подушку, вежливо пожелав сожительнице покойной ночи.

Зинанда Шаховская

ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА ВОСКРЕСЕНИЕ В САНСЕПОЛЬКРО

Евангелие в Борго есть:
Встает из гроба и не может
Не встать и не ступить Рыбарь,
И воины не спать не могут.

Всегда сейчас: олива, голубь,
Храпящие во всю носы,
И наяву о край гробницы
Расплющена Его ступня.

Юрий Иваск

ФРАНЧЕСКО БОРРОМИНИ

Храм Иво: изваяние; и вазой,
Гирляндами увитой, вознесен.
Самоубийцы Борромини сон:
И с ним обезумело-резво лазай

По выгибу и вгибу, выше, вон
Из римской скуки. Прихоть для глаза
Останется... моей барочной фразой
И радостью. Зачем же обойден?

Тиары — яйца, а плафоны — соты.
На башенке веселый завиток,
И сверху ангелы вполоборота

Мне мило улыбаются. Кивок
Из рая сотый или семисотый?
Зачем же Борромини изнемог?

ЗЕЛЕНАЯ ЖИВОПИСЬ ВЕНЕЦИИ

Зеленый змий из зеленá вина,
А то, что молодо иначе зелено,
И мне у узкого ее окна
Немедленно озелениться велено.

Дремлю Адриатической волной,
Свисаю виноградинами, грушами,
И осыпаюсь ивовой листвой,
Шепча-вдыхая с родственными душами.
Кривелли и Карпачьо: вы со мной.
И Тинторетто с птицами-кликушами.

Юрий Иваск

ПРИБАВЛЕНИЕ СЕМЕЙСТВА

На перекрёстке, у забора,
Стоит потерянный поэт.
Он наблюдает, как из сора
Растёт классический сонет.

Мир творчества устроен тонко,
Темны поэзии пути.
Стихи, как малого ребёнка,
В капусте можно обрести.

Иль весь узор стихотворенья,
Чтоб мук не длилась канитель,
Чудесный аист вдохновенья
Приносит мастеру в постель.

МНИМАЯ ПОБЕДА

Смеётся солнце океану радо.
Купанье, яхта, ласковый песок
И шопот волн у обнаженных ног.
Такой восторг, что умирать не надо.

Отливом смыт несумолимый рок.
Воды солёной грозная громада
Встаёт в сиянье счастья, как награда;
Мир городской совсем увял, поблёк.

Существование наше скоротечно,
Но зная это дышим мы беспечно,
Не слушая докучного сознанья.

Нам дорог гордости самообман.
У наших ног — ровесник мирозданья,
Бесчеловечно вечный океан.

Глеб Глинка

ГЕНЕРАЛ И ДРАКОН

1

...По странной случайности генерал, открывший памятник, скончался на рассвете.

(Из истории войны).

Старенький японский генерал, не без усилия, просунул руки в рукава узкого парадного мундира, поданного ему денщиком и подошел к высокому зеркалу. Через плечо он надел красную ленту и стал прилаживать ордена. Орден было так много, что последний — большую бриллиантовую звезду, полученную им в Персии, он никак не мог устроить.

Генерал был маленький, сухой, с круглой, коротко остриженной головой, очень усталый, много раз раненый. Когда он был совсем готов, денщик подал ему саблю — дар императора. Из всех своих отличий он ценил ее больше всего. Денщик подал саблю двумя руками, низко согнувшись. Генерал принял ее тоже двумя руками, с шипением втянул воздух и поклонился.

В зеркале на минуту отразились две головы — белый и черный ежик почти касающиеся друг друга. Посередине, в вытянутых руках, была сабля, в черных лакированных ножнах, с качающимся шелковым темляком.

2

Генерал ехал на открытие памятника в большом, глухо-враждебном китайском городе. Памятник, поставленный погибшим японским солдатам, завоевавшим Китай, был оскорблением и насмешкой. Генерал имел сведения что ожидается демонстрация и возможно покушение на его жизнь. Отодвигая

ящик комода, взгляд его упал на плоский бельгийский браунинг, лежавший поверх шелковых носовых платков, и на минуту генерал подумал было положить его в карман, но изменил решение и пошел к автомобилю.

Смерти он давно не боялся. Был солдатом всю свою жизнь и втайне думал, что лучше умереть от пули или бомбы, чем на кровати — тогда ему самому, пожалуй бы, поставили памятник в маленьком городке, где он родился и бегал в школу...

По дому он проходил сутулясь, прихрамывая, но выйдя на улицу, подтянулся и сел в автомобиль с прямой спиной, лицом каменным и важным.

Хрипло крикнули часовые, затрещали мотоциклеты, с привинченными к коляскам пулеметами, в окно автомобиля заструился непокорный китайский ветер. В автомобиле генерал вдруг почувствовал какой он старый и больной. Накануне ему спалось плохо и он встал утром с ощущением близкой смерти — с солснoвaтoм вкyсoм вo ртy, кoтopый y нeгo вceгдa oтoждествлялся с опасностью, с того самого дня, когда молодым офицером, простреленный русской пулей, он упал на желтую траву Ляояна, захлебываясь кровью, заливавшей ему рот.

3

На площади, залитой сухим солнечным блеском, стояла молчаливая толпа. В центре, задрапированный желтым шелком, странной глыбой возвышался памятник. Рядом, разукрашенный флагами и свежими еловыми ветками, находился помост, блестящий золотом мундиров и эполет. Вокруг, четырехугольником, стояли солдаты, сквозь толпы шмыгали в синих мундирах жандармы.

Мучительно стараясь не хромать, генерал поднялся на платформу и сел на почетное место в центре, с тем же самым ощущением близкой смерти, не покидавшим его все утро.

Он рассеянно разглядывал толпу, стараясь угадать своего возможного убийцу. «Наверное *он*», — думал генерал смотря на худого китайского юношу в длинном синем халате, — «интересно знать, что это будет — самодельная бомба, писто-

лет?». Но толпа стояла настороженно-тихо, думая свое, и в назначенный момент генерал встал и поклонившись на три стороны, потянул за поданный ему шнурок. Медленно, с тихим шелестом упал желтый шелк и толпа вутренне ахнула увидев на площадке гранитного пьедестала огромного бронзового дракона — чудо древнего литейного мастерства давно ушедших веков.

Дракон присел на мощные задние ноги, как бы готовясь к прыжку, бронзовые крылья поднялись в воздух, в крутой шее и длинной лошадиной голове была угроза, гордость и сила.

Как военный трофей, дракон был вывезен из буддийского монастыря и немало труда стоило японским инженерам поднять его на пьедестал с помощью двух гигантских кранов.

Вскоре церемония закончилась. Толпа разошлась, помост опустел и генерал уехал обратно.

Дома он быстро переоделся и в черном широком халате, в туфлях, уже не был похож на грозного генерала, водителя армий, а стал обыкновенным стариком, дедушкой, со своей круглой, как шарик, белой головой и усталыми коричневыми глазами.

Денщик приготовил ему ванну и генерал попросил натереть ему спину, которая у него болела весь день. Натирая генеральскую спину пахучим сосновым бальзамом, денщик с почтением смотрел на темные шрамы, следы многих ранений, и думал что очень скоро над каменным домом генерала приспущат флаг на белом, высоком флагштоке.

Генерал лег на жесткую кровать, не снимая халата, подсунул под голову жесткую подушку и накрылся толстым ватным одеялом. Заснул он почти сразу, но спал плохо и беспокойно. Приснился ему город, где он родился и вырос и приснилась ему мать, умершая много лет назад. Во сне она все старалась к нему подойти, маленькая, седая, с бусинками темных глаз, протягивала к нему руки. Губы ее шевелились, но слов он разобрать не мог. И вдруг генерал почувствовал к ней такую нежность и любовь, что, не в силах сдержаться, он закричал «мама-сан, мама-сан!» ...Проснувшись, он увидел

что сидит на кровати и жгучий стыд пронзил его сердце. Он подумал что его могли услышать, его водителя армий, с тысячами жизней на совести, ночью зовущего мать... Но дом был большой, денщик спал далеко и генерал успокоился. Заснуть он долго не мог и только взяв из серебряной коробки две маленьких пилюльки, оглушенный барбитолом, провалился в беззвучную пучину сна.

4

Под самое утро, когда стекла в комнате поглубели, а небо из черного стало мутно-серым, генерал проснулся. Двойные двери спальни, ведущие во внутренний дворик, были распахнуты настежь и оттуда тянуло сыростью и холодом, а через порог, скребя о него бронзовым брюхом, поводя из стороны в сторону лошадиной мордой, полу-скрытый туманом, в комнату медленно вползал дракон с памятника на китайской площади...

Нечеловеческим усилием воли, победив мучительный ужас, генерал выхватил императорскую саблю, и коротко крикнув, ударил дракона по поднятой лапе и упал навзничь...

Утром в комнату вошел денщик и увидел генерала лежащего поперек кровати, с чугунно-темным лицом откинутым на сторону. Приученный не рассуждать, а действовать, он надавил кнопку секретного звонка и через минуту в комнату, стуча сапогами, прибежала охрана, забегали люди, появился доктор.

5

На площади вокруг памятника кипела жизнь. Бежали бо-соногие рикши, сновали люди, кричали лотошники, но никто из всей этой человеческой массы не заметил свежей, глубокой зазубрины на лапе бронзового дракона.

Китай-Австралия

Михаил Волин

З Е Р К А Л А

1

Эксперименты с зеркалом — вы сели
Перед стеклянной глубиной
И в двойника вперили взгляд: отселе
Для вас начнется мир иной.

Иной — он мир обратный: лево — справа...
Зеленоватый холодок
Сочится в мозг мой тонкою отравой
И застилает потолок.

И виден только в глубях отраженный,
Немой внимательный двойник.
Он слишком хищно, слишком напряженно
С той стороны к стеклу притник.

И вдруг встает, уходит деловито
Куда-то вбок и в глубину.
И мне он улыбнется ядовито:
«Иди за мной!...» И я тону.

2

В зелёной глуби, без движенья,
В прозрачных потайных углах,
Живут бездонно отраженья
В двух параллельных зеркалах.

Они таятся там веками,
Пока не вызовешь их ты,
И, как огней болотных пламя,
Они всплывут из темноты.

И ты поймёшь тогда, что время
Лишь отраженье двух зеркал,
Где два Ничто играют теми,
Кто попадает в их оскал.

Борис Нарциссов



Так не спешит обласканный судьбою
Примерить нимб,
Так дебютант не грезит, что собою
Затмит Олимп,
Так бес не жаждет душ,
Игрок — везенья,
Беглец — реки,
Как жаждет лоб мой стать прохладной тенью
Твоей руки.

Ни явь, ни бред: соломенные пути.
Ни боль, ни ложь!
Иду к тебе паломницей разутой,
Чтобы купить бесценную минуту
За медный грош.

ПЕТЕРБУРГ

Я видела сиянье куполов —
Рассвет был колокольным звоном болен,
Но зов твоих молчащих колоколен
Пронзительнее всех колоколов.

Ты — город и гордыня, горло слов
Добытых из таких духовных штолен,
Где бунт, стократ разбит и изневолен,
Опять из пепла вырасти готов.

Ты чудом каменеющих терцин
Вломился в спячку Азии двуликой,
Как твой отец, державный бомбардир,

И тот — нерусский, как твои дворцы,
Твой сын, твой дух, опальный и великий,
Одетый в камер-юнкерский мундир.

Виолетта Иверни

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ СОЛЖЕНИЦЫНА

В «Нобелевской лекции» Солженицын призывает всех писателей и художников мира понять ответственность своего призвания и это призвание исполнить. Он вспоминает слова Достоевского: «Мир спасет красота» и открывает значение этих слов для современности. Он утверждает, что подлинное Искусство способно вразумить и спасти человечество, которое в наше время слепо идет к катастрофе. С этим убеждением он обращается с нобелевской кафедры ко всем одаренным свыше людям: «Друзья! А попробуем пособить мы, если мы чего-нибудь стоим!»

Глубокое понимание Искусства, которое Солженицын всегда пишет с прописной буквы, у него традиционно-романтическое. Это то понимание Искусства, которое впервые выразили словами философы античной культуры и к которому позднее добавляли европейские мыслители свои новые открытия. Искусство для Солженицына не только эстетика и роль его не только украшение жизни, и не средство для распространения идей — а самостоятельная отрасль. Искусство существует само по себе как особый дар Творца людям, через который человек может познать высшие тайны творения мира. Солженицын пишет:

«Еще в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: *зачем* нам этот дар? как обращаться с ним?»

И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что Искусство разложится, изживет свои формы, умрет. Умрем — мы,

Эта статья является предисловием к докторской диссертации о творчестве Солженицына, которую в ноябре с.г. защитила автор на Славянском отделении Нью Йоркского Университета. Вся работа вскоре выйдет отдельной книгой. РЕД.

а оно — останется. И еще пойдем ли мы до нашей гибели все стороны и все назначения его?

Не всё — называется. Иное влечет дальше слов. Искусство растекает даже захлавленную, затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством Искусства иногда посылаются нам — смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению».

Искусство вошло в человека с живой душой, которую вдунул в него Творец, создавая его. Потому настоящий художник у Солженицына скромный работник исполняющий волю могучего, разумного Созидателя мира. Он «...знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога...». Это простыми словами выраженное романтическое кредо А.С. Пушкина, который тоже слышит над собой голос Бога и принимает своим преображенным слухом и зрением приказания Его:

Восстань пророк, и виждь, и внемли,
Исполни волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Так понимали свою роль художников многие русские писатели, следуя примеру Пушкина. Именно так толкует кн. Е. Трубецкой роль древне-русских иконописцев в созданном ими Искусстве. Он пишет: «Икона XV века всегда вызывает в памяти бессмертные слова Достоевского: «красота спасет мир». Ничего, кроме этой красоты Божьего замысла, спасающего мир, наши предки XV века в иконе не искали. Оттого она и в самом деле была выражением великого творческого замысла».

С таким пониманием Искусства Солженицын исполняет свой писательский долг. Творчество его не только художественные произведения достойные тщательного исследования литературоведа. Оно несет на себе тяжелую нагрузку ответственности за передачу человечеству того, что ему как художнику было открыто свыше. Художник не творит сам, пишет Солженицын — «...не им этот мир создан, не им управляется, нет сомнений в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям». — Именно такое и только такое задание исполняет Солженицын

своим творчеством. В письме IV съезду писателей СССР он говорит, что художественной литературой может называться только та литература, которая правдиво и честно выполняет вышеуказанное предписание. «Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи ее идут не в чтение, а в утильсырьё».

Редкий писатель в истории европейской культуры ощущал такую тесную, непосредственную связь с мировой литературой, как Солженицын. Чувство единой мировой литературы делает его веру в силу Искусства еще более значительной. И в прошедшие века было понятие общей европейской культуры. Изучались влияния литературы и мысли одной нации на другую. Но никогда еще не было такого быстрого отзыва на литературные явления мира как в наше время. Современные возможности коммуникации не требуют долгого времени для того, чтобы новая мысль или новое произведение литературы стало общедоступным во всем культурном мире. Все произведения Солженицына, появившиеся за последнее десятилетие, уже известны на всем земном шаре. И это несмотря на все усилия властвующих в его стране не допустить его произведения к печати. Этот факт дает право Солженицыну засвидетельствовать в «Нобелевской лекции», о новом явлении нашего века: — «Так я понял и ощутил на себе: мировая литература — уже не отвлеченная огибающая, уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества».

В этом растущем духе единства человечества видит Солженицын залог спасения от современных заблуждений. Он вносит свой вклад в него: духовные ценности своего народа, добытые суровыми годами потрясшей страну революции и страшного сталинского произвола над людьми.

Взойдя на кафедру нобелевского лауреата, Солженицын обращается ко всему миру и указывает на болезнь века — на основное заблуждение его. Человечество, став на земном шаре единой огромной семьей, не имеет общей шкалы нрав-

ственных оценок. Что в одном конце земли считается морально недопустимым, подлежащим суду, то в другом конце ее творится на глазах у всех и равнодушно замалчивается. В таком двоении шкалы оценок Солженицын усматривает близкую катастрофу для человечества: «...для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью... Мы не уживем на одной земле, как не жилец человек с двумя сердцами».

Общей шкалой оценок для всего человечества должна быть одна, вечная справедливость, которая не меняется из века в век, не исчезает, но существует извечно, как Искусство. Без такой общей справедливости нельзя человечеству выжить. Солженицын видит возможность преодолеть этот разноречивый действительный Искусства. Художник может передать опыт своего народа другим и таким образом шкала оценок сможет найти общий знаменатель. Эту возможность обнаружил Солженицын в растущем единстве мировой литературы.

Во многих произведениях у Солженицына встречаются поновому освещенные духовные ценности Средневековья. Его привлекает целостность миропонимания людей тех времен, их устремленность к духовному и пренебрежение земным. Этой устремленности к духовному не хватает современному человечеству. Костоготов, восстанавливая в своей памяти древнюю повесть о Китоврасе из «Толковой пален», откуда идет в народе пословица «Мягкое слово кость ломит, а жесткое гнев вздвигает», делает для себя вывод: — «И вот размышлял Олег: этот Китоврас и эти писцы пятнадцатого века — насколько ж они люди были, а мы перед ними — волки. Кто это теперь даст ребро себе сломать в ответ на мягкое слово?».

Потеря устремленности к духовному влечет за собой упадок нравов и Искусства. Такой упадок наблюдает Костоготов. О таком же упадке нравов и Искусства свидетельствует Е. Трубецкой, сравнивая древнее русское искусство с более поздним и современным: «В этих памятниках современности ярко выразилась сущность того настроения, которое имело своим последствием гибель великого религиозного искусства; тут мы имеем не простую утрату вкуса, а нечто неизмеримо большее — глубокое духовное падение... Причина этого упадка повсеместно одна: повсюду угасание жизни духовной коре-

нится в той победе мещанства, которая обуславливается возрастанием житейского благополучия».

В «Нобелевской лекции» Солженицын снова объединяет расторгнутое триединство в Искусстве: Истину, Добро и Красоту. Со времен увлечения рационализмом их разделили на три отдельных дисциплины: истину стали искать в науке, добро выделили в область морали, а для красоты нашли пристанище в эстетике. Солженицын снова видит их нераздельными в подлинном Искусстве. «Так, может быть, это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула...» пишет он, — «И тогда не обмолвкою, но творчеством написано у Достоевского: «Мир спасет красота»? Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно».

Творцы средневековой готики не думали отдельно об эстетике, создавая архитектуру своих храмов. Они в них вкладывали свое целостное мировоззрение, свое стремление к духовной высоте. Древние русские иконописцы тоже передавали в иконах духовные ценности своего времени. О древней русской иконописи говорят, как об «умозрении в красках». И мастера готики и русские иконописцы создали бессмертное искусство. Солженицын ценит это древнее искусство, его глубокое, целостное содержание и зовет на нем поучиться. В пьесе «Свеча на ветру» он говорит словами Алекса, отбывшего десять лет тюремного заключения: «Оказывается мы нигде ничего не упустили. Разве только — осматривать средневековую готику».

Глубже и шире открывается устремленность Солженицына к Средневековью в романе «Август четырнадцатого». В нем выразителями этих идей являются: пожилой Варсонофьев и молодая профессор Андозерская. Первый беседует со студентами толстовцем-народником и гегельянцем; вторая — с курсистками увлеченными социализмом. Оба в разговорах выдвигают духовные ценности Средневековья, идущие вразрез с модными идеями времени. Молодые, в свою очередь, стоят за свои идеи, но жадно ждут услышать от собеседников что-нибудь веское. В этом ожидании молодых слышится отношение автора к модным направлениям: даже увлеченные ими молодые не удовлетворены, они ищут чего-то более содержательного и полного. «Да в какую я компанию попал! — все направления!» — говорит Варсонофьев. И осторожно, но едва ли оспо-

римо, разбивает в разговоре основы этих направлений. Гегельянцу Коте он говорит:

«...если вы гегельянец, вы ж должны утверждать государство.

— Я и ...и утверждаю, — с некоторой заминкой согласился Котя.

— А государство — оно не любит резкого разрыва с прошлым. Оно именно постепенность любит. Перерыв, скачок — это для него разрушительно».

Солженицын постоянно подчеркивает важность непрерывного исторического развития страны и сохранения традиций народа. То, что случилось после революции 1917 года (особенно в 30-тые годы) губительно, потому что тогда резко порвали с историческим прошлым русского народа. Гнали все, что имело общее с духовной культурой страны: религию и Искусство. Е. Замятин еще в 1921 году написал в статье «Я боюсь»: — «...если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически-правоверным, должен быть сегодня — полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло... А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое».

Но и прошлое может пропасть, если нет настоящего, то есть нет живой культуры, умеющей ценить прекрасное. В. Вейдле в своей книге «Russia: Absent and Present» называет это порабощение Искусства — анти-культурой. В это понятие входит в основном замена одной культуры другой. Анти-культура — это нигилистическое отрицание всего, что не имеет прямого утилитарного применения в советской действительности.

Толстовцу-народнику Сане Варсонофьев указывает на полное отсутствие разумной основы этого направления. Народники хотят осчастливить народ, не понимая до конца, что входит в значение слова «народ». «Да все мы научность любим», — говорит он, — «а вот народа никто строго не определял».

На смену модным научным увлечениям Варсонофьев предлагает обратиться к тщательному изучению общего истори-

ческого развития человечества. Он предлагает в прошлом искать разгадку современных событий. Варсонофьев образно сравнивает историческое развитие с естественным ростом дерева и течением реки, у которых свои натуральные законы роста и течения. Эти законы, не людьми созданные, надо стараться понять и разгадать их направление. Любое вмешательство человеческого разума в эти естественные законы действует разрушительно на дальнейшее общее развитие. Оно как топор для дерева, — пишет Солженицын. Но у отдельного человека есть возможность прислушаться к течению истории и разгадать неземные законы, направляющие его. Солженицын, говоря устами своего героя, указывает путь к разгадке этих тайн мироздания. Варсонофьев видит в обращенности к своей душе самый глубокий смысл короткой жизни человека на земле, так как через усовершенствование души может открыться человеку некая частица тайны мироздания. В этом заключается большая смысловая нагрузка выделенных в речи Варсонофьева слов «СТРОЙ ДУШИ». Он говорит так: — «Слово СТРОЙ имеет применение еще лучшее и первое — СТРОЙ ДУШИ. И для человека нет нич-чего дороже строя его души, даже благо через-будущих поколений... Мы всего-то и позваны — усовершенствовать строй своей души. — Как позваны? — перебил Котя. — Загадка! — остановил Варсонофьев пальцем. — Вот почему, молясь на народ и для блага народа всем жертвуя, ах, не затопчите собственную душу: а вдруг из вас кому-то и суждено что-то расслышать в сокровенном порядке мира?».

Забота о духовном совершенстве своей души есть одна из основных ценностей Средневековья.

Профессор Андозерская еще раз повторяет мысль Варсонофьева несколько в другом освещении. Она занимается изучением западного Средневековья. Этот факт удивляет молодых курсисток, которые не видят возможности применить знание папских булл к современным нуждам общества. С точки зрения курсисток-социалисток историю надо начинать изучать со времен Просвещения или с французской революции. Средние века, заклеенные ярлыками: темные, мракобесные, с кострами инквизиции — не имеют для них никакой ценности. О том, с какого времени надо начинать изучать историю, Андозерская говорит: — «Ошибка поспешного мышления: обна-

ружить ветвь и выдавать ее за все дерево. Западное просветительство — только ВЕТВЬ западной культуры и отнюдь не самая плодоносная, может быть. Она отходит от ствола, не идет от корня».

Как и Варсонофьев она выдвигает взамен увлечения курсисток социализмом — обращенность к своей душе. На вопрос курсисток, что в истории важнее, она говорит: — «Да, если хотите, главней — духовная жизнь Средневековья. Такой интенсивной духовной жизни, с перевесом над материальным существованием, человечество не знало ни до, ни после... ЛИЧНАЯ ответственность каждого — за то, что делает он, и что делают при нем другие... Ведь мы могли помочь, могли помешать, могли руки умыть».

Эти два диалога с молодежью многое объясняют в мировоззрении Солженицына. С точки зрения, которую представлял Варсонофьев и Андозерская, нужно подходить к объяснению духовных идеалов в его художественном творчестве. Болезнь современного человечества — разные шкалы оценок — происходит из-за отрыва нынешней культуры от общих исторических корней. В прислушивании к общему течению истории, в возрождении положительных явлений общего прошлого можно найти правильный путь в будущее. Самое интересное в этой философии Солженицына — это роль и ответственность отдельного человека, личности в общем течении истории человечества. Роль отдельного человека — усовершенствование строя собственной души, духовная жизнь его. Ответственность каждого человека — разгадка тайны мироздания. Усовершенствование строя души требует от человека много усилий и много жертв. Основное положение работы человека над собой — это постоянное поддержание и восстановление общечеловеческой справедливости. Той справедливости, которую Варсонофьев определяет как «...не своя, которую б мы измыслили для удобного земного рая. А та справедливость, дух которой существует до нас, без нас и сам по себе. А нам ее надо — угадать!»

В свете такого понимания справедливости и стремления усовершенствования строя души следует рассматривать внутренний душевный мир героев Солженицына. С этой точки зрения надо разбирать и личную совесть, которая определяет поступки их. Личная совесть каждого героя Солженицына тесно

связана с общечеловеческой, высшей справедливостью. Когда у человека получается отрыв от нее, когда он перестает ею руководиться, на смену ей приходит эгоистическое, личное, своевольное желание человека. Тогда жизненным мотто делается: — «...нам жизнь дается только раз! Поэтому, от жизни надо ...взять все...»

Героев Солженицына можно довольно четко разделить на две группы: на праведников, живущих по вечной справедливости и заботящихся о строе своей души; и на тех, которые потеряли связь с этой вечной ценностью и заменили ее временной. У таковых жадность к наживе и страх перед страданиями и смертью становятся руководящими факторами их поступков. С другой стороны, праведники, воспитывая свою душу, становятся сильными духом.

Люди и их духовный мир — главный интерес Солженицына. Он видит как и почему человек теряет или приобретает свое духовное содержание. В этом заключается главное откровение его художественного творчества. Соблюдая или обретая гармонический строй души, человек может быть счастлив в любых обстоятельствах, как счастливы бывают Нержин, Костоглотов, Иван Денисович, Матрена и, превыше всех, старики Кадмины и доктор Орещенков. Для состояния счастья нет необходимости знать «Фауста» Гёте — Нержин имеет самое отдаленное знакомство с этим бессмертным произведением немецкой литературы. Не обязательно знание Эпикура — Володин в нем разочаровался, когда на Лубянке в первый раз улыбнулся новому содержанию своей жизни. Чтобы сохранять строй своей души, надо никогда не терять чувства высшей справедливости, надо уметь, или научиться, разбираться (как герой «Августа четырнадцатого» Воротынцев определил) — «Между порядочностью и непорядочностью...» Не знали древние писцы XV века ни Гёте, ни Толстого, ни социализма, а были ЛЮДЬМИ. Но о вечной справедливости они имели более ясное, не двоящееся понятие.

Т. А. Лопухина-Родзянко

МАСЛЕНИЦА

Когда сквозь март из церкви серой
не поднимая головы
кустодиевская венера
под звон купеческой Москвы
по переулкам по Ордынке
плывет на волнах шушунов
и вьются синие тропинки
под красным блеском каблучков
а снег зеленовато-алый
звенит российской пестротой
люблю
языческий и шалый
московских маслениц настой...



Уже осенних песен столько спето —
Колеблет землю свист.
Уже приходится по два поэта
На каждый лист.

Осенними и серыми утрами,
Сухих, как трут,
Сгребут их брякающими граблями —
И в кучах жгут.

Так золотое слово станет сором,
Золою — речь...
Вот листья все пожгут, и будут скоро
Поэтов жечь...

Василий Бетаки

ЛЕРМОНТОВ И ПЛОТИН

Окончательный текст поэмы Лермонтова «Демон» имеет подзаголовок «восточная повесть». Достаточно беглого просмотра предварительных вариантов поэмы, чтобы убедиться в том, что поэма «Демон» как органическое единство огромного масштаба, со всеми ее художественными удачами, с большим лирическим напряжением ее стиха осуществлена лишь в последних «восточных», точнее, кавказских вариантах. Предварительные наброски есть всего навсего схематическая и притом довольно бледная запись сюжета. Все лучшие куски в предварительных записях отсутствуют. Поэма получила свое осуществление только на основе Кавказа, Кавказ вошел в нее в качестве основного образующего элемента. Пейзаж, персонажи, фольклорно-мифологический элемент — все это органически спаяно с Кавказом. «Кавказский колорит», таким образом, не является в поэме каким-то «декоративным фоном», на котором разворачивается привнесенный извне сюжет, а наоборот, есть неотъемлемая часть поэмы. Вне Кавказа, вне Грузии лермонтовский «Демон» не мыслим. В настоящее время органическая связь поэмы с фольклором, мифологией, философией Грузии не вызывает сомнения (в этой области много сделал Ираклий Андроников). Доказано, например, что любовь горного духа к смертной женщине является сюжетом многих грузинских легенд. И однако, ссылки на грузинский фольклор в работах современных советских литературоведов страдают недостаточной конкретностью, или даже намеренной недоговоренностью. Дело в том, что связь литературы с фольклором — одно из распространенных общих мест советского литературоведения. Но именно, в случае Лермонтова и Грузии связь с фольклором и философско-мифологическим наследием Кавказа приобретает особый интерес. Мы попытаемся выделить один из основных аспектов художественного замысла Лермонтова в поэме «Демон» — именно философско-метафизический, и наметить связь его с Кавказом.

Для поэмы «Демон», как художественного организма важны три основные компонента, а именно: 1) пейзаж Кавказа 2) ряд художественных образов, в основе которых лежат мифологические и философские представления и размышления (они прочно связаны с кавказским пейзажем), 3) сюжет. Сюжет неслучайно отодвинут нами на последнее место, он ведь, заимствован. Главную роль в поэме, следовательно, играет обработка сюжета, мотивировка его на данном материале.

Природа Кавказа в поэме является основой великолепной образности. Она органически связана с образностью мифологической и философской, в которой выделяются неоплатонические, точнее, платиновские элементы. Они, по существу, пронизывают всю поэму и находятся в органическом единстве с сюжетом. Поэтому, прежде чем вскрывать конкретную связь между Лермонтовым и Плотиним необходимо сказать несколько слов о сюжете. Сюжет поэмы можно сблизить с религиозно-художественными построениями гностиков. Проф. Г. Лейзеганг в книге о гностицизме приводит текст гностического гимна, в котором символически изображается бракосочетание Мировой Души с Божеством. Это близко поэме Лермонтова не только сюжетом. Характер свадебной церемонии и образность гимна как бы перекликаются с Лермонтовым.

Мировая Душа при своем появлении окружена цветами, она в белых одеждах, в качестве подруг невесты в Гимне присутствуют семь планет, невесте прислуживают созвездия и т.д. Таким образом облик Тамары легко сопоставить с Мировой Душой Гимна, на месте Демона оказывается гностическое Божество. Хотя в данном случае переключка не с Плотиним, а с гностиками, принципиально дела не меняет. Гностики, как известно, использовали неоплатоническую образность и символику. Если Плотин и возражал гностикам, то именно потому, что между Плотиним и гностиками была духовная близость. Сущность их спора лежала в иной плоскости. Понятия Мировой Души, Божества, символика планет, у Плотина общи с гностиками. Таким образом, сюжет «Демона» непосредственно примыкает к Плотину, элементы платиновской образности великолепно вписываются в лермонтовскую «восточную повесть», точнее, в Грузию «Демона». Таким же образом выясняется близость грузинского фольклорного сюжета гностическим построениям. Если вспомним, что грузинская культура находи-

лась под сильным влиянием неоплатоников и гностиков (с двенадцатого века в Грузии существовала влиятельная группа философов-неоплатоников) то круг «Плотин — Грузия — фольклор — Лермонтов» сомкнулся в сюжете поэмы «Демон».

Если мы внимательно присмотримся к центральному персонажу поэмы — к Демону, то в нем также вскроем следы гностических построений. Комментатор Плотина, К. П. Хассе подробно останавливается на содержании понятия «демон» в мышлении Плотина. Плотин, согласно Хассе, под «демоном» понимал низшие силы души (как Мировой Души, так и души индивидуальной). Демоны по Плотину от богов отличаются тем, что им свойственны эмоциональные переживания, им ведомы страсти, боги же того и другого лишены. Далее, демоны способны принимать обличие, подобное человеческому. В то же время, демоны, подобно богам, вечны. Как известно, античный мир (включая Плотина) не знал демона в смысле «беса», тем более, «дьявола». Демоны античной мифологии были всего лишь переходной ступенью между богами и людьми. Если мы сопоставим Демона Лермонтова с демоном Плотина, то увидим черты явного сходства. Конечно, это ни в коей мере не отменяет общеизвестного влияния Байрона («Каин»), а также Дж. Мильтона. Несомненно, следуя за модой, Лермонтов придал своему Демону чисто внешние черты дьявола. Но основа образа — неоплатоническая. Демон в трактовке Лермонтова есть космическая сила, персонифицированное обобщение страсти. В то же время, если демон (по Плотину) олицетворяет низшие силы души, то склонность его к злу (по Плотину же) вполне естественна. Далее, по Плотину, демон неполноценен, ущербен, так как целиком находится во власти низших (по сравнению с Абсолютным Совершенством) эмоций. Если демон Плотина и демон Лермонтова есть, так сказать, одно и то же лицо, то становится понятен и бунт Демона против Бога (заранее обреченный на неудачу).

Согласно учению Плотина, видимый мир несовершенен по сравнению с миром невидимым. Следовательно, видимый Космос при всей своей красоте (к которой Плотин чрезвычайно восприимчив) находится по сравнению с царством Чистого Духа в низшем, ущербном состоянии. Поэтому появление ущербного духа (демона) в пределах ущербного (видимого) Космоса представляется в лермонтовской поэме совершенно закономер-

ным с точки зрения Плотина. Вполне естественны и космические атрибуты, которые Лермонтов придает своему Демону: «бегущую комету» с ее «улыбкой», «кочующие караваны в пространстве брошенных светил» и т.д.

В плане лермонтовской поэмы интересно отметить платоновское восприятие природы. Плотин различает природу и материю. Материю он приравнивает к небытию, к отрицанию. Природа же представляет собой комбинацию материи и сознющего, созерцающего сознания, духа (будь то человеческое сознание или Божественное Единство). Между природой и жизнью человеческого сознания Плотин совершенно в стиле позднейшей романтической натурфилософии намечает аналогию. Природа Кавказа у Лермонтова безусловно носит на себе следы натурфилософии, причем не столько романтиков, сколько именно Плотина. Тонко чувствуя природу, Плотин, однако, воспринимал ее исключительно в символическом плане. Ссылками на природу он прояснял свои философские построения. Созерцая природу, он отбирал в ней такие черты, которые были ему наиболее удобны в качестве иллюстраций к его философии. Общеизвестен, например, образ света, вернее, освещения, который у Плотина символизирует структуру духовного мира. Эта традиция укрепилась затем в европейской литературе и, перейдя например к романтикам, повлияла через них на технику пейзажа. Лермонтовская поэма «Демон» (да и «Мцыри») примыкает к этой традиции.

Совокупность черт, заимствованных Платином из наблюдения природы составляет то, что можно условно назвать «платиновским реквизитом». Выделим ряд элементов, относящихся к этому «реквизиту»: свет, тень, различная степень освещенности, солнце, атмосферно-зрительные эффекты, краски, планеты и звезды, как живые существа, эфир, как среда наполненная светом, музыкальная гармония, символикарая и т.п. Не все эти понятия введены Платином, но все они так или иначе относятся к его кругу. Если мы вчитаемся в поэму «Демон» то сейчас же отметим в ней платиновский реквизит:

Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим.

Когда сквозь вечные туманы
Познания жадный, он следил

Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил.

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал,
Под ним Казбек, как грань алмаза
Снегами вечными сиял.

Далее — «в пространстве синего эфира», «золотые облака», «небесный свет теперь ласкает бесплотный взор его очей», «что стон и слезы бедной девы для гостя райской стороны».

Показательно, что все эти элементы появились у Лермонтова лишь в кавказских варьантах. Поэтому естественно предположить, что Кавказ явился не только внешним толчком, разрядившим художественную энергию Лермонтова, порожденную неоплатонизмом, но и одним из источников этой энергии. Вернее всего, Кавказ ввиду особого характера своего пейзажа, истории, легенд явился для Лермонтова естественным органическим эквивалентом тех философских построений, которые ему давало знакомство с философией неоплатоников. Все выдержано в одной (плотиновской) тональности. Тамара и стоящая за ней Грузия обогащены «райской» символикой, близкой кругу Плотина. Ветхозаветная образность («И ни единый царь земной не целовал такого ока»), мотивы Песни Песней соединены с элементами неоплатонизма в той самой пропорции, которая характерна для культур христианского Востока (Грузия, Армения, Византия и др.) Есть в поэме и следы образности Ислама, но характерно, что и из Ислама поэт заимствовал элементы близкие неоплатонизму. Хотя неоплатонические элементы движутся у Лермонтова в русле общехристианской традиции, можно предположить, что неоплатонический комплекс был особенно близок Лермонтову. Это подтверждает не только текст «Демона», но и «Мицри» и «По небу полуночи ангел летел...» В капитальной работе «Лермонтов и культуры народов Востока» Л. Гросман показывает, что Лермонтов обладал глубокими познаниями в этой новой тогда отрасли науки. Не следует думать, конечно, что написанию «Демона» предшествовало изучение Плотина. Напротив Лермонтов чисто интуитивно почувствовал на Ближнем Востоке дыхание Плотина (одним из информаторов его в этой области мог быть кн. А. Г. Чавчавадзе, грузинский поэт-романтик). Лермонтов почувство-

вал огромные художественные потенции неоплатонизма. Созданием «Демона» Лермонтов художественно ответил Плотину.

Пользуясь опытом ближневосточных культур Лермонтов воссоздает на русском языке неоплатонизм, так сказать, в близкой ему органической среде. Строй платоновского мышления, платоновской образности ближе Грузии и России, чем, скажем, Англии. На Западе Плотин — инородное тело, экзотический цветок, на Кавказе же он — часть пейзажа, плоть от плоти природы.

Для того, чтобы написать «Демона» Лермонтову не нужно было больших специальных знаний (хотя они у него, видимо, были), достаточно было двух-трех предпосылок, — художественная интуиция с легкостью воссоздала остальное.

Проблема Лермонтов-Плотин особую актуальность приобретает в связи с тем, что помимо влияния на романтизм, Плотин, как известно, воздействовал на Бергсона (главным образом, темой «памяти»), а через него на М. Пруста. Таким образом, неоплатонизм стал одним из факторов, сформировавших художественное сознание литературы двадцатого века. Намечается связь Лермонтова с символизмом через Блока, причем эта связь может быть введена в орбиту Пруста.

Соображения, высказанные в данной статье, не отменяют, конечно, других интерпретаций лермонтовской поэмы, в частности, тех, которые уже существуют в русском литературоведении прошлого. Предметом настоящей статьи является лишь та сторона поэмы, которая кажется нам особо плодотворной в рамках художественного сознания сегодняшнего дня.

Олег Ильинский

Рыжий сеттер вдоль по осени идет,
Рыжий сеттер очень осени идет.

Не бывало еще осени такой —
Весел ветер, светел ветер над рекой!

А реки нигде похожей тоже нет —
Теплосиний у нее, туманный цвет.

Рядом вытянулся берег, а на нем —
Парк, осенним весь охваченный огнем.

И дорога, по которой я бреду —
Вся сухая, полыхает как в бреду,

И уводит от натопленных квартир
В необъятный, разноцветный, бурный мир.

2

Ветер апрельский тревожен и сладок,
Так же как губы твои.
Будней нарушен привычный порядок
Праздничным взрывом любви.

Странно и страшно сказать это слово —
Как я его повторю?
Это неважно, что снова и снова
Празднуем вместе зарю.

Многие были мне близки и милы,
Большого я не ждала.
Как я давно никого не любила!
Как я свободна была!

Елена Матвеева

МОНОЛОГ СУМАСШЕДШЕГО

Я пробыл здесь двенадцать лет.
Теперь прошу у вас немного:
Не правосудия, не Бога,
А только, чтобы верхний свет
Вы погасили... Верхний свет!
Вот эту лампу над кроватью...
При свете разучился спать я,
Да, это правда, а не бред!
Вы слышите меня иль нет?
Хочу закрыть глаза спокойно...
О, человека недостойно
Гореть оставить верхний свет!
И для чего? Хочу ответ
Я получить. Не бесполезно
Узнать, зачем к замкам железным
Ещё железный этот свет?
Кто дал вам дьявольский совет
Меня пытать вот этим шаром?
Огонь... Сдавило мозг кошмаром,
Сознание застит мне... О нет,
Теперь хочу Господний след
В анналах вечности сыскать я,
Чтобы молить предать проклятью
Тех, кто не гасит верхний свет!
Я кончил университет,
Я в прошлой жизни был учёный...
Глупец, глупцами помрачённый,
Я полагал, возмездья нет!..
Но отдалённых планет
Достигнет слух о совершенном.
Гори же, мир умалишённый.
Я сам включаю верхний свет.

Лия Владимирова

РАДИЩЕВ И ПУШКИН

К 170-ЛЕТИЮ СМЕРТИ А. Н. РАДИЩЕВА

*«Под игом власти, сей рожденный,
Нося оковы позлащенные,
Нам вольность первый прорицал...»*

Александр Николаевич Радищев родился 20 августа 1749 года. Он обучался в Пажеском Корпусе и обратил на себя внимание своими успехами в науках. В конце шестидесятых годов по повелению имп. Екатерины II был послан с другими молодыми людьми в Лейпцигский университет. Здесь он подружился с Ф. В. Ушаковым, тесная связь с которым имела на всю его жизнь влияние решительное и роковое. «Не жажда знаний, а какое-то — по словам Пушкина — беспокойное любопытство, как отличительная черта их ума, сблизила этих молодых людей... В Лейпциге им в руки попала книжка Гельвеция «О Разуме», и они с жадностью изучили начала его пошлой и бесплодной метафизики, такой соблазнительной для развивающихся умов по своим мыслям и новым правилам, не согласными с установившимися законами и преданиями».

Знание французского языка позволило Радищеву познакомиться с новыми идеями французской философии, которые в 60-е годы 18-го века широко распространились в западноевропейских странах. «Раз наибольшее число общественных бедствий происходит от невежества, следует образовывать людей», — учили французские просветители и для этой цели философ Дидро и математик Д'Аламбер организовали издание «Энциклопедии».

В первый же год своего царствования Екатерина II вступает в переписку с Вольтером и Д'Аламбером, Дидро и Гриммом. Она пишет им: «Приезжайте в Россию, я поручу вам воспитание своего сына Павла; просвещайте его, подготовляйте к важной деятельности — он ведь будущий император». Философы не ожидали такого приглашения и стали втупик: они

мало знали о Екатерине и ехать в далекую, малознакомую страну не решились.

Узнав о преследовании энциклопедистов во Франции, Екатерина предложила издавать крамольную «Энциклопедию» в России. Когда же она узнала, что Дидро, израсходовав все свои деньги на издание «Энциклопедии», впал в нищету и решил продать свою библиотеку, Екатерина приказала купить эту библиотеку, выплатив значительную сумму денег, но библиотеку оставить в пользование философа, а ему самому «за хранение» книг, принадлежащих императрице, было выплачено «жалование» библиотекаря за 50 лет вперед!

С радостным удивлением «республика философов» следит за этими действиями царицы. Вольтер своим восторгом делится с Дидро: «Ну вот, прославленный философ, что скажете вы о русской императрице? В какое время мы живем?! Франция преследует философов, скифы им покровительствуют!..»

Под влиянием новых идей Екатерина II решила ввести в России новые законы о характере коих она поведала в своем «Наказе», составляя который, она «позаимствовала» важнейшие мысли из «Духа законов» Монтескьё. «Ободрав» Монтескьё, как она сама признавалась, и переведя «Наказ» на французский, немецкий и латинский языки, Екатерина II приказала напечатать и распространить эту книгу в Западной Европе (во Франции эта книга была запрещена!). С радостным волнением читали этот «Наказ» вольнолюбивые русские студенты — Радищев, Кутузов, Ушаков, тогда еще учившиеся в Лейпциге.

Но их студенческую семью постигло несчастье: Ушаков умер на 21-м году «от следствий невоздержанной жизни», но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; а когда муки его сделались нестерпимы, то потребовал от своего приятеля Кутузова яду. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось постоянным предметом его размышлений...

Молодые люди, закончив образование в Лейпциге, возвратились в Петербург. Радищев, как Ленский —

...из Германии туманной

Привез учености плоды:

Вольнолюбивые мечты,

Дух пылкий и довольно странный.

Радищев в Петербурге вступил в гражданскую службу. Женился на Анне Васильевне Рубановской, сестре своего лейпцигского товарища. Но жена, оставив ему троих детей, вскоре умерла. Радищев служил в Коммерц-Коллегии, где его начальником был А. Р. Воронцов — богатый помещик, аристократ. Граф оценил честность и работоспособность Радищева и полюбил его. Карьера Радищева была обеспечена, но он, видимо, этим не интересовался...

Недолго французские энциклопедисты и просветители привлекали сочувственное внимание императрицы, недолго «детские мысли» и «несбыточные мечтания» Дидро и Руссо удостоивались ее «царского рукоплескания». Как только Екатерина с беспокойством увидела торжество этих «мечтаний» во Франции, вылившееся в торжество террора, она содрогнулась и с тревогой обратила внимание на русских вольнодумцев, которых начала считать проповедниками безначалия и адептами энциклопедистов. Но Радищев не мог совершить такой «крутой поворот» и отказаться от своих «мечтаний», как это сделала Екатерина II. Наоборот, он попрежнему лелеял свои вольнолюбивые мечты, а заветные идеи постарался развить в книге: «Путешествие из Петербурга в Москву», в этом «сатирическом воззвании к возмущению».

Цензурными разрешениями тогда ведал петербургский полицмейстер Рылеев, человек малообразованный и очень занятый. Название книги «Путешествие из Петербурга в Москву» обмануло его: что могло быть запрещенного в книге, которая походила на справочник для путешественников? Ведь главы книги назывались так же, как и станции на дороге из Петербурга в Москву. Рылеев подписал книгу к печати, не читая ее. Когда началось следствие, перепуганный полицмейстер прибежал во дворец, упал на колени и слезно умолял государыню: «Виноват, матушка!».

Радищев печатал книгу в домашней типографии, присоединив несколько новых листов, не просмотренных цензором, и, видимо, не понимая всей преступности своих действий, отпечатавши книгу, спокойно пустил ее в продажу, разослав притом несколько экземпляров своим знакомым, между прочим — Державину, поставив его этим в тяжелое положение, так как тот был вынужден эту книгу через графа Зубова представить государыне. Екатерина была поражена; читая «Путешествие»,

она делала на полях книги пометки: «враль», «страницы написаны в возмутительном намерении», «покрыты бранью и ругательствами, злодейским толкованием». «Он мартинист, — говорила она Храповицкому, своему статс-секретарю, — он бунтовщик, он хуже Пугачева, он хвалит Франклина и себя таким же представляет!» (Государыня, стремившаяся к соединению воедино всех разнородных частей своего государства, не могла равнодушно видеть отторжения колоний от Англии, к чему стремился Франклин, о котором Бальзак, между прочим, сказал: «Франклин изобрел громоотвод, республику и был первым газетным лгуном»).

Палата уголовного суда, Сенат и Государственный Совет приговорили Радищева к смертной казни, но государыня этот приговор, как незаконный, отменила. Преступника, лишив чинов и дворянского достоинства, отправили в кандалах в Сибирь.

(Указом имп. Елизаветы Петровны от 30 сентября 1754 г. смертная казнь в России заменялась другими наказаниями. Екатерина II указом от 6 апреля 1775 года подтвердила указ, однако, он истолковывался, как не относящийся к чрезвычайным преступлениям (казнь Мировича, Пугачева). В 1823 году Государственный Совет подтвердил толкование, принятое при Екатерине II. Этим воспользовался суд при вынесении приговора по делу декабристов).

*«Вздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся
В ту страну, ужасну, хладну...»
А. Радищев.*

Мрачные предчувствия Радищева относительно страны «ужасной» и «хладной» полностью не сбылись: граф Воронцов сразу выпросил у государыни разрешение снять с Радищева кандалы (вдогонку был послан курьер). Павел Радищев, сын писателя, так свидетельствует о сердечной заботливости графа: «Воронцов написал ко всем губернаторам тех мест, где должен был проехать посланный, чтобы с ним обходились снисходительнее и сразу же объявил близким Радищева, что берет на себя всё его содержание, как в дороге, так и на месте его заточения и разослал деньги во все города, где ему должно

было остановиться. В Москве Радищев пробыл несколько дней в семействе своего отца, где его снабдили на дорогу всем нужным».

Губернаторы с поспешностью удовлетворяли просьбу Воронцова и всячески облегчали Радищеву трудный путь в Сибирь. В декабре 1790 года Радищев прибыл в Тобольск. Губернатор Тобольского края, тоже получивший письмо от Воронцова, не спешил отправлять Радищева дальше в суровые морозы и задержал его в городе. В марте 1791 года сестра покойной жены Радищева вместе с младшими детьми его (тоже при материальной помощи Воронцова) прибыла в Тобольск. Это было неожиданным счастьем для Радищева: окончилось его одиночество, с ним были дети и любящий его человек. Здесь, в Сибири, Радищев женился на свояченице. Только в конце июля Радищев с семьей отбыл из гостеприимного Тобольска в Иркутск, а оттуда — к месту ссылки...

Так что не жены декабристов, а свояченица Радищева, Елизавета Васильевна Рубановская, первая решилась на подвиг отправиться в страну «ужасну» и «хладну», чтобы облегчить судьбу «первого революционера».

«Илимский острог — как описывает место ссылки Павел Радищев — находится на правом берегу судоходной реки Илим. Острогами тогда назывались в Сибири укрепленные места... Дом воеводский был в центре острога; поблизости от него церковь, а вне острога дома жителей тянулись до Илима. Жителей считалось около 500 человек. Радищев поселился в старом бывшем воеводском доме, но, пользуясь покровительством Воронцова, попросил иркутского генерал-губернатора построить новый дом. Такой дом вскоре и был построен — в нем были комнаты для детей, спальня, столовая, гостиная, кабинет, кладовая и т.д. К дому были пристроены с одной стороны баня, а с другой — кухня. Теплые печи хорошо грели, и в суровые морозы в доме было тепло. Чтобы дети имели молоко, пришлось купить корову.

Радищев много читал и писал (о китайской торговле, о Сибири). Он получал «Московские Ведомости», «Политический журнал» и др. Гамбургские газеты ему присылали знакомые немцы из Иркутска... Поутру приносили ему большой чайник с кипятком, и он сам варил себе кофе. Каждый день он учил детей истории, географии и языкам — немецкому и французскому.

Летом он ходил с ружьем по лесам и горам, окружающим Илимск, ездил на лодке вверх по Илиму, а зимой на саних в разные стороны и даже до устья Илима, верст за сто, в селение Коробчанку, где зимой ловилось множество осетров...

С самого приезда своего Радищев старался сблизиться с жителями Илимска. Он бывал с женой у них в гостях и приглашал их к себе. Вечером девушки плясали под песни. На масле он выезжал на больших саних с женой и детьми кататься по Илимску из конца в конец, и за ним тянулся обыкновенно длинный поезд из саней жителей Илимска».

В 1796 году император Павел, взойдя на престол, вернул Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, обошелся с ним милостиво, взявши с него обещание не писать ничего против государства. Радищев слово сдержал. «Смирённый опытностью и годами — говорит Пушкин — он (Радищев) переменял образ мыслей, владевших им в дни его бурной молодости... Его нельзя упрекать в непостоянстве: в зрелом возрасте мы с улыбкой или со вздохом вспоминаем мысли, волновавшие нас в молодости. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное... Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время террора? Мог ли он без омерзения слышать некогда любимые свои мысли, теперь проповедываемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра!»

Император Александр I тоже благосклонно отнесся к Радищеву, найдя в его «Путешествии из Петербурга в Москву» много идей, внушенных и ему воспитателем его, швейцарским революционером Лагарпом, и Екатериной II, когда та еще «рукоплескала» энциклопедистам и переписывалась с Вольтером. Государь определил Радищева в Комиссию Составления Законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Радищев, увлеченный предметом, вспомнил старину, и в проекте, представленном правительству, предался своим прежним мечтаниям. Граф П. В. Завадовский, председатель Комиссии, удивился «моложавости его мыслей» и сказал ему с дружеским упреком: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить попрежнему! или мало тебе было

Сибири?!» Слова эти потрясли Радищева. Испуганный он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, о лейпцигском студенте, подавшем ему мысль о самоубийстве, и... отравился (1802).

*«О, дар небес блаженный,
Источник всех великих дел,
О, вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоим ударом
Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти да смятутся
От гласа твоего цари».*

А. Радищев: ода «Вольность».

Если западные мыслители, вроде Вольтера и Дидро, считали, что просвещение, смягчив нравы, в конце концов убедит монархов добровольно даровать своим подданным свободу, то Радищев, напротив, был уверен, что только силой народ может отнять вольность от своих тиранов:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружи,
В крови мучителя венчанна
Смыть свой стыд уж всяк спешит.

Таким образом, Радищев стоял на более радикальных позициях, чем западные энциклопедисты. И этот радикализм был близок сердцу части русской молодежи, особенно дворянской, которая вместе с французским языком впитала в себя скептицизм французской философии и «политический цинизм» просветительской литературы.

В юношеские, лицейские годы Пушкина Радищев все время стоял у него перед глазами, как величественный пример и как образец творчества, которому нельзя не наследовать, но высот которого, по мнению молодого лицеиста, нельзя достигнуть: «Петь я тоже вознамерился, но сравнюсь ли с Радищевым?». Не только Пушкин испытал на себе влияние Радищева, но и другие зачитывались его «Вольностью», «Бовой» и «Путешествием из Петербурга в Москву»: гневное послание Рылеева «Временщику», его революционные стихи: «Гражданское

мужество» и др. тоже многим обязаны радищевской «Вольности».

Подражая Радищеву, Пушкин пишет одноименную оду «Вольность», в которой тоже хочет воспеть свободу и негодует против «неправедной власти»:

Увы: куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — рабства грозный гений
И славы роковая страсть.

Если Радищев в своей «Вольности» предупреждает тирана: «Но мститель, трепещи, грядет!..», то тиранов также заставляет «трепетать» в своей «Вольности» и Пушкина:

Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внимлите,
Восстаньте, падшие рабы!..

Радищев свою «Вольность» закончил пророческими строками о грядущей свободе:

...яркий свет пустил свой луч,
И ложный плена скиптр поправши,
Сгущенную мглу разогнавши,
Блестящий день родил из туч.

Пушкин тоже верит в приход свободы. В послании «К Чаадаеву» он пишет:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Известно, что книга «Путешествие из Петербурга в Москву», «причина несчастья Радищева и славы его», состоит из нескольких, не связанных между собою глав, которые названы именами станций, лежащих на тракте Петербург—Москва. На

каждой из этих станций Радищев, ожидая перемены лошадей, записывал свои дорожные впечатления и картины крепостнической действительности, поразившие его внимание. «Деревня» Пушкина, написанная явно под влиянием радищевского «Путешествия», передает эти картины в сжатых и точных поэтических формах:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца,
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут.
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.

Картину «барства дикого, без чувства, без закона», присвоившего себе «насильственный труд, и собственность, и время земледельца», рисовал Радищев в главе «Любань» своего «Путешествия из Петербурга в Москву» в рассказе о барине, заставляющем своих крестьян работать на себя шесть дней в неделю. Упоминание о девах, «цветущих для прихоти бесчувственной злодея», прямо отсылает нас к сцене беспутства, с гневной силой обличаемого Радищевым в главе «Зайцево» той же книги.

Но свою оду «Вольность» Пушкин писал, когда ему было 18 лет, а «Деревню» — двадцатилетним юношей, не обладая в то время еще ни жизненным опытом, ни знанием деревни и крепостного быта, поэтому его «Вольность» и «Деревня» являются только эхом радищевских мыслей и взглядов. В то же время сам Радищев находился под особенным влиянием идей французского писателя-публициста Рейналя, книга которого «Философская и политическая история установлений европейцев в обеих Индиях» оказала большое влияние на его «Путешествие из Петербурга в Москву».

Таким образом социально-политические идеи Рейналя, перенесенные Радищевым на русскую почву, стали как бы истоками русской лево-радикальной литературы и началом всех гневных и вольнолюбивых Пушкинских и Рылеевских стихо-

творений и дали пышные всходы: при обыске почти у каждого декабриста полиция находила эти Пушкинские и Рылеевские стихи — эхо творчества Радищева и Рейналя.

«Время изменяет человека не только в физическом, но и в духовном отношении. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития».

А. Пушкин («А. Радищев»).

Прошли годы, унесшие с собою юношескую горячность Пушкина. Он возмужал и «со вздохом или с улыбкой» отверг многие мечты, волновавшие его в юношестве. Он успел за это время, подолгу живя в деревне, внимательно присмотреться к крепостному быту своего Михайловского, соседнего Тригорского и других поместий и прийти к заключению, что радищевские «сетования на несчастное состояние народа и на насилие вельмож — пошлы и преувеличены». Если раньше Пушкина возмущало сознание, что «девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодеи», то теперь, описывая деревенскую жизнь Онегина: «Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная тень, журчанье струй, порой БЕЛЯНКИ ЧЕРНООКОЙ МЛАДОЙ И СВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ», поэт уже не считает Онегина «злодеем», хотя тот и пользуется «девой юной» для своей барской прихоти.

Теперь Пушкин уже не пишет о деревне, что «здесь барство дикое, без чувства, без закона», а из под его пера выходят иные строки, рисующие чуть ли не идиллическо-патриархальные отношения между господами и их дворовыми: «Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица — и дружески со всеми целуясь: мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки — замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела», — и мне отвечали с чувством: «Как вы то, батюшка, подурнели». Повели меня на заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отравивший себе бороду, вызвался при-

готовить мне обед или ужин — ибо уже смеркалось». («История села Горюхина»).

«Вот я в деревне... Деревня мне пришла как-то по сердцу. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни... и моей няни — ей-Богу — приятнее шекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянности». (Письмо к Вяземскому)

Даже у своенравных помещиков — по мнению Пушкина — крепостным живется не плохо: «С крестьянами и дворовыми обходился он (Троекуров) строго и своенравно; несмотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством, славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство» («Дубровский»).

И. И. Пущин, посетивший Пушкина в Михайловском, в своих «Воспоминаниях» описывает, как дворовые совместно с ними праздновали эту встречу друзей: «Настало время обеда. Алексей (слуга Пушина) хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за отсутствующих друзей. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным няню, а всех других — девушек, прявших в девичьей — хозяйской наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось, кругом стало пошумнее, праздновали наше свидание».

Поэт также наблюдал, как живется дворовым в доме его отца: «Старик всегда нуждается в деньгах, его обкрадывают и обчищают со всех сторон; его челядь саранча сушая. Вообрази — пятнадцать человек!» — пишет сестра поэта своему мужу.

Подобную картину — праздной ленивой жизни дворовых Пушкин изобразил в «Пиковой даме»: «Многочисленная челядь ее (графини), разжирев и посев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху».

В книге А. Герцена «Былое и думы» говорится, что помещики платили дворовым жалование: «Содержание дворовых: 5-6 рублей в месяц на харчи, женщинам на 1 р. меньше. Детям до 10-ти лет — половина. Люди составляли артели (общая кухня). Сверх оклада людям давались платья, шинели, рубашки, простыни, одеяла, полотенцы, матрацы из парусины. Мальчишам, не получавшим жалования, отпускались деньги на фи-

зическую и нравственную чистоту: на баню и говенье. Сложив все это, слуга обходился в год рублей 300 ассигнациями. Если прибавить сюда лекарство, лекаря, да съестные припасы из деревни, то и до 350 рублей».

Это при даровой квартире-то! Чиновник министерства иностранных дел, коллежский секретарь Пушкин получал 700 р. в год, а Гоголь — 600 рублей! Титулярный советник Акакий Акакиевич Башмачкин, герой «Шинели», получал 400 рублей жалования в год «или около этого» и должен был платить за квартиру. Такие титулярные советники жили беднее, чем крепостные у хорошего помещика. Неудивительно, что некоторые дворовые отказывались итти на волю, когда помещики им это предлагали. (Пример — няня Пушкина, Арина Родионовна), А старик, кажется, в повести Чехова «Мужики» с удовольствием вспоминает, что при крепостном праве у него был хоть и скромный, но обеспеченный кусок хлеба.

Эти патриархальные отношения, существовавшие, по мнению Пушкина, между помещиками и крепостными в России, а также разочарование его во французской революции, не сумевшей поднять благосостояние крестьян, заставили его сомневаться в целесообразности отмены крепостного права в России: «Этот порядок (крепостной) приближается к патриархальному строю, избавляет правительство от бесконечного количества затруднений, потрясений, упрощает правление и придает ему большую мощь. Итак, остерегайтесь уничтожить рабство, особенно в монархическом государстве!» (“Je suppose sous un gouvernement despotique...”)

*«Русскому крепостному живется лучше,
чем громадному большинству французов».*
Де-Бальзак.

Перестав глазами Радищева смотреть на положение крепостных в России, Пушкин стал критически относиться и к радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву». (Пушкин приобрел за 200 рублей тот самый экземпляр «Путешествия», который читала Екатерина II). Эту книгу он считал «очень посредственным произведением, не говоря уже о варварском слоге». «В этом сочинении отразилась — по мнению Пушкина — вся французская философия 18-го века: скептицизм Вольтера, несбыточная филантропия Руссо, политический

цинизм Дидро и Рейналя, но все в нескладном, искаженном виде».

Против радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» Пушкин пишет свое полемическое «Путешествие из Москвы в Петербург», в котором подвергает радищевское сочинение острой критике.

Например, в Торжке Пушкин, расположившись в славном своими котлетами трактире Пожарского, прочел из радищевского «Путешествия» соответствующую главу «Торжок», в которой тот требует свободы книгопечатания и отмены цензуры. На это Пушкин замечает: «Любопытно видеть о сем предмете рассуждение человека, вполне разрешившего сам себе сию свободу, напечатав в собственной типографии книгу, в которой дерзость мыслей и выражений выходит из всех пределов».

Из главы «Городня» радищевского «Путешествия» Пушкин приводит следующие строки: «Въезжая в сию деревню, не стихотворческим пением слух мой был ударям, но пронизающим сердца воплем жен, детей и старцев... Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутский набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлись отправляемые на отдачу рекруты». Далее Радищев выражает свое недовольство системой набора, зависящей от своеволия помещика, считая ее несправедливой.

Пушкин на это замечает: «Самая необходимая и тягчайшая из повинностей народных есть рекрутский набор. Образ набора везде различествует и везде влечет за собою великие неудобства. Английский ПРЕСС подвергается ежегодно горьким выходкам оппозиции и со всем тем существует во всей своей силе. Прусское ЛАНДВЕР, система сильная и искусно приноренная к государству, возбуждает уже ропот в тепеливых пруссаках, Наполеоновская КОНСКРИПЦИЯ производилась при громких рыданиях и проклятиях всей Франции:

«Чудовище, склоняся на колыбель детей,
Считало годы их кровавыми перстами».

Рекрутство наше тяжело; нечего лицемерить... Сколько труда стоило Петру Великому, чтобы приучить народ к рекрутству! Но может ли государство обойтись без постоянного войска?»

Однако, Пушкин считает, что право помещика отбирать в рекруты «вредных негодяев» и щадить полезного крестьянина, гораздо осмысленнее «справедливой очереди», которой придерживаются некоторые помещики-филантропы: «Безрассудно жертвовать трудолюбивым крестьянином, добрым отцом семейства, а щадить вора и пьяницу — из уважения к какому-то правилу, самовольно нами признанному... Власть помещиков, в том виде, в каком она теперь существует, необходима для рекрутского набора. Без нее правительство в губерниях не могло бы собрать и десятой доли требуемого числа рекрут».

Далее... На станции «Пешки» Радищев, съев кусок говядины и выпив чашку кофе, пользуется этим, чтобы вспомнить о несчастных африканских невольниках, а также о судьбе русского крестьянина, из-за бедности не употребляющего сахара и живущего в убогой избе: «Четыре стены, до половины покрытые так, как и весь потолок, сажею; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь, смеркающий в полдень, пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одной из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Кормить свиней или телят, буде есть, спать с ним вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастью, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природой, онучки с лаптями для выхода».

Хотя Пушкин и соглашается с Радищевым, что наружный вид русской избы мало переменился со времен Мейерберга («Путешествие в Московию», 1662 г.), однако, находит, что «произошли улучшения: труба в каждой избе; стекла заменили натянутый пузырь; вообще более чистоты, удобства... Очевидно, что Радищев начертал карикатуру. Замечательно и то, что Радищев, заставив свою хозяйку жаловаться на голод и неурожай, оканчивает картину нужды и бедствия сею чертою: «и начала сажать хлебы в печь».

Далее Пушкин, желая доказать, что жизнь русского крепостного не хуже, чем жизнь французских и английских земледельцев, мобилизует большой и разнообразный сравнитель-

но-исторический материал — от «Путешествия в Московию» Мейерберга и «Писем из Франции» Фонвизина, в которых последний говорит, что, «по чистой совести, судьба русского крестьянина счастливее судьбы французского земледельца», и до зарисовок французской деревни в книгах мадам де-Севинье и Лабрюера: «По полям рассеяны какие-то дикие животные, самцы и самки, черные, с лицами землистого цвета, сожженные солнцем, склонившиеся к земле, которую они роют и ковыряют с непреодолимым упорством; у них как будто членораздельная речь, а когда они выпрямляются на ногах, то мы видим человеческое лицо. На ночь они удаляются в свои логовища, где питаются черным хлебом, водой и кореньями».

Французский писатель Альфред Мюссе, талант которого Пушкин высоко ценил, сообщает о трагическом положении французских крестьянских девушек, которые после французской революции, уйдя из голодного села, устремились за заработками в города, где, не найдя работы, очутились на улице. По Парижу, по словам Мюссе, ходило до 30.000 девушек, в правом кармане платья каждой из них находился билет, удостоверявший их «профессию», а в левом — свидетельство о еженедельном медицинском осмотре.

Судьба русских крепостных девушек, работавших в девичьей села Михайловского под присмотром няни Арины, или в Тригорском, где

В саду служанки, на грядах,
Сбирали ягоду в кустах
И хором по наказу пели...

а наказ этот шел от помещицы Прасковьи Александровны Осиповой, толковой гуманной хозяйки; так вот, судьба этих девушек могла показаться Пушкину несоизмеримо более счастливой, чем удел тех бездомных «Нана» и «Дам с камелиями», что бродили по улицам Парижа.

В своем «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин рассказывает, что ему пришлось ехать в карете с англичанином, который, исколесив всю Россию и присмотревшись к быту русских крепостных крестьян, поделился с Пушкиным своими наблюдениями: «Вообще повинности в России не очень тягостны для народа. Подушная платится миром. Оброк не разорителен... Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произ-

вол своему крестьянину доставать оный, как и где хочет. Крестьянин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст выработать себе деньгу... Я не знаю во всей Европе народа, которому было бы дано более простору действовать».

Англичанина поражает в русском крестьянине его опрятность, смысленность и проворство: «Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню; умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки. О его смысленности говорить нечего. Путешественники ездят из края в край по России, не зная ни одного слова вашего языка, и везде их понимают, исполняют их требования, заключают условия; никогда не замечал в них грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. Переимчивость их всем известна; проворство и ловкость удивительны».

Далее Пушкин добавляет: «В Рооссии нет человека, который бы не имел своего СОБСТВЕННОГО жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет СВОЮ избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности... Судьба крестьян улучшается со дня на день по мере распространения просвещения... Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно, должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...»

Так, на радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» Пушкин ответил своим полемическим «Путешествием из Москвы в Петербург», «таким образом заставляя путешествовать Радищева в обратном направлении», как бы подчеркивая этим противоположность своих мыслей и взглядов радищевским «дерзким мечтаниям», «горьким полуистинам» и «мрачным картинам воображения», начертанным его, Радищева, «желчью напитанным пером».

М. Дубинин

ЦЕРКОВЬ СПАСА НА КРОВИ

Церковь Спаса на крови!
Над каналом дождь, как встарь...
Ради Правды и Любви
Здесь убит был Русский Царь.

Был разорван на куски
Не за грех иль подвиг свой
От безвыходной тоски
И за морок вековой.

От неправды давних дел,
Веры в то, что выпал срок...
А ведь он и сам хотел
Морок вытравить... Не мог!

И убит был. Для — любви.
Не оставил — ничего.
Эта Церковь на крови
Память звания его.

Широка, слепа, тупа,
Смотрит, благостно скорбя,
Словно дворников толпа
Топчет в ярости тебя.

В скорби — радость торжества;
То народ не снес обид.
«Шутка ль? — ради баловства
Самый добрый Царь убит».

И летит в столетья весть,
В крест отлитая, в металл,
Про дворянов злую месть,
Месть за то, что волю дал...

Церковь Спаса на крови!
Довод Ночи против Дня.
Сколько раз так — для Любви
Убивали и меня.

И терпел, скрепивши дух;
«Это — личная беда».

И не видел, как вокруг
Накоплялась темнота.

Надоел мне этот бред!
Кровь зазря — не для любви.
Если кровь — то спасу нет,
Ставь хоть Церковь на крови.

Но предстанет вновь — заря,
Морок, сонь, мне двадцать лет...
И не кто-то — я царя
Жду и верю: вспыхнет свет!

Жду и верю; расцветет
Все вокруг... И в чем-то — лгу.
Но не верить, знать, что гнет
Будет длиться — не могу.

Не могу, так пусть — «авось!»
Русь моя! Наш вечный рок
Доставанье с неба звезд,
Вера в то, что выпал срок.

Не с того ль твоя судьба
Смертный выстрел — для Любви,
С Богом — дворников толпа,
Церковь Спаса — на крови?

Чу!.. Карета вдалеке!
Стук копыт — слышней... слышней...
Все!..

В надежде и — в тоске —
Сам пошел навстречу ей.

Н. Коржавин

От редакции. Поэт Н. М. Коржавин (р. в Киеве, 1925) только что эмигрировал из СССР и находится сейчас в Риме, в Италии. Начал печататься в 1941 г. В антологии А. Доната «Неопалимая купина», Н. И., 1973, опубликованы прекрасные стихотворения Н. Коржавина «Дети в Освенциме» и «Мир еврейских местечек». За анти-сталинские стихи Н. Коржавин был арестован и сослан в Сибирь:

«А там, в Москве, в пучине мрака
В шинели он смотрел на снег,
Не понимавший Пастернака,
Суровый, жесткий человек».

ЗВУЧАЩИЕ СМЫСЛЫ*

5. Во славу гласных — и согласных

Вы считаете, да и принято, в общем, считать, что ни гласные, ни согласные «сами по себе» ничего не значат, и не видите вы, при этом, или не признаете разницы между «ничего не значить» и «смысла (или хоть смысловой окраски) не иметь». А я продолжаю осмысленность тех и других провозглашать и незаменимость их звучания, во всех тех случаях, где от них зависит звукосмысл поэтической речи, а значит, на этом уровне (до ее произведений) и сама ее поэзия. Поэзия не только в этом; но если здесь ее не уловить, самые первичные качества поэтической речи от нас ускользнут или будут истолкованы неверно.

И вовсе не повторы звука первичны, а самый звук. Роль повторов как таковых, при относительном безразличии звука, повторяемого ими, следует отличать от их умножающей, усиливающей, подчеркивающей роли, в отношении звука, нужного поэтической речи, не вообще, а тут, теперь, и как раз в силу особого своего качества. О *гласных* я говорил и буду говорить, после чего перейду к согласным, — оба наименования эти (даже и в женском роде) относя не к буквам, конечно, относя их к фонемам, но слышимы *и*, звучащим, к фонемам речи, а не языка. Гласные, как это нередко усматриваемо было и в прошлом, важнее для поэтической, и особенно для стихотворной речи, чем согласные. Август-Вильгельм Шлегель уже в ранних своих «Размышлениях о метрике» высказал совершенно правильную, хоть и неприменимую к системе языка, мысль, что гласные скорее выражению служат, а согласные скорее изображению. А так как основа звукосмысла поэтической речи, да и всякого *искусством изъясняемого* смысла, есть именно выражение, которому изображение, там, где оно

* См. кн. 112 «Н. Ж.».

имеет место, всегда бывает подчинено, то из этого вытекает и первенство выразительных возможностей поэтической речи над изобразительными ее возможностями. Недаром, через полтора десятилетия после Шлегеля, Морис Граммон, незадолго до своей кончины, счел возможным определить стих как «музыку, чьи ноты образованы тембрами гласных». Здесь требуются лишь две поправки: в этой «музыке», как и в музыке, участвуют также и безгласные шумы, тембры не сонорные, а со-гласные, кон-сонорные; а кроме того есть и сонорные согласные, которые, в своей функции, могут приближаться к гласным. Отложив об этом попечение, я могу теперь обратиться к тому, на чем остановился в предыдущей своей статье.

Проверю себя еще раз. Предложу и читателю еще раз вслушаться всё в тот же стих. — На холмах Грузии лежит ночная мгла... — Вообразим, что стихотворение это нам неизвестно, что мы читаем его впервые и успели прочесть лишь первую эту строчку. Ведь очаровала нас она, неправда ли? Очаровала уже и первая ее половина. Но чем же? Неужто и впрямь одним лишь звучанием главного ее слова, ударяемой гласной этого слова и (в меньшей степени) двух неударяемых?

Да. Звучанием этим прежде всего. Но я не утверждаю и никогда не утверждал, что им одним, и еще того менее, что им, независимо от всего, как раз и делающего его действенным, да и попросту ощутимым. Слово, заключающее в себе эти гласные (а также согласные, звучащие в нем на подмогу гласным), не теряет «нормальной» своей осмысленности и не выключается из такой же нормальной (словесной и фразовой) осмысленности всей строчки. Не выключено оно, конечно — что для его звучания всего важнее — и из ритмико-интонационного ее движения или строя. Больше того: интонация здесь именно произнесением этого слова и осуществляется. Оттого его гласные так выразительно и звучат... Но подожду об этом говорить, как и о том, чем именно, в строении стиха, интонация эта вызвана. Напомню сперва, что в цитате из Лермонтова, приведенной в конце предыдущей статьи, то же самое слово, в том же падеже, никакой интонационной мелодии (или зачатка мелодии) не образует и (поэтому) никакого очарования не излучает. Приведу теперь всю первую половину этого в предпоследний год жизни написанного нарочито сухого, анти-лирического лермонтовского стихотворения:

Не плачь, не плачь, мое дитя,
Не стоит он безумной муки,
Верь, он ласкал тебя шутя,
Верь, он любил тебя от скуки!
И мало ль в Грузии у нас
Прекрасных юношей найдется?
Быстрой огонь их черных глаз,
И черный ус их лучше вьется.

Все поэтизмы здесь — готовые, вроде заезженной уже и тогда «безумной муки», или «прекрасных юношей», или огня их черных глаз, или черноты их «уса». По своему окончательному смыслу, в данном стихотворении, это и не поэтизмы вовсе, а скорее прозаизмы. В соответствии с этим, тут и стих, во всех восьми — и во всех шестнадцати — строчках, чисто «говорной», так что и никакого желания он в нас не вселяет мелодичность или напевность «Грузии» приписать, услышать ее в этом слове, которое здесь, в отношении звука, легко было бы заменить другим словом, «Греции» например. Тем более, что «нормальная» («совсем, как в прозе») вопросительная интонация две строчки охватывающего предложения делает всякую другую, внутри того же предложения, ненужной и с нею несовместимой. Конечно, при желании — но ведь, в сущности, озорном — *можно* прочесть «И мало ль в Грú-зи-и у нас / Прекрасных ю-ношей найдется». Только при таком озорстве повтор основной гласной (у = ю) и покажется — именно покажется, фокусно покажется — действенным. С тем же успехом возможно, банальность с учета сняв, пропеть о «безумной муке», да и продудить все у, в этих стихах, включая те, благодаря которым «черный ус» начнет, чего доброго, лучше завиваться. Всё это будет, однако, чистым произволом чтеца и насилием над этими совсем другой породы стихами. Той же они породы, в конечном счете — но не того же «ранга» — как «Завещание» и «Я к вам пишу» («Валерик»). Обобщение Граммона все таки было неосторожным: не в любых стихах гласные поют, или с одинаковой силою поют; не для всякой стихотворной речи одинаково важно их пение. Оно зависит от интонации, а нужную здесь интонацию не обеспечивает ни, как будто и благоприятная для нее, механика стиха, ни наличие столь же для нее благоприятных звуков, *даже и в одном*

и том же, а все таки в одних случаях немом, а в других и в самом деле обретающем музыку, слове.

Есть две четырехстопные ямбические строчки у Пушкина и две у Лермонтова, где слово «Грузии» образует четвертый, пятый и шестой слог, так что каждый раз эти два последних слога заменяют ямб пиррихием. Это «ускорение» на третьей стопе (наиболее часто встречающееся в четырехстопном ямбе) могло бы содействовать певучести попадающего в этот ритмический провал (сравнительно с регулярным метром) слова; и тем не менее, в прочитанной без насилия лермонтовской строчке никакого пения не возникает, как не очень слышится оно и в другой его строчке (из «Демона» в начале седьмой главы) «Уж холмы Грузии одел», хотя для настоящего суда об этом нужно слышать всю фразу, в обоих случаях занимающую два стиха. В «Демоне», однако, «грузинский» стих не начинается фразой, а ее кончает: «Вечерней мглы покров воздушный / Уж холмы Грузии одел». Этим разгоном, удлинением интонационного целого, а также первым у (в женской рифме), предвещающим главное, второе, придется большая ощутимость ритмическому провалу и пению второй строки; но ее мужское окончание продолжает пению этому препятствовать. У Пушкина, в «Кавказском пленнике», черкешенка, пленника этого полюбившая, «Поет ему и песни гор / И песни Грузии счастливой». Тут, переход (обратный) от стиха с мужскою рифмой к стиху с женскою (да еще и на *и*, что отвечает четверем неударным *и* той же строки) певучесть ритмического провала значительно повышает, как и слова, попадающего в этот провал, и кроме того усиливает контраст этого второго стиха с первым, четырехударным, как в «Демоне», с несколько ослабленным вторым ударом. Но апогея эта певучесть достигнет (при сохранении размера) все таки лишь в стихотворении 1828 года: «Не пой, красавица, при мне / Ты песен Грузии печальной: / Напоминают мне оне / Другую жизнь и берег дальный». Недаром четверостишие это повторяется в конце стихотворения, образуя кольцо, по романсному его обрамляя. Его начало обнаруживает, что одинаковость ритмического строя первой и второй строки (при условии того же перехода от мужского стиха к женскому, а не наоборот) может оказаться действеннее их контраста, и что смысл (и вся смысловая «аура») прилагательного «печальный» способны победу

одержать над музыкой прилагательного «счастливый», даже и поддержанной другими четырьмя *и* того же стиха. Печали, в новом стихотворении, слегка помогает начальный слог слова «песен», но главное преимущество его в том, что оно «Грузии» — ударяемой гласной этого слова — ту печаль впервые дарует, ту унылость, муку, тоску, то грусть (но, Боже, «грустная Грузия», как это было бы скверно!), которую, среди всех гласных именно эта всего лучше умеет выразить. Счастливой была Грузия по вполне веским и положительным причинам: холмистая, но солнечная и плодородная страна противопологалась горной; ее песни — суровым «песням гор». Печальной она стала лирически, а не географически. Но ведь стала, без сопротивления; и как запело при этом ее имя!

Суждено ему однако было и еще сладостней (с не меньшей печалью) запеть в написанных год спустя пушкинских стихах, *начинающихся*, на этот раз, с того же ритмического «хода» («И песни Грузии», «Ты песен Грузии») что в тех двух стихотворениях образовывал зачин не первой а второй строки; и та же «Грузия» тут опять, в том же родительном падеже... Мы вернулись к нашей многострадальной, жеванной и пережеванной строчке (думаю, что «холмы Грузии» в «Демоне» — реминисценция этой строчки) — и к одной из вершин русской лирики. Не ограничусь теперь первой строкой, приведу четыре первых:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...

Второму двустистию, как известно, предшествовали сперва совсем другие, хоть и с теми же рифмами два стиха:

Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла.
Мерцают звезды надо мною.

При их замене, внепоэтическим заданием Пушкина было убрать упоминание (горного) Кавказа (ради чего, выяснено с очень большой вероятностью; я этого не касаюсь). Заменяв его Грузией (и вечер ночью, а звезды Арагвой, но эти замены вторичны) он и поэзии не только должное ей отдал, но и обладал ее по-новому, тем более, что «мне грустно» вошло таким

образом с этой «Грузией» в достаточно отдаленный (без гру-гру) контакт, но и в достаточно близкий, чтобы у этой «Грузии» обрело через строчку поддержку, получившую затем отзвук во втором четверостишии (вполголоса сперва: «уны-нья»; потом сильней: «мучит», «любит»). Того стихотворения, которое Пушкин хотел написать, он не написал; но Грузия ему помогла, — не страна, а ее имя. Восьмистишие «На холмах Грузии», хоть и озаглавив его «Отрывок», он все таки счел возможным и нужным напечатать — в том же альманахе «Северные цветы» (на 1831 год), где напечатал, за два года до того, «Не пой, красавица, при мне», — а затем и еще раз: в третьей части «Стихотворений Александра Пушкина» 1832 года.

Не сомневался, значит, в нем, цену ему знал. Но почему же и впрямь первая уже его строка, об остальных позабыв, упойтельнее звучит, чем все четыре процитированные мною четырехстопные ямбические строчки с той же пиррихической (или дактилической) «Грузией»? Просто потому, что эта строчка — шестистопная? — Да, потому; но не просто потому.

Чередование шестистопного ямба с четырехстопным само по себе создает известного рода мелодию (интонационную), или, по крайней мере ее возможность. Читая первую (шестистопную) строчку, с ее обязательной цезурой посередине, после которой падает голос, поднимавшийся до тех пор (как в пентаметре, но где это происходит во второй половине двустипия, а не в первой), мы уже чувствуем, что во втором, более коротком стихе, соответствующем понижению голоса, сравнительно с первым стихом (как пентаметр после гекзаметра), но не лишенном и собственного подъема и спуска, мелодическая линия этого движения будет не той, что в первом стихе. Двустипия этого рода (соединяемые обычно в четверостишия) предлагают поэту потенциальную маленькую музыку, совершенно независимую, ни от смысла, образующих эти строчки слов, ни от их звука, или от звука фоном, образующих эти слова. Поэт волен этой музыке «дать ход» или ею пренебречь, — как можно было бы сказать и об элегическом дистихе, греческом, римском или этой традицией вскормленном. Я поэтому русское сочетание неравностопных строк ямбическим дистихом называю, памятуя, вместе с тем, о том, что у нас, во времена Батюшкова и до-болдинского Пушкина, оно всего охотней в элегиях и применялось. Музыка его дается

ход при помощи интонаций, зависящих от смысла, и звуков, с этим смыслом связанных; но есть и в ней самой варианты «на выбор» небезразличные для ее поэтического, то есть осмысленного звучания.

Не безразлично уже, начинается ли двустипие с женской рифмы или с мужской. В русской традиции преобладает второе решение, более «музыкальное» (короткость второй строки компенсирующее лишним слогом рифмы); мы только с ним и будем иметь дело. Играть роль и словоразделы, вернее едва заметные остановки между словами или тесно между собой связанными группами слов. Но всего важнее для избираемой поэтом интонации — для «вмещения» этой интонации — характер цезуры, которой, в русском александрийце, может предшествовать ударение на конечном слоге первого полустишия или на третьем от конца. Дактилическая эта цезура, означающая неударность третьей стопы, совсем особую интонацию не то чтобы диктует поэту (никакого «диктата» в таких как и в звуко-смысловых возможностях нет), а лишь шепчет о ней ему на ухо; услышит ли он этот шопот, зависит от его слуха. Первый вариант пушкинского стихотворения 1829 года начинался та-та́-та та-та-та́ («Все тихо — на Кавказ»), второй: та-та́-та та́-та-та. Только и всего. Но если вслушаться, по-пушкински скажешь: «дьявольская разница». В первом случае, перед цезурой — толчок в стену, «нормальный» ямб; во втором, как раз там, где голос должен был бы повышаться — ритмический провал, из-за которого ударение, ему предшествующее, длится дольше и сильнее звучит, после чего интонация падает в провал — со вздохом чего? Облегчения, грусти, лирической памяти? Это уже зависит от обретаемого музыкой смысла. «На х́олмах Гру́-зи-и». Зачин этот — главная находка новой версии. Второе полустипие менее важно; оно осталось почти тем же; ритмически и точно тем же (та-та́ та-та́-та та́). Зато первая половина второго стиха слегка изменилась (вместо та-та́-та та́та, та-та́ та-та́та). После нового зачина, и «Мерцают звезды» звучало бы иначе, чем после «Все тихо — на Кавказ»; но теперь трехсложная «Арагва», позиционно симметричная «Грузии» (перед малой паузой, как та перед большой), контрастирует с ней тоньше, потому что симметрична, но и асимметрична (амфибрахий вместо дактиля), сама трехсложность этих слов. Во избежание недоразумений

прибавлю, что я вовсе не разбиваю ямбические строки, метру вопреки, на какие то разношерстные стопы, а лишь показываю, что ритмические фигуры, словоразделами рисуемые, могут иметь значение для неотделимой от ритма интонации стиха или группы стихов.

Значит дело, все таки, не в смысле и не в звукомысле, а в интонации и ритме? Нет. Интонация, если с определенным ритмом и связана, то, иначе, как в мыслях, не только от него, но и от смысла неотделима; и никогда — при понимании русского языка — не будет «артиллерийская стрельба» (та-та-та-та́-та-та та-та́) внушать или оправдывать ту же интонацию, что «Адмиралтейская игла». Только в шутку мог некогда Мандельштам — «Не унывай / Садись в трамвай / Такой пустой / Такой восьмой» — приравнять к осмысленным интонациям полусмысленную и бессмысленную; в этом и заключалась вся шутка. Что же до звука, и до звука определенной, нас интересующей гласной, то звук всегда звучит в ритме и сливается с интонацией; но не любой с любой интонацией сливается одинаково хорошо. К этому я сейчас и перейду. Сперва надлежит еще кое-что сказать об интонационно-ритмических потенциях шестистопного ямба и ямбического дистиха.

Они были осознаны далеко не сразу. Дактилическая цезура в александрийском стихе, наряду с другой, встречается, хоть и не часто, уже у Ломоносова (в «Разговоре с Анакреоном», в «Тамире и Селиме»), но ее особая напевность услышана была, как мне кажется, лишь в начале следующего века, — Батюшковым. Это требует проверки; но во всяком случае Батюшков, первый, всю музыку, ею даруемую шестистопному ямбу (особенно при сопровождении его четырехстопным) постиг, то есть мысленно услышал и в стихах осуществил. Думаю, что именно он научил ее слышать и Пушкина. Этим 6 + 4 стихом написал он уже в 1807 году «Выздоровление» (отзыв Пушкина, на полях «Опытов»: «Одна из лучших элегий Б.»); затем (через восемь лет) «К другу» (Пушкин: «Сильное, полное и блистательное стихотворение»). В 17-ом году вышли «Опыты», но лишь в 19-ом, летом, в Италии, написано было

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском берегу,
И есть гармония в сем говоре валов
Дробящихся в пустынном беге...

Напечатаны были эти стихи (двенадцать строк, полуперевод — с итальянского? — неполной строфы «Чайльд-Гарольда») лишь в «Северных цветах» на 1828 год. Пушкин их списал под заглавием «Элегия» (рукопись Пушкинского дома) и кроме того вписал в свой экземпляр «Опытов». Восхитили они его, можно думать, именно этим своим началом; восхитили, несмотря на то, что в той же книге были напечатаны его собственные (первые) 6 + 4 стихи — да еще какие! — «Под небом голубым страны своей родной». Что же его так пленило в стихах Батюшкова? Полагаю, что пленила его дактилическая цезура в первом же и в третьем стихе (в «Под небом голубым», появляется она в пятом, и потом, с изу ительным, правда, движением интонации, в одиннадцатом и в предпоследнем), а также соответствие ее пению дактилических слов «дикости», «говоре», и последовательности «Есть наслаждение», «Есть радость», «И есть гармония». В «Северных цветах» на 1829 год напечатал он (не полностью) «Воспоминание», первый стих которого в цезуре дактиличен, как и третий (и как стихи 7, 9 и 11, 13 и 15). Стихотворение это датировано 19 мая 1828 года, т.е. конечно после выхода «Сев. цветов» на 1828 год. Через год, во время путешествия в Арзрум, было написано «На холмах Грузии», после чего Пушкин, лишь для совсем другого рода стихов возвращался к этому неравностоппному «размеру» (неоконченное «Ты просвещением свой разум осветил», м.б. 1831, и ненапечатанное при жизни послание Гнедичу 1832 года).

«На холмах» — последняя его элегическим этим стихом написанная элегия. Батюшковской музыкой она начинается, с которой контрастирует третий стих и начало четвертого: «Мне гру́стно и легкó; печаль моя светла / Печаль моя полна...» Далее, в полном созвучии с этим началом «...Унынья моего / Ничто не мучит, не тревожит, / И сердце вновь горит и любит...» Но насчет «оттого» и заключительного стиха М. И. Волконская (Раевская) быть может и была права, когда писала из Сибири В. Ф. Вяземской, получив от нее стихи в той версии, которая позже была Пушкиным напечатана, что в первых двух стихах поэт лишь пробует голос и что «звучки, извлекаемые им, весьма гармоничны», но что конец стихотворения — «извините меня, Вера, за Вашего приемного сына» — это окончание «старого» (т.е. «дедовских времен») француз-

ского мадригала или любовный вздор, который нам приятен, (лицемерно?), прибавляет она, потому что свидетельствует о том, насколько поэт увлечен своей невестой. Как показывает другое письмо, Зинаиде Волконской (20 марта 1831), где Мария Николаевна полушутя жалуется, на то, что Вера Вяземская перестала ей писать с тех пор, как она назвала «любовным вздором» стихи ее «приемного сына». Квалификация эта относится к приведенному здесь по-русски стиху. «Что не любить оно не может». Вот если бы до нее дошло —

Я твой попрежнему, тебя люблю я вновь —
И без надежд, и без желаний,
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.

Но этих стихов она не знала. И повторяю: того стихотворения, которое Пушкин хотел написать, он не написал.

«Грузия» была только дымовой завесой (невестам, конечно, насчет «попрежнему» не пишут, как и насчет «девственных мечтаний», и даже о сердце, которое *ВНОВЬ* горит и любит»; может быть Мария Раевская *это* все так почувствовала?)... Однако теперь я к самой завесе вернусь. Как хорошо она была выбрана... Но внимание! Не только по интонации, ритму, по движению стиха. Попробуйте на место «Грузии» подставить другое слово. «Греции», это для лермонтовских стихов годилось; здесь не подойдет: *е* не заменит «нашего» *у*. «Турции»? Но короткое *у* (перед двумя согласными) не заменит долгого, и *ц* (как в «Греции»), перед двумя *и*, не то же, что *з*. Попробуем «Африки», нет, *а* не заменяет *у*, и *фр* (бр!) после *а* не заменяет *гр* до *у*. «Азии» — само по себе это звучит неплохо, и *з* тут то самое, какое нужно. В стихотворении 1820 года у Пушкина есть «Я видел Азии бесплодные пределы», и даже перед цезурой стоит эта Азия. Но ведь *у* все таки на много лучше...

На хълмах Нубии лежит ночная мгла...

Это почти хорошо (независимо от того, есть ли в Нубии холмы, или их нет), а все таки гру- после «на хълмах» лучше, чем ну-, и *з*, до двух *и*, легче нежели *б*, лучше помогает этим *и* скользить одно вослед другому. Да и зачем выдумывать Нубию, когда Грузия тут как тут? «Шумит Арагва предо

мною». Это — подтверждение Грузии; но есть в этом стихе и еще раз *у*, еще раз *и*, еще раз *г*, два раза *р*, которые естественно и незаметно вступают в связь с предшествующей строкой; после чего «мне грустно» переключается с «Грузией» и коротким своим *у* вторит ее долгому *у*. Это долгое *у* явилось конечно само собой: Грузия, взамен Кавказа помянутая, его с собою принесла; но так осмысление звуков у Пушкина всегда и происходит. Никакой нарочитости, никакой натяжки вы не чувствуете, но все нужные для звуко смысла (накладываемого на смысл, но и на обыкновенные значения слов) звуки — вы их слышите, вы *поддаетесь* им, вовсе их не замечая — оказываются каким то чудом, так вам кажется, но на самом деле в результате долгих, полуосознанных и вам невидимых поисков. Понадобилось *у* в «Цыганах» и, как Вячеслав Иванов еще в 1908 году показал, проскользнуло оно туда вместе с именем «милый Мариулы» и стало основной интонационно-звуковой нотой этой мелодичнейшей из пушкинских поэм. Понадобилось оно в «Брожу ли я» (сперва «Кружусь ли я», так что стихотворение из «унылого» этого *у* быть может прямо и родилось), и вот уже девять раз мы его находим, всегда под ударением, в первых же его четырех стихах. Или это случайно? Так могут думать только люди не умеющие вслушиваться в стихи, но и никакая теория вероятностей такого их мнения не оправдывает.

Поэт в смыслы вникает и в звуки вслушивается одновременно. В день своего рождения начал Пушкин писать грустные стихи («28 мая 1828», «Дар напрасный, дар случайный»), и во второй их половине сам собой (так нам кажется) пришел к нему все тот же звук: «Душу мне наполнил страстью, / Ум сомненьем взволновал —

Цели нет передо мною
Седце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум

Вспомнил о нем, вызвал его и через два года, когда писал «Что в имени тебе моем...» Тихо, но очень действенно появляется здесь это *у* в первой уже строфе (я учитываю и неударные, слабее звучащие, но все же играющие роль, наряду с ударными):

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный,
Волны плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом...

К концу стихотворения звук этот возвращается в рифмах «тос-
кую», «живу я». И в том же году начинается он последнюю Эле-
гию:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье,
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе, чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать
Я жить хочу...

Далее речь идет о надеждах, и угрюмое у сходит на нет. Не то, чтобы эта гласная попросту исчезла (есть даже повторы ее: «и ведаю, мне будут наслажденья»); она лишь перестает быть угрюмой, перестает быть выразительной, значимой (т.е. наделенной звуко смыслом). Кто же, однако, определяет, где такой то звук значим и где он не значим? Тот, кто умеет (или думает о себе, что умеет) читать поэтов. Но ведь это «субъективизм», это чистый произвол! Не совсем; произвол, каприз я могу — в себе — ограничить, обуздать; но без самого себя обойтись не могу. Никакой *вполне* объективный анализ звуко смысла или поэзии вообще (поскольку смысл из нее не исключен) дальше сравнительно маловажных подступов к ней идти не может. Никакою мерою нельзя измерить, ни на каких весах нельзя взвесить значимость приобретаемую звуком в связи со смысловой окраской, присущей ему (но отнюдь не всегда действенной и ощутимой) или со смыслом — дополнительным смыслом — который ему поручено бывает выразить. Так же неразумно это осмысление звуков отрицать, как и считать его всегда готовым к услугам и повсюду одинаковым.



В университетском учебнике В. Е. Холшевникова «Основы стиховедения» (2-ое изд. Л. 1972 стр. 86) приводится в русском переводе знаменитый сонет об «окраске» гласных Рембо,

после чего говорится, что «звуки сами по себе лишены и вещественного, и эмоционального содержания». В доказательство этого — от перехода из рук в руки не становящегося более верным — утверждения автор приводит повторы все той же возлюбленной мною гласной у Некрасова («Быстро лечу я по рельсам чугунным, / Думаю думу свою...») и «Умер, голубушка, умер, Касьяновна / Чуть я домой добрела...») и в стихах (для детей) Чуковского («Муха, Муха, Цокотуха / Позолоченное брюхо»). В некрасовских стихах, пишет Холшевников, «у звучит действительно печально, заунывно», тогда как у Чуковского «оно кажется задорным и веселым». Тут прежде всего следует заметить, что цокотухино у вовсе не кажется ни задорным, ни веселым: оно просто не являет своих природных качеств, не «звучит»; воспринимается *повтор*, а не оно, — в противоположность чему «умер, голубушка» или «думаю думу свою» воспринимается как повторное завывание именно этого звука, незаменимого другим. А затем надлежит всячески протестовать против смещения этого рода звуко смысловых энтелехий с той расцвеченностью гласных, отдельным лицам свойственной и у разных лиц совершенно разной, о которой говорится в сонете Рембо. Или верней о которой там, несмотря на сотни страниц об этом исписанных, вовсе не говорится: «Пребывание в аду» недвусмысленно оповещает нас о том, что цвета гласных были *выдуманы* мальчиком-поэтом. Что же до «звучащих» у, то у того же Некрасова, в начале знаменитого его стихотворения «Еду ли ночью по улице темной...» и еще во второй его строке («Бури заслушаюсь в пасмурный день») и еще в слове «друг», начинающем третью строку, оно и звучит, и жалуется, и плачет, а в начале четвертой («Вдруг...») перестает «звучать», из мелодии выпадает и даже весьма досадно вступает в конфликт с только что прозвучавшим «друг», после чего («Сердце сожмется мучительной думой» и рифма «угрюмой») прежняя заунывная музыка снова вступает в свои права.

Столь же неосновательны возражения, выдвигаемые против выразительных возможностей — именно возможностей, а не присущих неизменно свойств — все того же звука, выдвигаемые в недавно вышедшей книге Б. П. Гончарова «Звуковая организация стиха» (М. 1973, стр. 115). Здесь цитируется «Бородино»: У наших ушки на макушке! / Чуть утро осветило

пушки / И леса синие верхушки / Французы тут как тут. / Забил заряд я в пушку туго / И думал: угощу я друга!...» Андрей Белый полагал («Жезл Аарона», 1917) что французы тут «представлены» звуком *у*, а «описание мужества русских сопровождает звук *а*» (не привожу соответствующих стихов: повторы *а* вовсе там не выразительны). Недавний исследователь, А. Гербстман, высказывает сходное мнение. Возражения Гончарова, по адресу такого рода фантазий, совершенно справедливы; он однако не видит, что повторяется, в приведенных им строчках, не протяжное, длящееся *у* (как в «Грузии»), а отрывистое, куцое, выразительные возможности которого (совсем другие и действенные лишь в повторе) использованы здесь Лермонтовым очень хорошо. Немецкий ученый, М. Вандрушка в давней уже статье, отметил, что та же самая гласная — не *у*, на этот раз, а *и* — может «изобразить» и крошечное («винциг»), и огромное («ризиг»), в зависимости от того, какие ее особенности выступают на первый план, да и просто, прибавлю от себя, сообразуясь с тем, коротенький ли это звук, как в первом случае, или долгий, «р-и-и-изиг», который можно еще, шутки ради, и растянуть подлиннее. Специалистам полезно бывает не слишком увязать в своей специальности, а славистам и другими языками «владеть», кроме славянских.

Трудно было бы нашим поэтам без *и* и без *у*! Начал Тютчев «Люблю глаза твои, мой друг...» (тут-то эти *у* не столь еще заметны), а когда, во второй строфе, до главного, что хотел сказать, договорился, не смог таки без этого назойливого звука обойтись:

Глаза, потупленные ниц
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огонь желанья.

А бедняга Фет до того дошел к середине века, что в стихотворении «Больной» стал русский язык перекраивать на свой лад. Первые строки этого стихотворения читаются нынче по изданию 1856 года, проредактированному Тургеневым

Его томил недуг. Тяжелый зной печей
Казалось, каждый вздох оспаривал у груди,

но в «Современнике» 1855 года (т. 50) первый стих читался:

Его томил недуг. Щедушный жар печей...

Очевидно, после «недуга», так страстно захотелось Фету, еще раз продудеть в дуду, что он на минуту вообразил существующее слово (вроде «тщедушный», но с другим значением), да так рукопись Некрасову (?) и послал. Тот (если это был он) Фета ценил; не поправил... Но почему же понадобилось поэту второе ду? Потому и понадобилось, что был он не «литературоведом», а поэтом.

Чужеземные ведь тоже порой — и даже к этому самому звуку — бывали неравнодушны. Тик, романтик немецкий, целую главу дремучих жутей и ужасов «пустил на у» в своей поэме «Лесные знаменья». И еще до него в «Мессинской невесте» Шиллера, самый трагический хор четвертого акта звучит сумрачным этим звуком. А из более близкого к нам времени могу привести чудесное начало стихотворения Рильке, «Смерть возлюбленной» (1907):

Er wusste nur vom Tod, was alle wissen:
 dass er uns nimmt und in das Stumme stösst

На расстоянии более, чем ста лет, те же звуки — ўр, ўмм, штўмм — сходную выполняют службу, но играют роль у Рильке и «вўсте (нўр)», и свистящие в рифмах. Мог бы я привести и английские примеры (латинский привел уже в предыдущей статье). Да и французы... Например забытый во Франции, но не у нас Огюст Барбье, поэт «революционный»; ему еще Лермонтов подражал (и Бодлер его хвалил, но, увы, не без оговорок).

Однако перейдем наконец к согласным. Начнем с латинского слова «мўрмур» — но Бог ты мой, у и тут не хочет нас покидать! Итак, гласные выражают, а согласные изображают; но в поэзии, в искусстве, и даже в языке, там где из него не выброшена поэзия, выражение от изображения неотделимо. «Мурмур» у римлян «изображал» раскаты грома, грохот горного потока, рев бури и даже извержение вулкана. Но выражал тем самым и чувства, вызываемые столь внушительными шумами. Итальянский глагол *мормораре*, принадлежащий, однако, простонародному скорее, чем литературному языку, применяется и к журчанью ручейка, и к словам вполголоса произнесенным; а французский *мюрмюрé*, тоненьким своим звуком совсем уж для грома или извержения вулкана не годится, и значит почти то же, что *сюзюррэ*, — бормо-

танье, шопоток, на ушко одними губами произнесенное словечко. Но поэты не унывают. И *мурмур* был им пригоден, и *мюрмюр* они не отвергают, а соответственное английское слово, которое не смею по-русски начертать, даже и вошло, благодаря Теннисону, в самые знаменитые две «на *м* пущенные» строчки во всей английской поэзии:

The moan of doves in immemorial elms,
And murmuring of innumerable bees

Кто их только не цитировал! Заменяли «иньюмерэбль» похожими (но не во всем) словами: «эньюмерэбль» или другими в том же роде. Замените, мол, и все очарование пропадет. Ну и что же? Во-первых не все, а во-вторых зачем же заменять. Теннисон не зря эти звуки выбирал. Выбрал их и еще раз (в «Дочери садовника»).

The lime a summer home of murmurous wings,

да и что хотят люди доказать, отвергая звучание стихов, все свои упования обращая на одну «образность», «метафоричность»? Такой поэзии — безразличной к звучанию стиха и слов в стихе прежде не существовало; быть может мы приближаемся (на Западе) к такому глазами пробегаемому и беззвучно воспринимаемому словосплетению; но это не резон пренебрегать звуком, рассуждая о стихотворстве былых, как еще и совсем недавних времен. Да и не об одной стихотворной речи: актуализироваться звучания или звуковые повторы могут и в другой. В «Дневнике писателя» читаем: «Оттого и берет хандра по воскресеньям, в каникулы, на пыльных и угрюмых петербургских улицах». Могло бы это быть и случайной встречей трех или четырех *у*; но Достоевский продолжает: «Что, не приходило вам в голову, что в Петербурге угрюмые улицы? Мне кажется, это самый угрюмый город, какой только может быть на свете». Похоже, что слово «угрюмый» внутренне произнеслось и заворожило самого пишущего.

Но вернемся к согласным и их повторам. Когда повторяется *м*, это отнюдь не всегда такую млеющую и медвяную, на губах тающую музыку порождает, как в приведенных только что примерах из Теннисона. Если артикуляцию этого звука при сжатых губах иметь в виду, получается нечто совсем другое, как в самом шекспировском из всего написанного Пушкиным:

Иль скажет сын
 Что сердце у меня обрѣсло мохом,
 Что я не знал желаний, что меня
 И совесть никогда не грызла, совесть,
 Когтистый зверь скребуший сердце, совесть,
 Незванный гость, докучный собеседник,
 Заимодавец грубый, эта ведьма,
 От коей меркнет месяц и могилы
 Смущаются и мертвых высылают?..

После трех строк, насыщенных свистящими и такими сгустками гнева, как грзл, гтст, скрб, повторы *м* в последних трех не диминуэндо обозначают, а дальнейшее крешендо; ничто уже не может быть сильнее этих сжатými старческими губами произнесенных «меркнет месяц», «смущаются и мертвых высылают». В английском языке возможно то же самое, как показывает удивительная строчка в трагедии Шелли «Ченчи» (II, 1), где старый Ченчи, обращаясь к ненавидимому им мягкосердечному сыну своему Бернардо, говорит:

Thy milky, meek face makes me sick with hate!

Это стоит скупого рыцаря и в сжатости своей — если от изумительного нарастания в том монологе отказаться — пожалуй его и превосходит.

Повторы *л*, или *п* в соединении с *р*, тоже мугут служить и чаще всего служат (опять таки через посредство произнесения, скорей, чем звука) не изображению чего либо, а прямому выражению «переживания» или попросту чувства. Приведу и этому примеры русский и английский, но разделенные, на этот раз, во времени, друг от друга не каким-нибудь десятилетием, а долгими веками. Не думаю, чтобы «в пяток потопташа поганые плъкы половецкыя» в «Слове о полку Игореве» передавало «звуковую картину движения тяжело вооруженного древнерусского войска», как полагает А. И. Федоров («Семантические основы образных средств языка», Новосибирск, 1969. Ак. Н. СССР, сиб, отд. стр. 74; автор считает, что и «сабли изъострени, сами скачут аки серые влъцы» свистящими согласными «дополняют содержание образа быстро-скачущего конного войска», в чем я тоже сомневаюсь: скорей это выражает боевой энтузиазм не воинов, а воспевавшего их певца). Попробуйте произнести «потопташа поганые плъкы»,

и вы сразу поймете, какие чувства тут выражены. Чувства, в основе своей, очень похожие на те, которые немножко больше, чем сто лет назад, испытал молодой поэт, Суинберн, когда викторианские критики начали его травить за «эстетизм» (это слово имело тогда и некоторые тайные значения) и за презрение к морали. «The prurient prudery and virulent virtue of pressmen and prostitutes», писал он тогда, в ответной статье. «Естественно, что губные глухие звуки могут окрашивать речь в качестве эмоционального знака презрения, и такие слова, как «презирать», «подлый», «плохо» являются [ах ты Боже мой!] уже в своем звуковом составе окрашенными» (Томашевский, Теория литературы, 1925, стр. 66/7). Тут самое лучшее слово — «могут», потому что могут и не окрашивать: «В простой приятельской прохладе / Свое проводим время мы» (Державин, «Пикники», 1776); или у Пушкина, конец третьего «Подражания Корану»: «И нечестивые падут, / Покрыты пламенем и прахом», хотя тут мы, конечно от «Пикников» далеко ушли, не в сторону Суинберна, но в сторону других стихов Державина и, пожалуй, «Слова о полку».

Не это важно. Важно, что *могут*, и что поэты эти возможности языка в своей поэтической речи вольны использовать. Это возможности даже и не языка: языков; своего рода «универсалии» (вероятно ограниченные — а может быть и нет? — европейскими только языками), но не универсалии Языка (которых ищут языковеды), а Поэтической Речи, которых неплохо было бы поискать «компаратистам», «стиховедам» и вообще ученым людям, «занимающимся» поэзией. Но конечно не без толку, и не с той мыслью, что «наука» сама разберется, где поэзия и где ее нет.

В романе Писемского «Тысяча душ» (1854), вторая глава первой части) «отвратительный Медиокритский» стал «каждое воскресенье являться с гитарой» к Настенькину отцу, «и всегда почти начинал, устремив на Настеньку нежный взор:

Я плыву и наплыву
Через мглу — на скалу
И сложу мою главу
Неоплаканную.

Тут и завыванье на у, и «влажные звуки» (плыву, наплыву), и «ло-ла-лу», о чем писал я в другой главе, а ведь стишки-то все таки плохие. Комментированного издания Писемского я не

видал, но после поисков (не очень даже и долгих) добрался-таки до их автора. Это наставник Тютчева, С. Е. Раич (1792-1856), и стишки эти, видимо рас-петые под гитару (есть у немцев такой глагол «церзинген») происходят из довольно длинного стихотворения Раича «Друзьям» (1826): «Не дивитесь, друзья, / Что не раз / Между вас / На пиру веселом я / Призадумывался». Ах, какие «структуры» можно найти в медиокритских тех строчках! Всё в них «проструктурировано» насквозь — не хуже, чем в «Медном Всаднике» (лучше, лучше!) или в 129-ом сонете Шекспира. А то есть еще прекрасные стихи не кого-нибудь, а самого Николая Гавриловича Чернышевского, например «Гимн деве неба» (в ссылке написанный, 1870):

Светлы веют предков тени
На пурпурных облаках,
И в объятья принимают
Тени павших в этот день.

(всего в этой поэме 444 строки, действие происходит в Сицилии, во время войны с Газдрубалом). Или в другой поэме, посланной жене пять лет спустя, — хор девушек «служительниц в храме Солнца» приветствует Лейлу (подумать только, как хорошо шестидесятник этот помнил Пушкина), въезжающую в столицу персидского царства, Шираз:

Волоса и глаза твои черны, как ночь;
И сияние солнца во взгляде твоём.
О, царица сердец и в царстве солнца святом,
В стране гор, стране роз, равнин полночи дочь!

Какова «структура» или «организация» гласных в первых двух строчках (если одни ударяемые считать: а, а, и; а, о/ а, о; а, о), а в последней какое накопление согласных, какая мощная затрудненность ритма и произнесения! Стройте схемы. Вычерчивайте диаграммы. Поищите-ка, со всей вашей статистикой, вторую столь «насыщенную» строчку как «В странѣ гор, странѣ роз, равнин полночи дѣчь». Никакая наука вам не покажет, что поэзия тут «и не ночевала», и даже что это не так же хорошо, как «Резѣц, оргѣн, кѣсть! Счѣстлив, кто влѣком...» Так что да славятся гласные и согласные, да здравствует звукомысл! Но не без разбора, нет, не без разбора.

В. Вейдле

КОРНИ

На голых стеблях не осталось роз.
Здесь, на бульваре, вихрь крепчал и рос,
Он розы обрывал, кружился с ношей
И осыпался снежною порошей.
Но у корней, в подземной темноте
Иные радости и горести не те.
Метелям злобствовать недолгий срок,
В цветочных жилах забунтует сок
Раскроются зеленые листки,
Околоцветник стянет лепестки
И лопнет, и распухнет бутон,
И чайной розой обернется он.
Но корни под землю крепко спят,
Сюда не долетает аромат
Цветущих роз. В подземной темноте
Иные радости и горести не те.

ПОХОРОНЫ ПОЭТА

Метался дым сирени, и с рассвета
Цвели тюльпаны наперегонки.
Напутствовали в дальний путь поэта
Цветочные корзины и венки.

Казалось музыка с ним уходила,
Так приглушенно призывал рояль
Туда, туда, где высилась могила
И выше, выше, в горние края...

Но ритм стихов его гудел, как ветер,
По листьям шел, траву перебирал,
Был этот ритм за мертвого в ответе,
Он трудно жил и трудно умирал.

Сусанна Мар

БАЛЛАДА О ДРОВОСЕКЕ

Дровосек идёт на прогулку,
Сапогами давит росу,
Одетая в тёплую шубку
Жила была белка в лесу.

Дровосек за день притомился
И присел отдохнуть на траву,
Мех у белки, как мёд, золотился
И просвечивал сквозь листву

А глаз дровосека меткий,
Видит: дикий орешник растёт,
Качается белка на ветке
И зубами орешек грызёт,

Что рубить дровосеку? — безделка!
Топором размахнулся, как мог,
И упала замертво белка
У его задрожавших ног,

Дровосек взмахнул руками,
Уронил на землю топор,
Стекло глазами
Смотрит белка ему в упор.

Ах, не буду я больше в гордыне
По лесам рубить и жечь!!
Будь то зверь, или птица — отныне
Буду каждую тварь беречь!

И с тех пор в его скованных взорах
На всю жизнь залегла печаль,
Лишь слышит в орешнике шорох
Встрепенётся и смотрит вдаль...

Дровосек забросил рубку —
Всё порублено, всё — позади!
Но беличью тёплую шубку
На своей он носит груди...

Георгий Евангулов

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСЕЙ И. А. БУНИНА

Публикация Милицы Грин¹

Этой осенью с именем Ивана Алексеевича Бунина связаны две годовщины. 8 ноября будет 20 лет с его кончины, а 10 декабря исполнится 40 лет с того дня, что ему была вручена Нобелевская премия по литературе. «Ив. Бунин, Prix Nobel», любил потом писать Бунин.

Интерес к творчеству Бунина в России, все растет. Но вряд ли там будет известно о сорокалетию того дня, когда впервые Нобелевской премией был награжден русский писатель. Показательно, что в недавно вышедшем в Москве «Литературном Наследстве», том 84, в двух книгах, посвященных творчеству Бунина, о Нобелевской премии упоминается лишь в «Грасском дневнике» Г. П. Кузнецовой.

Мне кажется правильным познакомить читателей с некоторыми материалами, которые я обнаружила в Бунином архиве. В двух заметках сам Иван Алексеевич вспоминает о важнейшем событии в своей жизни. Первая запись сделана рукой Бунина на листке бумаги, вторая — переписана на машинке, сбоку наверху синими чернилами приписано почерком Ивана Алексеевича: «20 лет тому назад» (т.е. приписка эта сделана незадолго до смерти). Внизу красными чернилами написано: «медаль». Последний абзац этой записи отмечен на полях теми же красными чернилами.

Возможно, что эти заметки послужили Бунину материалом для статьи «Нобелевские дни», напечатанной в его «Воспоминаниях» (Париж, 1950). О получении известия о присуждении

Бунину премии писала Вера Николаевна (См. «Новый Журнал», 67, 1962, «То, что я запомнила о Нобелевской премии»). Г.

¹ См. «Новый Журнал» кн. 108, 109, 110, 112.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ, 1933

В день получения prix Nobel.

Был готов к выезду в 4½. Заехали в Гранд-отель за прочими лауреатами. Толпа едущих и идущих на улице. Очень большое здание — «концертное»? Лауреатов (следующее слово написано неразборчиво, *М. П.*) провели отдельным ходом. Все три молодые. (Опять неразборчиво написанное слово, *М. П.*), который должен был произнести обо мне речь (Секр/етарь/ академии?).

В зале фанфары — входит король с семьей и придворные. Выходим на эстраду — король стоит, весь зал стоит.

Эстрада, кафедра. Для нас 4 стула с высок/ими/ спинками. Эстрада огромна, украшена мелкими бегониями, шведск/ими/ флагами (только шведск/ими/, благодаря мне) и в глубине и по сторонам. Сели. Первые два ряда золочен/ые/ вышитые кресла и стулья — король в центре. Двор и родные короля. Король во фраке(?). Ордена, ленты, звезды, светл/ые/ туалеты дам — король не любит черного цвета, при дворе не носят темного. За кор/олем/ и Двором, которые в первом ряду, во втором дипломаты. В следующем семья Нобель, Олейниковы. В четвертом ряду Вера. Галя, старушка-мать физика-лауреата. Первым говорил С. об Альфреде Нобель.

Затем опять тишина, опять все встают, и я иду к королю. Шел я медленно. Спускаюсь по лестнице, подхожу к королю, который меня поражает в этот момент своим ростом. Он протягивает мне картон и футляр, где лежит медаль, затем пожимает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает магния, нас снимают. Я отвечаю ему.

Аплодисменты прерывают наш разговор. Я делаю поклон и поднимаюсь снова на эстраду, где все продолжают стоять. Бросаются в глаза огромные вазы, высоко (?вероятно, описка при переписке, *М. П.*) стоявшие с огромными букетами белых цветов где-то очень высоко. Затем начинаются поздравления. Король уходит, и мы все в том же порядке уходим с эстрады в артистическую, где уже нас ждут друзья, знакомые, журналисты. Я не успеваю даже взглянуть на то, что у меня в руках. Кто-то выхватывает у меня палку и медаль и говорит, что это

нужно где-то выставить. Затем мы уезжаем, еду я с этой милой старушкой матерью. Она большая поклонница русской литературы, читала в подлиннике наших лучших писателей. Нас везут в Гранд-отель, откуда мы перейдем на банкет, даваемый Нобелевским Комитетом, на котором будет присутствовать кронпринц, многие принцы и принцессы, и перед которым нас и наших близких будут представлять королевской семье, и на котором каждый лауреат должен будет произнести речь.

Мой диплом отличался от других. Во-первых тем, что панка была не синяя, а светло-коричневая, а во-вторых, что в ней в красках нарисована (вероятно, нарисованы, *М. Г.*) в русском библиинском стиле две картины, — особое внимание со стороны Нобелевского Комитета. Никогда, никому этого еще не делалось.

1941 ГОД

1. 1. 41. Среда. «Встречали» Новый год: по кусочку колбаски, серо-сиреневой, мерзкой, блюдечко слинявших грибков с луком, по два кусочка жареного, страшно жестка (описка, конечно — «жесткого», *М. Г.*) мяса, немножко жареного картофеля (привез от Н. Н.), две бутылки красного вина и бутылка самого дешевого асти. Слушали московское радио — как всегда хвастовство всяческим счастьем и трудолюбием «Советского Союза» и танцулька без конца.

Позавчера речь Рузвельта. необыкновенно решительная. Нынче в газетах вчерашнее новогоднее послание Гитлера: «Провидение за нас... накажем преступников, вызвавших и длящих войну... поразим в 41-м году весь мир нашими победами...»

Небольшой мистраль. Красота гор над Ниццей.

3.1.41. С утра дождь и туман. После завтрака проглядывало солнце. К вечеру белые туманы в проходах Эстереля, море серо-свинцового тумана в долинах и горах в сторону Марсея. Перечитывал «Петра» А. Толстого вчера на ночь. Очень талантлив!

6.1.41. Понедельник. Дождь, сыро, серо, холодно, опять сижу при огне — «фонарь» с закрытыми ставнями, задернутой занавеской и ширмами... Англо-немецкая война все в том-же поло-

жении — бьют друг друга, как каждый день всю осень. Осточертело читать и слушать все одно и то же.

Японский м/инистр/ внутр/енних/ дел произнес речь на весь мир — «41 год будет самый трагический для человечества, если продолжится война и не будет возможности для Яп/онии/, Ит/алии/ и Германии организовать новый мир ко всеобщему благополучию». Последнее особенно замечательно.

22.1.41. Были по всей Европе страшные холода, снега. У нас тоже. Холод в доме ужасный, топить вволю нельзя, не чем: запасы наши угля и дров на исходе, дальше будут давать только 100 кило в месяц — насмешка! Все время ищем что купить. Но нечего! Находим кое-где скверный, сморщенный горох (и торговец и мы врем — «для посева»), ржавые рыбки, род селедочек и сардинок — и всё. Питаемся скверно.

Ждали, что немцы пройдут через Болгарию в Грецию. В Средиз/емном/ море их авиация работает уже — помогает итальянцам. Гитлер виделся с Мус/солини/ — «приняты важнейшие решения». Нынче вечером советск/ое/ и швейц/арское/ радио: англич/ане/ взяли Тобрук. Междоусоб/ная/ война в Румынии.

25.1.41. Суббота. Солнечный и уже теплый день. Вчера послал по воздуху заказное Цетлиным в Америку. Нынче — открытку Тане Муравьевой. Сходил опустить ее после завтрака в ящик возле женской обители. Сидел на подъеме к «Шомьер». Припекало. Тишина и грусть на душе.

При взятии Тобрука захвачено около 20000 пленных. Англичане идут дальше к западу.

Нападения на Англию притихли. «Затишье перед бурей»?

Гитлер, верно, уже понимает, что влез в опасную историю. Муссолини устал — чем-бы там дело не кончилось. Возможно, что и Абис/синию/ потеряет.

Вечер 11 Января/: выделились белые дома внизу, в окрестности, потемнела зелень камен/ного/ дуба у ворот, желтая луна на бесцветно-синем небе: ночью: луна оч/ень/ высоко, небо пу-

стое, огромн/ое/, на юго-в/остоке/ лучисто играет чистый голу-
бой брилл/янт/ Сирнуса.

26.1.41. Воскр. Солнечн/ый/ и теплый день. Ездил в Кани
на концерт Барсукова (с оркестром). Моцарт, Метнер. Потом
пили чай в англ/ийской/ кофейне...

28.1.41. Дождь, сыро, холодно. Вера чем свет уехала за
яйцами. Был о. Николай, святил дом.² Зуров подпевал при службе.

29.1.41. Последние деньги утекают... Серо, накрапывало...
В Норвегии голод, в Финл/яндии/ — голод... Вся Европа ввер-
жена в смертоносные битвы, голод, холод, рабство, муки...

30.1.41. Холод, дождь, туман. 889 фр. из Швеции — там
читали что-то мое для радио.

31.1.41. Пятница. Всю ночь проливи/ой/ дождь и буря.
И днем дождь. Ходили в город, истратил на покупки, — на
всяческую дрянь, — больше 100 фр. Чрезвычайно/ бодрое
английск/ое/ радио вечером.

*Следующие записи сделаны в трех толстых тетрадях в
коричневой обложке. На первой написано рукой Бунина: «1.
1.2.41. — 10.8.41 включ././ Дневник». Записи, видимо, сохрани-
лись в первоначальном виде, но дневник Бунина пересчитывал,
т.к. некоторые места подчеркнуты синим или красным каран-*

¹ Художница Татьяна Дмитриевна Муравьева, урожд. Логинова, написавшая воспоминания о Буниных (см. Литературное Наследство «Иван Бунин», кн. 2, Москва 1973), где она опубликовала письмо Бунина от 25.1.41. «Милая Танечка, я вас очень люблю и очень рад был нынче вашему письму и тому, что вы сравнительно благополучны. У нас тоже были большие холода, и мы порядочно страдали от них. Едим очень, очень скудно. По дому нашему прошел небольшой грипп — Вера, Марга, Галина, теперь Зуров. Вера вам скоро напишет — вы знаете, что она очень слаба и часто лежит от печени. Я очень, очень скучаю. Осенью писал, написал десяток рассказов, а куда их девать? А денег у меня осталось буквально гроши. Целую вас, как родную. Поклон вашему мужу. Ваш Ив. Б.»

² Бунины в то время жили на вилле Жанет, принадлежавшей англичанке.

дашом, а кое-где есть приписки простым карандашом, старческим уже почерком.

1.2.41. Непременно изменить жизнь, — не пить на ночь, гулять днем и перед сном — видел нынче в 2 часа, когда пошел с Бахр/аком/ в город, тонкий серп нов/ого/ месяца, будут, значит, светлые ночи и м/ожет/ б/ыть/ теплее, а то все был мрак и холод. С утра было сумрачно, к десяти разгулялось — солнце и тепло. Груды кремовых курчавых облаков (синизу серых), навалившихся на собачью гору над М. Карло.

И в Африке и в Греции продвижение англ/ичан/ и греков.

Гитлер в своей речи 30 янв/аря/ признал «неуспехи» итальянцев. Но это не важно, — все равно, сказал он, «en 1941 l'histoire connaîtra un ordre nouveau—il n'y aura plus de privilèges, plus de tyrannie . . . le monde aura le dernier mot.»¹

6 ч. вечера. Полчаса тому назад над М/онте/ К/арло/, над горами, было нечто гигантское, состоящее из белых клубов, по клубам озаренное красным. Что там, в северн/ой/ Италии? Сейчас завешивал окна — высоко, высоко мутный серп месяца — и «синие тучи на западе будут видны» (Андреевский) — синие тучи на закате. Да, это уже весна. И сердце вдруг сжалось — молодо, нежно и грустно, — вспомнилось почему-то время моей любви, несчастной, обманутой — и все таки *в ту пору* правильной: все таки в ту пору было в *ней*, тогдашней, удивит/ельная/ прелесть, очарование, трогательность, чистота, горячность... Впрочем, все это очень плохо говорю.

3.2.41. Мрачно, холод, дождь, Эстерель негнй от снега... Был в городе. Каждое возвращение отсюда с тяжелой сумой через плечо (бут/ылка/ вина, фрукты, овощи) на нашу крутую гору — великая мука.

По франц/узскому/ радио из Америки: вот-вот немецкое наступл/ение/ на Анг/лию/, у немцев десятки тысяч авианов,

¹ Эти слова подчеркнуты синим карандашом, который по свидетельству покойного Л. Ф. Зурова, Бунин употреблял в последние годы жизни. На полях простым карандашом у слов *de tyrannie* поставлен крестик и восклицательный знак, а с другой стороны, в конце цитаты написано: «Идиот и сумасшедший».

в первый налет пойдет 10 тысяч, во второй 18... Перенесена ко мне сверху печка угольная, а моя, деревянная, наверх. Читаю Шаховского (о. Иоанна) «Толстой и церковь...» Часто думаю с удивлением и горем, даже ужасом (ибо — не воротись!) о той тупости, невнимательности, что была у меня в первые годы жизни во Франции (да и раньше), к женщинам. То дивное, несказанно-прекрасное, нечто совершенно особенное во всем земном, что есть тело женщины, *никогда* не написано *никем*. Да и не только тело. Надо, надо попытаться. Пытался — выходит гадость, пошлость. Надо найти какие-то другие слова.

7.2.41. С Бахр/аком/ в Кани, завтракали там... жар/еный/ кролик с зел/еными/ бобами, компот (с сахаром) из анельсинов, хорошее кофе — давно так не ел! Счет — 150 фр. После завтрака дантист... вырвал мне зуб. Выпил флягу коньяку — опять!

Солнечн/ый/ день. Англич/ане/ взяли Бенгази (6-го вечером).

8.2.41. Солнечный и совсем теплый день. В городе купили еще 3 кило гороху (да Г/алина/ с М/аргой/ 2) — боюсь, что будет полный голод.

Вечером радио: разгром англичанами итальянск/ой/ армии, отступавшей из Бенгази.

6-го виде н на Cours итальянцев. Щеголи до блядства. Завтракали и обедали мы «роскошно», — съели по кусочку свинины (одно жесткое сало), ели салат.

9.2.41. Полдня тепло и солнечно, потом замутилось... Вечером слушали англ/ийское/ радио — речь Черчиля. Предостерегал Болгарию, через которую немцы, м/ожет/ б/ыть/, вот-вот прорвутся в Персию.

11.2.41. Адмирал Дарлан назначен Петэном «наследником». Почему *адмирал, главнокомандующий фр/анцузским/ флотом?*... Теплый день. С утра весь небосклон к югу и западу, под солнцем, был закрыт дымно-туман/пой/ тучей. Ходили в город — пустыня во всех лавках! Только вялый жесткий сельдерей. Сонливость — много потерял за посл/едние/ дни крови.

12.2.41. Среда. Вчера вечером англ/ийское/ радио: Франко

проехал по франц/узско~~й~~/ ривьере к Муссолини, Петэн выехал из Виши в свое поместье (близ нас) и будет иметь свидание с Франко на его возвр/атном/ пути. В чем дело? Нынче в газетах ничего нет об этом, но сказано, что Испания решила примкнуть к «Оси» в «мировой политике». Италиянк/ое/ сообщение: «итальянский народ в страшном гневе на англичан, бомбардировавших Геную, и *«накажет их жестоко»*.

23.2.41. Открытки от Веры Зайцевой¹ и Каллаш.² Вера: «J'sin gavin (жизнь гавно). Va bien».³ Каллаш: J'm brukvou va bien (жрем брюкву)...» 6½ вечера. Никогда за всю жизнь не испытывал этого: нечего есть, нет нигде ничего, кроме фиников или канусты, — хоть шаром покати!

24.2.41. Был в Кани. Пошел в порт, в рестораничик-бистро, прославившийся своей кухней среди богатых людей. Бедно, 4 столика, за конторкой седенькая жена хозяина, седой небритый хозяин, оба жили в России, вспоминают ее с восторгом и грустью, говорили (плохенько) по-русски. Жаловались: ни провизии, ни газа. Дали мне ½ б/утылки/ оч/ень/ хорош/его/ красного вина, салат из свеклы и рубл/еные/ кусочки курицы (кости гл/авным/ образом) и скверного «café national». Счет 44 фр.

...Ждал час билета и посадки в автобус (на горячем солнце). Дома гороховый суп и по 2 ломтика колбасы, сделанной из чорт его знает чего...

Кончил «Даму с камелиями». Ничуть не трогает, длинно, фальшиво.

25.2.41. Солнце, но холодно... Комментарии к речи (воскресной) Муссолини и к речи (вчерашней) Гитлера. Оба вождя выразили «уверенность в их конечной победе». Гитлер говорил, что ни генерал «Зима» ни генерал «Голод» не страшны Герма-

¹ Жена Бориса Константиновича Зайцева.

² М. Каллаш, журналистка и писательница по вопросам религиозного характера.

³ Переписка на иностранных языках была в то время запрещена. Писали открытки, на которых, как на формулярах, были напечатаны вопросы со свободными местами.

нии, и что с помощью Провидения англичане будут разбиты повсюду.

26.2.41. Среда. Проснулся в 8, не доспал, но решил встать, начать раньше ложиться и вставать раньше. Очень тосковал вчера перед сном. Дикая моя жизнь... Утром туман, дождь. Так холодно, что мерзнут руки.

Вечером. Синяя муть (грядой) на западе, над ней муть красно-оранж/евого/ неба, выше небо зеленоватое.¹

1.3.41. Ровно год тому назад начал записывать более или менее правильно события дней. Целый год тому назад! И мог ли думать, в каком положении буду писать через год!

Проснулся в 8, выпил ту бурду, которая называется теперь кофеем, и опять заснул часа на полтора.

Серенький, сравнительно теплый день. Больна Вера, — насморк, кашель, легкий жар, а все-таки бегала нынче на базар. В первом часу радио: Болгария присоединилась к Германии, Италии и Японии! Очевидно, немцы пойдут через нее на Грецию...

2.3.41... Присоединение Болгарии к «тройственному пакту» подписано вчера в Вене в половине второго... Серьезный денек был вчера!

4.3.41. Вторник. Немцы на границе Греции. Вечером англ/ийское/ радио: разрыв дипломат/ических/ отношений Англии с Болгарией, объявление Англией ей войны.

Ночь, молодая луна, мистраль.

Дневники 86 и 87 года.²

6.3.41. Четверг. Вчера завтракал в Кани... Очень глупо кое-что болтал, выпил почти бут/ылку/ красн/ого/ вина. Потом в англ/ийском/ кафе джин за кофеем, потом в кафе против вокзала vieux porto. Приехав, накупил вина, опять пил. Проснулся ночью, лежал в страхе, что могу умереть.

День был солнечный и свежий. Нынче такой-же.

¹ Этот абзац приписан сбоку теми же чернилами.

² См. запись от 8.3.41.

Опять думал, посидев минут пять в саду и слушая какую (видимо, «какую-то» М. Г.) весен/нюю/ птичку, что много представления о Боге, кроме Толстовского (его посл/едних/ лет), не выдумаешь. Божественность жизни этой птички, ее песенки, ума, чувств.

За посл/едние/ дни уже много цветущ/ей/ мимозы.

8.3.11. Вчера весь день холод, дождь, туман, вечером долго гремел гром. Переписал кое-что с истлевших, чудом уцелевших клочков записей конца 1885, начала 1886 и конца 1887 гг. и с болью сердца, поцеловав, порвал и сжег их.¹ Продолжал вспоминать и записывать дни и годы своей жизни. Нынче с утра тоже дождь, тучи, туман, сейчас (к вечеру) распогодилось.

Принца Павла вызывал к себе Гитлер. Хозяин Европы вызывает! Что-то выйдет из этого вызова? Англию, конечно, бомбардируют, — *изо дня в день, восьмой месяц!* Англичане отвечают тем же. Быстро продвигаются в Абиссинии...

9.3.11. Воскр/есенье/. Так холодно, что затопил с утра. Облака, тучи, просветы, иногда дождь. В газете ничего особенного. Бьют итальянцев в Албании и Африке. Вчера в 10 ч. 50 вечера через Ниццу провезли в Испанию гроб Альфонса. Несколько дней тому назад бывший румынск/ий/ король бежал на автомобиле из Испании в Португалию («avec Mme Loupesku»). Короли бегают!

Три раза в жизни я был тяжело болен по 2, по 3 года подряд, душевно, умственно и нервно.² В молодые годы оттого так плохо и писал. А нищета, а бесприютность почти всю жизнь!

¹ Большая часть этих записей вошла в книгу Веры Николаевны «Жизнь Бунина», Париж, 1958.

² Вопрос о душевной болезни в его семье, видимо, интересовал Бунина. Среди его бумаг сохранилась страничка со следующей записью: «Полусумасшедшие, в старости «тронувшиеся» из моих родных: — Николай Дмитриевич (мой дед по отцу), его братья Алексей и Владимир Дмитриевичи и его сестры, Ольга и Олимпиада; Анна Владимировна (дочь Владимира Дмитриевича), больная чудовишной толщиной и сонливостью; Варвара Николаевна (сестра моего отца); Анна Николаевна Чубарова, рожденная Бунина, моя бабка по матери... Некоторые из них «тронулись» только к старости».

А несчастные жизни отца, матери, сестры! Вообще, чего только я не пережил! Революция, война, опять революция, опять война — и все с неслыханными зверствами, несказанными низостями, чудовищной ложью итд! А вот старость и опять нищета и страшное одиночество — и что впереди!

10.3.41. С утра ужасный холод, дождь. Сейчас (4 ч. дня) с запада расчистило, солнце. Но ветер все еще с Италии и, если не повернет, не пойдет с Марселя, не жди ничего хорошего! Очень грустное впечатление осталось и еще держится от переписки с клочков моих полудетских записей (1885, 86, 87 гг.). Очень жалко себя.

11.3.41. Солнечное утро, безоблачно/ое/ небо. Сейчас десять минут двенадцатого, а Г/алина/ и М/арга/ и Бахрак только что проснулись. И так почти каждый день...

Газеты: Франц/узское/ правит/ельство/ решило ни в коем случае не дать Англии захватить франц/узский/ флот и охранять торгов/ые/ корабли военными. Значит Англия намеревается захватить флот? «Лихорадочно» укрепляется Гибралтар...

Греческий премьер заявил, что Греция не уступит ни метра своей «священной земли». Значит, *немы* готовятся вторгнуться в Грецию? Югославия подписала с Германией пакт о ненападении и экономический... Рузвельт через югославского посла обратился к принцу Павлу, чтобы тот держался, ибо он, Р/узвельт/, уверен в победе Англии: это последнее сказано в швейц/арской/ газете — во французских об этом ни слова.

После завтра (видимо, описка — завтрака, М. Г.) по саду. Довольно жаркое солнце. Две ящерицы. Птичка сладко поет, уже по весеннему. За домом цветет большое старое миндальное дерево — издали кажется, будто бумажными бело-розоватыми цветами. Зеленые подушки из мелкой зелени в мелких ярких фиолетовых цветах.

12.3.41. Вчера вечером был с Бахр/аком/ в городе, в том синема, где не был целых 7 лет слишком, — после того дня, когда сидел в нем с Г/алиной/ и вдруг в темноте вошел Зуров и сказал: «телефон из Стокгольма, Ноб/елевская/ премия дана

вам...» Вчера там пели, играли и плясали испанцы. Заснул в час выпив — опять! — рюмок пять водки. Нынче проснулся в 8½ но довольно хорошо себя чувствуя... Солнечно не яркий день, довольно тепло — уже по весеннему.

Газета: опять о том, что Франция будет защищать франц/узскую/ Африку (официально/, из Виши). От *кого* защищать?... Возобновление греческой активности в Албании.

16.3.41. Воскр/есенье/. Все дни почти сплошь солнечные, но с прохл/адным/ ветром. Нынче теплее всего. Все дни ничего не делал — верно, от потери крови. Читал «Р/усскую/ Мысль» за 904 и 905 г. ...Рассказы в «Р/усской М/ысли/» ужасны. Даже не ожидал, что это такое было. ...На счет питания совсем скверно. Я очень похудел.

17.3.41. Солнечно, облака, почти совсем тепло. Утром прогулка через лес. Греки сообщают о провале итальянск/ого/ наступл/ения в Албании... Англичане продвигаются к Аддис-Абебе. ...Гитлер опять говорил — «в день героев» (вчера). Опять обрисовал положение Германии после Версаля, опять сказал, что Герм/ания/ «все таки» не хотела войны, что ответств/енность/ за нее падает на таких господ как Черчилль и на масонов и на евреев; затем «выразил веру» в победу Германии, в новое, прекрасное устройство Европы после победы... Говорил вчера вечером и Рузвельт о помощи Англии, Греции и Китаю, — с необыч/овенной/ твердо /описки: твердостью, М. Г./ сказал, что Америка даст им «все, все...»

19.3.41. Солнечный холодный день.

Вчера перед /здесь слово пропущено, М. Г./ начал писать «Натали Станкевич», писал и после обеда почти до часу, пил в то же время коньяк, спал мало, нынче еще не выходил на воздух (а сейчас уже почти пять), все писал — словом, веду себя очень глупо, но, дай Бог не сглазить, чувствую себя не плохо: верно оттого, что принимаю уже дней пять «Панкриноль», по три ампулы в день.

Вечер. Обед: голый гороховый суп, по две ложки шпинату, вареного в одной воде и ничем не приправленного, по одной кудре такой-же цветной капусты, по 5 фиников.

В каких страстных родах двух чувств — ненависти к врагам и любви к друзьям — живу я почти непрестанно уже больше четверти века, — начиная с 14 года!

24.III.41. Сейчас, в 10 вечера, проветривал в темноте комнату, стоял возле открытого окна — дружно орут первые лягушки. Весна. Все посл/единие/ дни солнечно, но все еще прохладно не на припеке. Все дни сидел почти не вставая, писал «Натали».

4.IV.41. Пятница. В шесть вечера кончил «Натали». Серо, холодный ветер, то и дело по стеклам дождь.

31 марта послал заказное в Вииши насчет денег мне из Белграда и такое же грасскому сборщику податей о своих доходах за 40-й год — не показал, разумеется, ни чего...¹

7.IV.41. Понедельник. Вчера в 12½ дня радио: немцы ночью вторглись в Югославию и объявили войну Греции. Начало страшных событий. Сопротивление сербов будет, думаю, чудовищное. И у них 7 границ и побережье!

В 4 поехал в Кани, отвез Барсукову, едущему в Америку, накет с рукописями всей своей новой книги — кроме «Натали», для передачи Алданову. Второй отдел кончается 185-ой стр.² Забыл: вчера же другая огромная весть — англичане взяли в субботу вечером Аддис-Абебу.

11.IV.41. Пятница (католическ/ая/ Страстная). Проснувшись около 8, лежал, покорно думая: ну, что ж, если даст Бог веку, надо жить, смирившись... Потом некоторое утешение.

В 10 прошелся по «Дороге Наполеона». Полнолуние, вся долина в тонком тумане, во впадинах полосы бело-голубого тумана. Еще раз (кажется, окончательно) перечитал (днем) «Натали», немного почеркал, исправил конец последней главы. Пишу в первом часу ночи, очень усталый и грустный, в ожидании, что скажет англ/ийское/ радио.

12.IV.41. Солнечное утро, но не яркое, не ясное, облака.

¹ Придерживаюсь особенностей правописания Бунина, изменяю только орфографию.

² Речь идет о «Темных Аллеях». Этот абзац отмечен на полях красным карандашом.

Австрия, Чехия, Польша, Норвегия, Дания, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция, теперь на очереди Сербия и Греция — если Германия победит, что будет с ней при той ненависти, которой будут одержимы к ней все эти страны? А если не победит, то дальше и думать страшно за немецкий народ. В Белграде, пишут газеты, сейчас *тысячи* трупов под развалинами — простят это сербы? Да, еще Румыния, Венгрия — 13 стран!

18.IV.41. ...Избегаю читать газеты и слушать радио. ...По огородам уже давно висят подушки мелких фиолет/овых/ цветочков; зацвела сирень, нудино дерево, каштанчик весь в нежнейшей зелени, рядом деревцо все в зеленовато-корич/ево/й/ листве и розовых цветах — нарядно удивительно. В полдень радио: югославск/ая/ армия сдалась.

20.IV.41. Св. Христово Воскресение. ...С утра пухлые облака, солнце, сейчас (полдень) серо, тихо, неподвижно. Дубы дымчато засерели зеленью... Тобрук еще держится, греческий фронт тоже.

23.IV.41. Среда. 34 года тому назад уехали в этот день с Верой в Палестину. Боже, как все изменилось! И жизни осталось на донышке...

27.IV.41. Воскресенье. В шестом часу вернулись с Верой от Самойловых — завтракали (курица под белым соусом). С утра солнечно, но дуло холодным ветром, вроде мистралья. Г/алина/ сказала: слушали радио — на Акрополе немецкий флаг. Вот тебе и Англия. Сейчас (около шести) тихо, слабое закатное солнце на равнине, все неподвижно. И также неподвижно, грустно-покорно на душе. С гру, что умер Шмелев.¹

Нет больше ни Югославии, ни Греции. Все погибло в один месяц.

2.V.41. Солнце, довольно слабое, облака. ...Начал еще раз перечитывать «Темные Аллен». Перечитал и кое-где почеркал весь первый отдел.² В пятом часу чуть не час гроза: фиолетовое с белым полированным блеском мельканье, затем, через не-

¹ Слух этот был неверный.

² Подчеркнуто синим карандашом.

сек/олько/ секунд, удары с затяжкой, разрывы, тяжкий стук и дребезг стекол и раскаты с одной стороны неба на другую,ходящее шипение.

12 тысяч немцев с танками и прочим/ в Финляндии — это в швейц/арской/ газете — будто бы идут на отдых из Норвегии. Предостережение Сталину? В пять минут возьмем Штб., ежели ты...?

6.V.41. ...За последние дни еще раз перечитал, поправляя, почти всю книгу «Темн/ые/ Аллен».

13 Мая. 41. Ночью вчера англ/ийское/ радио: улетел, сбегал Хесс, унал на парашюте в Англии, сломал себе ногу. Непонятная история.

Был дождь и гроза. Серо, влажно. Птицы, соловей.

Мой вес 10 июня 1940 г: 72-71.³ ...Ходили в город, добывали напирасы. Очереди, хвосты. Серый табак стоит уже 6 фр.

14.V.41. Среда. Вечери/ее/ русское радио: в Швеции скоро не будет мяса. Да, через полгода *вся* Европа — и Германия в том числе — будет околевать с голоду. «Nouvelle Europe»!

Америка, очевидно, вот-вот войдет в войну.

Жалкая посылка (нынче утром) из Португалии: колбаса, пакетик картофельной муки, 2 маленьких плитки шоколада, пакетик чаю — *все самого дрянного качества*. Но и то праздник!

16.V.41. Был с Бахр/аком/ в Кани, сидели с Кантором⁴ в «Кларидж», потом в кафе «Пикадили» ..Съели с радостью и удивлением по 2 бутерброда — с яйцом и с сардинкой. Красавица в платье с маргаритками — маргаритки по красной блузке и марг/артики/ по синей юбке.

10½ часов вечера. Зуров слушает русское радио. Слушал начало и я. Какой-то «народный певец» ...живет в каком-то «чудном уголке» и поет: «Слово Сталина в народе золотой течет струей...» Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну!

Прочел еще одну книжку Марсея Прево «Письма женщины» .Пошлое ничтожество. И был славен.

³ Эта фраза обведена чернилами, теми же, которыми написан основной текст.

⁴ М. Кантор, журналист и издатель.

17.V.41. Суббота. Мутный день с ветром.

Письмо от П. Б. Струве из Белграда — от 1 Апреля. ...Скучно — и все дивисься: в каком небывало позорном положении и в каком голоде Франция!

22.V.41. Четв/ерг/, Католич/еское/ Вознесение. ...С Ривьеры высылают куда попало 2 тысячи евреев. Перед завтраком заходил к Полонским,¹ в отель «Виктория». Когда-то жил тут Боборыкин,² жил в ту зиму, когда мы с Найденовым³ были в Ницце... Кончил перечитывать «Мадам Бовари», начал перечитывать «Былое и думы». У Герцена многое очень скучно. Перечитываю, скорее всего, в последний раз в жизни — немного мне осталось лет... Почти 12 ч. ночи (по новому времени). Днем было голодно, хочется спать, но м/ожет/ б/ыть/, дождусь англ/ийского/ полночного радио.

Лягушки, сыро, облака и звезды. Вот уже скоро 2 года — ни одного немецкого поражения!

25.V.41. Воскресенье. Будто бы потоплено в Средиз/емном/ море много англ/ийских/ военных судов и в Атлант/ическом/ океане самое большое. На Крите бои еще идут. «День матерей». Чуть не весь день этот грасский колок/ольный/ звон (как часто в мае). Погода к вечеру немного портится — ветер пошел с Италии. Множество роз у нас в саду — белых, розовых, темно-красных.

В/ера/ принесла утром кусок белого хлеба — выдавали бесплатно, по карточкам — хлеб из белой муки, подаренной Франции Америкой. Чудесный хлеб! Мы едим отвратит/ельный/, кислый, желто-серый.

3.VI.41. Послал по воздуху заказное Алданову — о том, что у меня не осталось почти ни гроша.

5.VI.41. Слабость, сонливость, подавленность.

Все гадают: что дальше? Кипр?

Маки вдоль стены тисов перед нашей часовней — яркий

¹ Я. Б. Полонский, общественный деятель.

² П. Д. Боборыкин, писатель.

³ Драматург, автор пьесы «Дети Ванюшина».

огненный цвет (на солище с оранжевым), их легкость. В саду много роз: чайные (палевые), белые с легким зеленоватым оттенком. Палевые, высыхая, желтеют (цвет желтка).

6.VI.41. Перечитал: Натали, Галя, В Париже, Генрих.

12.VI.41. Ездил в Ниццу, завтракал с Еленой Александровной Розен-Мейер, рожденной Пушкиной — дочь А. А. Пушкина, родная внучка Александра Сергеевича.¹

15.VI.41. Вчера у нас завтракала и пробыла до 7 вечера Е. А., эта внучка Пушкина.²

16.VI.41. Понед. вечер. Прошлый год мы в этот вечер были в Ниме, по пути куда-то к чорту на рога.³

Презрение первых христиан к жизни, их отвращение от нее, от ее жестокости, грубости, животности. Потом варвары. И уход в пещеры, в крипты, основание монастырей... Будет-ли так и в 20, в 21 веке?

21.VI.41. Суббота. Везде тревога: Германия хочет напасть на Россию? Финляндия эвакуирует из городов женщин и детей. Фронт против России от Мурманска до Черного моря? Не верю, чтобы Германия пошла на такую страшную авантюру. Хотя чорт его знает. Для Германии или теперь или никогда — Россия бешено готовится.

Послал телеграмму Алданову: «Pas nouvelles, ni argent». 12 слов, 77 фр. В городе купили швейц/арские/ газеты: «отношения между Герм/анией/ и Россией вступили в *особенно острую* фазу». Неужели дело идет всерьез?

С некоторых пор каждый день где-то в Грассе ревет корова. Вспоминается Россия, ярмарки. Что может быть ксучнее коровьего рева! Одиннадцатый час вечера: Швейц/арское/ радио о падении Дамаска.

Туманный вечер, еще не совсем стемнело (ведь наши часы на 2 часа вперед), множество люциолой: плывут вверх, вниз,

¹ См. запись от 25.7.40 — «Новый Журнал» № 111, стр. 149.

² См. приложение в конце этой публикации.

³ См. «Новый Журнал» 11, стр. 149.

вспыхивают желто-зеленовато, гаснут и опять вспыхивают; от них в деревьях, в тени темнее, таинственнее.

22.VI.41 2 часа дня. С новой страницы пишу продолжение этого дня — великое событие — Германия нынче утром объявила войну России¹ — и финны и румыны уже «вторглись» в «пределы» ее.

После завтрака (голый суп из протертого гороха и салат) лег продолжать читать письма Флобера (письмо из Рима к матери от 8 апр. 1851 г.), как вдруг крик Зурова: «И/ван/ А/лексеевич/, Германия объявила войну России.» Думал, шутит, но то же закричал снизу и Бахр/ак/. Побежал в столовую к радио — да! Взволнованы мы ужасно...

Тихий, мутный день, вся долина в беловатом легком тумане. Да, теперь действительно так: или пан или пропал.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

О Елене Александровне Розен-Мейер, или как Бунин называл ее Пушкиной, речь будет и в других записях. Интерес Бунина к потомкам Пушкина не ограничивался ею. Среди его бумаг сохранились 3 письма Николая Александровича Пушкина, с женой которого была дружна Вера Николаевна. На двух письмах рукой Пвана Алексеевича приписано: «Родной внук Александра Сергеевича». Особенно интересно письмо П. А. Пушкина от 21 сентября 1949 из Брюсселя:

«Глубокоуважаемый Пван Алексеевич!

Жена передала мне, что Вас интересует судьба моей бабушки Паталии Николаевны после смерти деда Александра Сергеевича. Как Вам известно, бабушка осталась вдовой с четырьмя малолетними детьми: Марией, Александром (моим отцом), Григорием и Паталией. Из них старшей Марии было шесть, младшей Паталии около года. Опекуню детей был сам Государь Николай Павлович, а его доверенным по этому делу лицом граф Строганов. Благодаря их усилиям очень большое само по себе, но невероятно расстроенное двумя поколениями вла-

¹ Эти слова подчеркнуты красным карандашом.

дельцев состояние Пушкиных было приведено в порядок и ко времени окончания моим отцом и дядей Пажеского Корпуса и выхода их в 1-ю. Конный полк все наши имения Нижегородские, Псковские и Московские были совершенно очищены от долгов и закладных. Государь также обеспечивал жизнь бабушки до ее замужества с ген. Петром Петровичем Ланским. От второго брака бабушка Наталья Николаевна имела еще трех дочерей: Александру, Елизавету и Софию. Из них Александра Петровна была замужем за ген. Иваном Петровичем Араповым; Елизавета Петровна первым браком вышла замуж за другого ген. Арапова, а вторым за ген. Бибикова; младшая сестра София Петровна была женою Финляндского ген. губ. Шилова. Из сестер Пушкиных старшая Мария Александровна была замужем за начальником Московского Коннозаводства ген. Гартунгом, а вторая Наталья Александровна первым браком за ген. Дуббельта, вышла потом замуж за герцога Николая Нассауского.

Со своим вторым мужем бабушка Наталья Николаевна прожила очень счастливо и все братья и сестры Пушкины и Ланские были чрезвычайно дружны между собою. Мой отец первым браком был женат на племяннице своего отчима Софии Александровне Ланской, а после ее смерти женился на моей матери Марии Александровне Павловой, двоюродной сестре соотрудника «Нового Времени» дворянина Павлова.

Мне остается только сказать, что бабушка Наталья Николаевна скончалась в 1863 году, простудившись на крестинах моего старшего брата Александра Александровича, которого Вы, вероятно, знали по Москве, где он был /следует неразборчиво написанное слово, М. Г./ Предводителем Дворянства. Вот кажется, и все, но если бы Вы хотели получить еще какие-нибудь сведения, то скажите, что именно Вас интересует, и я с удовольствием Вам сообщу, что знаю...

Все эти детали интересовали Ивана Алексеевича Бунина и потому, что он был ценителем творчества Пушкина, но и потому, что через упомянутого в письме Николая Александровича Пушкина «дворянина Павлова» он сам был связан с по-

томками Александра Сергеевича. Среди писем к Бунину есть 5 писем, от Павлова, на двоюродной сестре которого вторым браком женился сын Пушкина Александр, тот самый «Сашка», о котором в своих письмах говорит Пушкин. К одному из писем Павлова прикреплена записка, написанная Буниным. В ней сказано:

*«Дед Павлова по матери — моряк Ив. Петр. Бунин, брат А. Петр. Буниной, поэтессы. Мать Павлова Вера Ив. Бунина, вышедшая замуж за Павлова. Дед Павлова по отцу — Ник. Анат. Бунин, женился: «Мой дед Иван Павлов женат был на Варваре Анатольевне Буниной»».*¹

Не удивительно, что Бунину было не только интересно, но и приятно установить, что род Пушкина хотя бы отдаленным образом встретился с родом Бунина.

(Продолжение следует)

М. Грин

¹ Это утверждение, поставленное в кавычки взято из письма Павлова Бунину. На этой же записке карандашом приписано «Меня в огонь!». Об этом Бунин будет говорить в одной из последующих дневниковых записей.

ПИСЬМА АРТИСТА МХТ Н. Ф. КОЛИНА

Эти письма известного артиста МХТ Н. Ф. Колина мы получили от его близкого друга Константина Евгеньевича Аренского и печатаем их с его предисловием. К. Е. Аренский выпустил в США две интересные книги: Письма в Холливуд. По материалам архива С. Л. Бертенсона и С. Л. Бертенсон. В Холливуде с В. И. Немировичем-Данченко. Мы приносим благодарность К. Е. за передачу нам для печати исключительно интересных писем покойного Н. Ф. Колина.

РЕД.

В июне месяце 1973 года, в возрасте 95 лет, скончался старейший артист Московского Художественного Театра Николай Федорович Колин. Колин родился 7 мая 1878 г. в Петербурге где учился в гимназии и далее в Учительском институте. Позднее, он переехал в Москву вступив в труппу М. Х. Т. Пмя Колина прочно вошло в историю русского театра и многие из его ролей (Двенадцатая ночь, Сверчок на печи, Село Степанчиково и др.) служат образцом актерского совершенного мастерства.

С приходом к власти большевиков Н. Ф. покинул Россию, переехав в Париж, где начал работать в кино и очень скоро завоевал известность и любовь публики. Французская пресса писала о нем восторженные статьи и называла «великим Колиным». Действительно, в таких фильмах как «Кин» или «600 тысяч в месяц» Н. Ф. создал незабываемые образы

С появлением звукового кино возможности Колина, как и большинства русских актеров, сократились из-за несовершенного знания иностранного языка или из-за акцента. С больших ролей пришлось перейти на второстепенные, но и в них Н. Ф. выделялся из общей среды, всегда ярко отделанным, до мелочей, образом, подтверждая слова своего учителя К. С. Станиславского, что нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры.

Незадолго до начала войны Н. Ф. подписал контракт с кино-фирмой «УФА» в Германии и оттуда уже не смог вернуться «домой» в Париж. После войны он снимался в крупных гер-

манских фирмах, преимущественно в «Бавария Фильм», имея у немецкой публики неизменный успех. Но условия жизни в послевоенной Германии заставляли Н. Ф. покинуть Европу. С большими трудностями это удалось и в 1956 г. он ступил на землю США. Здесь Н. Ф. уже не работал ни в театре, ни в кино, он был уже в преклонном возрасте.

В 1965 г. Н. Ф. потерял своего верного друга-жену Тамару Гавриловну, с которой дружно прожил 49 лет. Это окончательно подорвало его душевные силы. В течение многих лет я регулярно переписывался с Н. Ф. Его письма, думаю, представляют большой интерес для людей интересующихся русским театром. Из писем выпущена часть посящая чисто личный характер, чем и объясняется некоторая отрывочность публикуемого.

К. Аренский

25 мая, 1948

Дорогой Константин Евгеньевич!

Да, Париж... Париж город сверхъестественный. Прожил в нем почти 20 лет, сжился с ним, полюбил его всеми фибрами своей души. Здесь началась и кончилась моя кинематографическая карьера (немой фильм). Достиг высот необычайных и с приходом говорящего фильма тихо спустился вниз. Сказка кончилась.

20 лет пребывания в Париже не сделали из меня француза. Говорил по-французски сносно, но не на пять с плюсом, как это требуется в кино. Начал сниматься (наездами из Парижа) в других государствах, с более легким, удобным для меня языком, в Праге, Вене, Берлине. Занимаясь чистым искусством, не видел и не замечал как тучи сгущаются и надвигаются грозные события. И вот однажды поехал в Берлин в «УФА», а назад, домой, и не приехал. Так с тех пор и сижу здесь. Пережил в Германии все ужасы и перипетии этой страшной войны, кошмарного конца ее и теперь переживаю мир безславный и вместе с немцами расплачиваюсь за их грехи и промахи. Конечно, мы с вами на ноги здесь не станем. Все взоры направлены «туда». Но как? Вот в этом то все и дело.

Разыскиваю всех своих приятелей, разбросанных по белу свету. Увы, все время натыкаюсь на могильные кресты. Но

надежды не теряю. Никто не знает своего будущего. Может еще вместе с вами, на одном пароходе поплывем куда-нибудь по океанским водам. Все равно, в Нью Йорк так в Нью Йорк, в Буэнос Айрес так в Буэнос Айрес. Все равно куда, лишь бы вырваться из этой ямы.

22 декабря, 1952

Не писал вам потому, что именно снимался. Картина была длинная, нудная, скучная, никчемная. Только одна знаменитая Зара Леандер впереди с ее басовым голосом, а мы все где-то далеко сзади, на задворках. Старушка держится как королева, не здороваются ни с кем, а только кивает небрежно головой, не глядя. Не интересуется никакими контактами с партнером и понимает сценарий так: «Фильм это я, а другие... не понимаю, зачем они здесь?» Играет она оригинально: стоит перед аппаратом на полароидина, глядит в аппарат, что-то переживает, а ее партнеры бегают сзади, что-то бормочат, будто бы любят ее, будто бы ревнуют, будто бы что-то делают. А камераман с утра до ночи возится с лампами, прожекторами, щитами, стараясь убрать или спрятать морщины и сделать из этого лица конфетку. А мы, все таки занятые в этой картине, должны сидеть, ждать и томиться. А режиссер? Он тут, сидит, молчит и тоже томится и думает: «зачем я не умер маленьким?!». Придешь домой после съемки с этой... Зарой, плюнешь, вымоешься, перекусишь и спать.

Напишите ради Бога, кто этот наисимпатичнейший Барский, подписавший нам афидевит? Видел ли он меня? Слышал ли обо мне? Или вы каждый день долбили ему, что, дескать, Колин — это штука! Это вам не фунт изюма! Колин все может! Колин ка-ак даст! Вы все таки время от времени говорите ему, что вот он (это я) снимается много и даже с этой... Зарой Леандр и все это для того, чтобы не подвести своих поручителей.

Теперь о самом главном: где в Америке, особенно в Калифорнии, существуют бега? (Это значит лошадки бегают, а не ДиПи от Сталина). Не смешивайте со скачками, хотя и скачки меня тоже интересуют. Не случайные бега, а регулярные т.е. и летом и зимой и во всякую погоду. Это моя вечная страсть.

10 апреля, 1953

Дело обстоит не в «не хочу писать», а в «не могу писать». Во-первых хандра, какая то растерянность и нежелание что-то делать, предпринимать, суетиться. Все хочется кого-то поймать за грудки и... объяснить ему! Во-вторых, — картина, которую только что кончил и которая заняла у меня все время без остатка. Снимался все время в цирке Кроне, и потому на время съемок пришлось переехать в Мюнхен. Играл старого клоуна. Сцены мои, главным образом, не на публике, а в его клоунском домашнем быту. Добрый, хороший, милый. Но есть сцены и на арене. У клоуна т.е. у меня, у моей внучки 6-ти лет (которую я обожаю и души в ней не чаю) и еще лошади-пони, есть номер, который мы весело исполняем каждый вечер. (Девочка чудесная, поет, танцует). Я тоже пою!? Есть такая сцена: во время представления в конюшне пожар. Девочка бросается спасать свою лошадку. Я повсюду ищу девочку и вижу к своему ужасу, как ее выносят без чувств из пылающей конюшни. А представление идет. Меня хватают за шиворот и выталкивают на арену. Я не знаю жива она или нет. Я с гармошкой. Не знаю что делать и начинаю петь колыбельную песенку, которую пою девочке каждый день. Я пою и реву...

Сейчас картина монтируется и монтажницы мне говорят: «Клеим и плачем». Таким образом открылся новый талант: Kammersinger.

Уже получил предложение выступить по радио, а сейчас получил телеграмму с предложением напеть песенку на пластинку. А ведь картина то ЕЩЕ НЕ ВЫШЛА. Теперь несколько слов о том как она снималась: цирк, холодище, сквозняки. А я ведь чувствителен к малейшему дуновению воздуха, сейчас же кашель, насморк. К тому же я как раз после гриппа. И вот несколько ночных съемок на улице. Я в клоунском легком, на «свинячьем визге» костюмчике, с открытой шеей, с непокрытой из-за парика, головой, стою, дрожу прикрытый одеялом. И пошел снег с дождем. Прекратить съемку нельзя — дорого стоит. И так с 10 вечера до 5-ти утра. Одеяло скоро выбыло из строя. Сам я мокрый, за шиворот льет, спрятаться негде. Забежишь на минутку в фургон и уже кричат: «Ко-о-олин! Где Колин?». Когда девочку выносят из пламени, я смотрю в ужасе и крещусь. Я крестился и молился по настоящему: «Господи, спаси, погибаю».

Ни один человек не выскочил из этой съемки целым. Три четверти получили грипп, а кашель и насморк у всех поголовно, у актеров, у персонала, у рабочих. Только один был как стеклышко, как огурчик — я. Вот и не верь в Божьи чудеса!

Апрель, 1959, Наяк, Нью Джерси

Если у вас жизнь серенькая, то что же сказать про нашу? Вы все-таки возитесь с приятностью с «Мертвыми душами», а нас окружают живые морды. С балетом здесь все с ума сошли. Ничего подобного, будто бы, никогда не было. Люди не видевшие Павлову, никогда не слыхавшие о Дягилеве и Фокине и его детищах, с апломбом говорят, что все это нужно **ВЫЧЕРКНУТЬ**. Павлова, видите ли, была манекен с ничего не выражавшей физиономией, а вот Уланова играет и лицом и ногами и человек сидящий в театре все понимает. Ну что же тут можно возразить?

В этом году исполняется 60 лет со дня основания М.Х.Т. Весь театральный мир Нью Йорка в брожении. Станиславского разбирают и вкривь и вкось. Критика его системы. И никто в сущности не имеет понятия, что такое «Система Станиславского». Она преподается в здешних школах, но Боже мой, что они преподают! Всё их знакомство с «системой» заключается в том, что они один раз в жизни прошли по Камергергскому переулку мимо Художественного театра. А есть один актерик очень хорошо знавший Константина Сергеевича, работавший с ним много и в театре и на квартире у него, весь напитанный его системой, записанной у него в особой тетради. Но... его никто не спрашивает и им никто не интересуется. Sorry!

14 марта, 1962

...Что нельзя читать газету, это м.б. к лучшему. Возьмешь газету — плюнуть хочется. Куда мы идем? За что боролись? Уже зашли в такие тупики, что и вылезти невозможно. Спасибо большое за книжечку «Музей М.Х.Т.», я ее уже имел в руках. Перелистывал без большой радости. Себя не нашел даже смотря в большую лупу. Не нашел и моего большого друга и прекрасного актера Болеславского, без которого не было бы 1-й студии М.Х.Т. Не нашел и многих других. Пьесы, в которых мы участвовали, есть, а нас нет. Мы отверженные, оглашенные, проклятые. За то те, кто остались, все стали знаменитыми,

заслуженными и даже гениальными. Я не беру во внимание «стариков» — Качалова, Москвина, Станиславского. Они для меня остались великими и не мне их судить. Я говорю о молодежи, о заместителях «стариков». Недавно, например, в Новом Русском Слове прочел, что в Москве умер знаменитый, лучший в России режиссер (?) профессор Алексей Дмитриевич Попов. Для меня он был просто Алешка Попов, бездарный как пробка и бездарный настолько, что через год после бесплодного хождения по корридорам М. Х. Т., его вызвал Немирович-Данченко и посоветовал поискать себе какое-нибудь другое занятие. (Сам Попов пишет об этом в своих воспоминаниях). Исчез, но через год опять появился. Какая-то «рука» упростила Немировича взять его на пробу еще раз. В это время возникла 1-я Студия М. Х. Т. Каждый молодой актер уже мог показать себя. Мы тоже приглядывались к Попову (говорю «мы» т.к. 10 лет безмерно был одним из членов Правления Студии) и даже дали ему сыграть маленькую вещичку-диалог «Неизлечимы» (кажется Лескова). Получилось не то чтобы серо, бледно, а никак. Пришли большевики. Попов сразу перекинулся к ним и пошел, пошел. Стал быстро «большим», потом «заслуженным», и умер «профессором» А вот другой — Завадский. Студентиком толкался в 1-й и 2-й студиях. Что-то показывал, что-то играл, ничего не выходило. Нашел пристанище в Вахтанговской Студии. Но и там до прихода большевиков ничем не проявил себя. С приходом же их, проявил большую резвость и быстро стал «заслуженным» и «знаменитым». Сейчас он там большая фигура. Он бросил играть. Он знаменитый режиссер и он цензор всех пьес, которые ставятся в Москве. Пьесы должны быть приемлемы для партии. Тут тебе и «социалистический реализм» и «линия» и, конечно, пропаганда.

В прошлом году в Нью Йорке был съезд режиссеров всех стран. Каждый ставил одну пьесу. Из советской России приехал Завадский. Держался важно и все иностранные его коллеги чутко прислушивались к его указаниям и замечаниям. Меня он отлично знает, но видеть даже не подумал. Репетировал он «Дядю Ваню». Не репетировал, а священнодействовал. Увы, почему-то этот вот «Дядя Ваня» света Божьего не увидел. Интриги!...

Заметьте, многие киноартисты кончают жизнь нелепо. Мозжухин, краса и гордость русского кино, снимался без пере-

дышки, гонорары имел аховые, а на похороны собирали деньги по подписке. Куда ушли деньги, непостижимо, он и сам не знал. Лисенко, красавица, одевалась в лучших мезонах Парижа, сорила деньгами, никаких счетов в банках не имела и теперь кончает жизнь в одном из старческих домов под Парижем, без единого сантима.

Мой жизненный монтаж тоже был сделан плохим сценаристом. Бум! Трах! Бах! Фейерверк на весь Париж. Потом говорящий фильм, который ударил нас всех по башкам. Многих смело со сценического пути, некоторые уцелели и еще долго не могли прийти в себя, всё отряхивались и старались приспособиться к новой обстановке, к новым людям. Пошла жизнь не плохая, но гораздо скромнее, без фейерверка. Ведущие роли стали играть новые дяди и новые тети. Но свои небольшие роли я играл так, что всегда оставался след от моего участия. Меня любили и жаловали. И это исчезло. Обиженный немного судьбой, бросил Европу и очутился в Америке. Какая непростительная ошибка. Здесь я сразу потерял свое лицо. Никто меня не знает и знать не хочет, никому я не нужен и профессия моя оказалась непригодной для жизни. И странно, весь Бродвей, все юнцы и девицы, на все лады склоняют и спрягают имя Станиславского. Бредят Станиславским. «Станиславский сказал то-то», «Станиславский делает то-то». По Станиславски отпускают бороду, по Станиславски курят трубку. В драмшколах учат по Станиславскому. А меня, который знает Станиславского лучше всех их вместе взятых, работавшего с ним с глазу на глаз множество раз, насыщенного его системой до отказа, мне делать нечего!

Есть русские школы драматического искусства, образуются разные артистические «соединения». Меня они знают и ценят. А вот позвать меня, посоветоваться, спросить мое мнение, воспользоваться моим опытом, нет.

Правда, перед Рождеством пришла делегация от церкви просить выступить на детской елке в качестве... деда Мороза. На мой недоуменный вопрос, а что же должен делать этот самый дед Мороз? — ибо понимаю, что тут уж никакой Станиславский не поможет, отвечают: Ну, вам виднее, вы же актер. Позабавьте детей, расскажите им что-нибудь, сочините какую-нибудь веселую сценку, спойте что-нибудь, сыграйте

на гармошке... Отклонил это интереснейшее предложение. Ушли до нельзя обиженные.

Выходит так, что вся жизнь прошла впустую. Никакого следа не осталось. Люди моей эпохи, друзья, товарищи, мрут один другого перегоняя. Оставшиеся же настолько одряхлели, что путают события, имена, пьесы, так что руками разводишь. В Мюнхене одна интеллигентная, театральная пара, с восторгом вспоминала пьесу Шекспира «12-я ночь», поставленную в 1-й Студии, и чудесную игру Миши Чехова в роли Мальволио: «И как он хорош, и как обаятелен, смешон и трогателен...» Ну, что же, очень хорошо. Миша был парень с талантом. «Но, заявляю я, ведь сама то вещь при большевиках, потеряла всю прелесть, все первые исполнители частью уехали за границу, частью умерли». Отвечают: «Да при большевиках мы «12-ю ночь» и не видели. Мы были на первом представлении и несколько раз еще». Вытаращил глаза и залепетал — «Позвольте, говорю, как же Миша мог играть Мальволио или что либо другое, когда он в это время был в нервной клинике? Играл Мальволио другой актер». — «Что вы, что вы. Чехов и только Чехов». Приглашаю их к себе на чай. Чай выпили, печенье съюпали. Освобождаю стол, раскладываю книгу, моя «святая святых», которую берегу как зеницу ока. Это все рецензии 1-й Студии М. Х. Т. Показываю «12 НОЧЬ» Шекспира. Рецензии восторженные. И везде Колин, Колиным, о Колине. И ясно, черным по белому: Мальволио — Н. Ф. Колин. Рецензии такие, что всегда реву белугой когда читаю их. Прочитали раз, другой, опять перечитали. Прочли о «Гибели Надежды», о «Ведь яе», о «Юбилее», о «Сверчке», о «Селе Степанчикове». Было длительное молчание. Наконец раскрываются уста: «Николай Федорович, простите, но тут какое-то недоразумение. Мы ей Богу видели Чехова».

Вот сидишь одиноко, читаешь «свое прошлое», ревешь, конечно, и шепчешь как армянин перед клеткой жирафа: «Не может быть!»

На всю Америку, да и с Европой в придачу, остался у меня только один человек, понимающий меня, сочувствующий и знающий ценность моего «я», да и тот забрался в такую даль, в Калифорнию, и общаться с ним можно только письмами. А увидимся ли — Бог знает!

11 апреля, 1962

Как скоро вы ответили на мое письмо... Во всех драмшко-лах система Станиславского преподается очень просто: берется книжка Станиславского «Моя жизнь в искусстве» (очень без-дарно изданная большевиками) и шпарят по ней от первой страницы до последней. И тут происходит колоссальная ошиб-ка: система Станиславского НЕ УЧИТ ученика сценическому искусству, а предназначена для вполне законченных актеров и что самое главное, для талантливых.

А зачем талантливому артисту нужна «система», об этом мы с вами поговорим после, долго и обстоятельно. А хотелось бы поскорее. Годы идут, все кругом пачками умирают и од-наково мыслящих людей становится все меньше и меньше. Забраться бы с ногами на диван, в руке легкое французское вино (если дадут, хотя чай тоже не плохо), и говорить, и говорить, и спорить до глубокой ночи. Выговориться, выпла-каться. Пошли Боже мне такое счастье! У нас здесь джунгли.

Читали вы книгу Андрея Седых «Далекие близкие»? Если не читали, прочтите о Бунине. Какой писатель! Какой талан-тище! И какой нелепый конец его жизни.

25 декабря, 1962

Исполать вам за то, что вы так удачно справились с «Мни-мыми величинами». Поднять такую машину, заставить публику сидеть смирно, не шелохнувшись в течение нескольких часов (так было например на «Братьях Карамазовых») это, выра-жаясь по хрущевски, не в телефон плюнуть. Bravo! И как я радуюсь за вас и скорблю душой, что я не рядом с вами.

Как чудесно, что вы едете на праздники на Гавай. Гавай! Экзотика! Цветы, гитары с особенным напевом, райский кли-мат, волшебные ночи... Так я думаю. А может быть совсем наоборот? Отдыхайте, купайтесь, да смотрите чтобы какая-нибудь акула не схватила вас за ногу.

На закуску житейский анекдот: Жена моя, чтобы лучше познакомиться с писателем Нароковым, взяла из библиотеки еще одну из его книг. Читает и понемногу развенчивает На-рокова. И то плохо и это не нравится. А к концу уже совсем разочаровалась в нем. Что за притча? Беру книгу. Действитель-но во многом жена моя права. Смотрю машинально заглавие — «Другие берега» автор Владимир Набоков. Это значит, она

вместо Нарокова принесла из библиотеки Набокова. Большой конфуз получился, но с хохотом.

21 апреля, 1964

Имея четыре радио я, конечно, блаженствую, но что я слушаю? В одно из воскресений был объявлен «Евгений Онегин». Опера самая моя любимая, тем более, что когда-то я ставил ее в 1-й Студии с учениками консерватории. Много работал и довел ее до закрытой репетиции на коей присутствовал весь состав М. Х. Т. со Станиславским и Немировичем-Данченко. И когда моя Татьяна пела свое знаменитое письмо к Онегину, этот самый Немирович-Данченко вынул белый платочек из кармана и стал, почему то, протирать глаза. А Станиславский все время грыз запястье правой руки, что он всегда делал в минуты душевного волнения. А я? Я был в каком-то трансе. Опера не появилась на свет Божий, ибо через несколько дней пришли большевики и разбросали по белу свету и Онегина и Ленского и Татьяну и их режиссера. Многие кончили свою жизнь трагически. Когда-нибудь расскажу подробно вам всю эту историю и ее последствия. Между прочим, после этого показа, Станиславский начал заниматься своей системой с артистами Большого Оперного Театра. Мой Евгений Онегин дал ему какой-то толчек для этого.

Ну-с, так вот. Разставил я все свои радио по всем комнатам... Боже ты мой, Боже! Они не пели, они проорали всю оперу без всякого подъема, без всякого чувства. А последний акт... Зачем я не умер маленьким! Сцена происходит не в салоне Татьяны а... в Летнем саду! Зимой! Всю любовную канитель они выкинули. Эйц, швей, дрей, гоп, гелиотроп! Она говорит, что другому отдана и будет век ему верна, толкает Онегина в снег и убегает!! Он поет «О, жалкий жребий мой», отряхиваясь от снега!

12 ноября, 1964

Приезжает в Нью Йорк группа советских актеров МХАТ преподавать систему Станиславского. Зачем? Почему? Загадка. Думаю, что советчикам пришла в голову мысль покопаться в нашей актерской гуще. Это уже звучит подозрительно, тем более, что актеров то едет только двое: Топорков и Степанова. Актеры средней марки. А остальные 8-10 человек «некто в сером». Американцы делают и 1 помпезную встречу. Все здеш-

ние актеры получили приглашение пожаловать на чествование дорогих гостей. Я тоже получил приглашение и поступил с этой бумажкой надлежащим образом. Вся эта история была затеяна еще при Хрущеве. Не потому ли судьба и покарала его!?

12 декабря, 1964

Ну-с, прием художественников приехавших с системой Станиславского, состоялся. Наши американские обломки М.Х.Т. были там. Приняли их москвичи сухо, сдержанно. Ничего и никого они не знают и не помнят, причем смотрят в сторону. Перед американцами же разливались соловьями. Мы, дескать, прослышаны, что американские артисты зело интересуются системой нашего великого Станиславского и так как о ней здесь ничего неизвестно и к тому же русских пьес здесь что-то не слышать, то мы и посланы нашим великим правительством научить вас дураков уму разуму.

И тут получился сразу конфуз. Срывается с места (как рассказывают) милая Тамара Дейкарханова и ба-бах! «Как это здесь никто не знает о системе Станиславского? Как это у нас не ставят русских пьес?». И пошла крыть огоропевших гостей. «Только на-днях закончилась на Бродвэй пьеса «Три сестры», прошедшая чуть ли не 100 раз с огромным успехом, я сама в ней участвовала, играла и помогала режиссеру в постановке. Мы проходили роли вот именно по системе Станиславского, которую я знаю не хуже наших дорогих гостей...» и т.д. и т.д. и ушла как бы хлопнув дверью. Как я жалею, что меня не было там. Я бы не утерпел и ринулся ей на помощь. Мы бы вдвоем поставили спектаклик на русском языке... А может и лучше, что не поехал... Теперь о системе: Вы правы приводя слова Станиславского: «Систему знают очень многие, а понимают очень немногие». Добавлю к этому: Систему можно понять и осмыслить только тогда, когда ее вам преподает «сам хозяин». Преподавать же ее по книжкам, к тому же советской фабрикации, чепуха. Я наталкивался на такие корявые фразы, что вытаращив глаза долго думал, да что же это такое?

Теперь о Мышкине. Шмидт* большой режиссер. Все, что он вам говорил, правильно. И когда вы получили пощечину от

* Иван Федорович Шмидт. Известный русский режиссер. Несколько сезонов работал как режиссер в венском Бургтеатре.

Рогожина и слезы сами, без нажима полились у вас по щекам, вот тут-то и есть истина и ничего тут контролировать не надо ибо в данный момент вы были Мышкин, настоящий, подлинный, которого сам Достоевский погладил бы по головке. А контроль... это дело деликатное. Научить контролю нельзя и не всякий поймет в чем тут дело. Нужны бесчисленные, вечные упражнения актера над самим собой и тогда одни его воспринимают уже на всю жизнь, а другим как об стену горох.

Больше 10 лет, каждый день, часами, нам, молодежи вбивалась в голову актерская азбука: что делать при таких то обстоятельствах, а потом при других. Пример: Было такое, нами же выдуманное упражнение: именины одной из наших актрис Лидочки Дейкун. Участвовали человек 20-30. Именины получились на славу. Приходили гости по одному, группами, поздравляли, приносили подарки, их угощали. Болтовня, веселые разговоры, анекдоты, политические новости. Веселье во всю. Закончили кадрилию и идя гранд-ронд захватили даже самого Станиславского. Он смотрел на все это очень весело, не делал никаких замечаний и даже хохотал подчас. Стоп. Конец. Критика Станиславского. — «А теперь, сказал этот гениальный человек, теперь повторите то же самое, слово в слово, не пропуская ничего, но помните, что за стенами революция. Там стреляют. Не подходите близко к окнам».

Не забудьте, что дело происходило в 1916 году, когда большевиков и в помине не было. Была тишь да благодать. А в 1917 году мы, собравшись все вместе в студии, отсиживались в ней, боясь подходить к окнам ибо за стенами стреляли все время. Старец оказался мудрым пророком.

И вот мы, будущие Гамлеты, будущие знаменитости экрана, а пока желторотые юнцы, каждый день делали бесчисленные упражнения на все человеческие чувства, простые и сложные, как любовь, ревность, страх, горе и т.д. А за столом сидел (или полулежал на кушетке, когда болен), этот самый КОНТРОЛЬ, великий, грозный, жестокий и подчас безжалостный. И слышатся его реплики: «не верю», «нажимаете», «обманываете», «наигрываете», «переигрываете». Встает, передразнивает вас и вам делается стыдно и больно.

В антракте мужчины идут на лестницу покурить. У некоторых слезы обиды на глазах. Слышатся фразы: «Уеду в Харьков к Синельникову, там никакой этой белиберды не

надо». Но отсморкались, вытерли слезы, причесались и опять «не верю», «наигрыш» и т.д. И так каждый день, годами. И вот тогда вы поймете, что значит контролировать себя самого.

Мешает ли контроль игре артиста? Нисколько. Пример сам Станиславский. Он разбирает по кусочкам свою роль, вечно недоволен собой и играет божественно, следя за своей игрой во всех мелочах. Мало того, он следит за другими актерами, за молодежью и сплошь да рядом, как только закроется занавес, слышится его голос: «Алексей Павлович (причем отчество всегда перепутает), зайдите ко мне в уборную на минутку». Это было самое кислое, самое неприятное обстоятельство. Из уборной юноша, а иногда даже Качалов или Москвин, выходят красные как раки, а мы их тихонько поздравляем с легким паром!

21 декабря, 1964

Очень рад, что урок системы Станиславского вам понравился. Как бы я хотел передать вам те крупницы мудрости этого старца, которые еще остались в моей голове. Слушал я систему старательно, но по молодости лет, без тетрадки и карандаша и надеялся на свою память. Увы, память от времени слабеть начала. На эту тему я могу говорить и днем и ночью. Я не пропускал ни одного урока, никогда не болел и вообще не выходил из студии, разве когда был занят в самом М. Х. Т. А почему не выходил? Очень просто: я жил в студии. Спал на диване (он так и назывался «Колинский диван»), в комнате где гримировался мужской персонал. Я весь пронизан «системой» и приезжи к Топорковым и Ко. учить меня нечему.

3 февраля, 1965

Очередное занятие «системой». Она действительно написана и предназначена для сложившихся актеров и мало того, для талантливых актеров! И какие споры разгорались у Станиславского с такими знаменитостями вроде бр. Адельгеймов и им подобных. Адельгейм кричал (это при мне было):

— Я на сцене 25 лет! Публика меня знает и любит. У меня есть опыт, знание сцены и наконец вдохновение, каковое меня никогда не покидает. Так на кой черт мне все эти системы?

Станиславский отвечал:

— А если вдохновение изменит вам и не придет?

Изумленные глаза.

— Т.е. как это не придет? Да я переломая все декорации, мебель, расшвыряю всех и вся в разные стороны, дойду до бешенства, но получу вдохновение.

— Не получите, отвечает Станиславский, ибо в этой драке будут напряжены у вас все мышцы и только мышцы. Ни ум, ни сердце тут не участвуют. Ни о каких душевных переживаниях тут и разговору быть не может. А причины неприхода в данный момент вдохновения бывают разные: вы поссорились с женой. Она разбила о вашу голову суповую миску. Вы хлопнули дверью и ушли в театр раздраженный, проклиная жену, а заодно и всех женщин на свете. А через четверть часа вы должны объясняться в любви на сцене одной из таких женщин и находить, что она прелестная, чудная. Вы должны таять от восторга. Опыт вас вывезет, вы сыграете эту сцену отлично, но о вдохновении вы лучше помалкивайте. Вы поругались с хозяином из-за квартирной платы, вы проигрались в карты, у вас нет денег, наконец, у вас просто болит живот, а через полчаса вы Гамлет. Никакое вдохновение к вам не придет. Никто вам не поможет и вы отхватаете вашего Гамлета с заученными интонациями, штампованно, с повышением до крика и понижением до шепота голоса, но... внутри совершенная пустота. И вот тут-то система вам помогла бы. Она скорая помощь. Она лесенка человеку, который падает. Она валерьяновые капли для беспокойных.

Теперь о «Детях Ванюшина». Я видел эту пьесу у Корша. Это было великолепно. Помню Леонидова (самый мой любимый актер). Нет сюрприза в том, что у вас на репетиции перехватило горло. Это НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬ. В истории М. Х. Т. это бывало. Вышеупомянутый Леонидов, не признававший, конечно, никаких систем, понадеялся на свой талант и вдохновение и в «Мысли» Андреева нажал на все 100% и... получил нервное расстройство. Несколько лет он был выбит из строя.

6 февраля, 1965

Художественный театр приехал. Бум во все барабаны! Все «любимые ученики Станиславского» пойдут и даже подносят труппе адрес от «бывших актеров М. Х. Т.». Моей подписи там не будет, хотя и просили подписаться. Я боюсь как

бы моя подпись не оказалась на Лубянке. Не хочу ехать и на спектакли, боюсь что разревусь. Не от впечатления от их игры, а от злости и досады...

Теперь я вас хочу спросить о «Царе Иудейском». Он у вас ставится концертно? Т.е. в своих костюмах, без грима? Что же они стоят? Сидят? И как же без игры? Ведь руками то махать хочется? Вот тут я пасс. Тут вы меня шапочкой прикроете.

12 февраля, 1965

МХАТ начал свои триумфальные гастроли! Шум, треск, реклама, банкеты и цветы. Пресса захлебывается от восторга. Рецензент (никогда не выдавший основного состава) безапелляционно заявляет, что «для тех кто присутствовал на этом первом спектакле в Нью Йорке, старый спор о том существует ли еще М.Х.Т. или он умер с его создателями, представляется беспредметным». Здорово сказано! Приходится гордо завернуться в тогу, спрятаться под кровать и ни гу-гу. Но в тоге моей есть карманчик, а в карманчике вырезки и рецензии из советских газет вот об этом самом составе нынешнего МХАТ'а и об этих самых спектаклях. Обкладывают и то и другое по первое число и скорбят о том, как все это не похоже на прежний М.Х.Т. Черным по белому! Все в этой труппе мне чужие. Один только Володя Попов (в прошлом молодой студент), обожавший М.Х.Т. и его студию и всеми любимый, игравший маленькие роли и не претендующий ни на что большее, незаменимый по выдумкам разных сценических эффектов (грома, дождя, ветра и прочих фокусов), мне близок. Он уже старичек и как бы я хотел его повидать и обнять.

Вот что пишет мне Соловьева (моя коллега по 1-й Студии): «Дорогой Колюша! Пишу тебе под свежим впечатлением моего разговора с Володей. Вот брат, какой поток любви и обожания тебя, как актера, посыпался из телефонной трубки...» Так этот Володя говорил ей: «Трудно смотреть новых исполнителей старых пьес, после основного состава!» А они говорят — «беспредметно»!

27 февраля, 1965

«Знаете ли вы украинскую ночь? Нет вы не знаете украинскую ночь», говорил Гоголь. А знаете ли вы, что я не просто актер, а знаменитый и даже гениальный. Нет вы не знаете

этого. Знаете ли вы, что мое имя, теперешними артистами МХАТ'а произносится с уважением и даже благоговением? Нет, вы не знаете всего этого. Так вот слушайте: наши знакомые в Няяке, люди театральные, помчались смотреть все спектакли МХАТ'а. Ни Станиславского, ни других старых гигантов, они никогда не видели и были в восторге от игры теперешних актеров. Пересмотрели все. Пошли за кулисы за автографами.

30 лет назад МХАТ приезжал в Париж. Были еще живы Немирович-Данченко и Качалов и Москвин, но были уже старенькие. Играли вот эти самые нынешние американские гости. Плохо играли. Мы с Алешей Бондаревым бросились в антракте за кулисы повидать Москвина и Качалова, игравших крошечные роли. У дверей здоровенный тип.

— Вы куда? К кому? Нельзя!

Мы объясняем, что сами были когда-то артистами этого театра.

— Тем более нельзя!

Теперь не то. Мои знакомые ходили по корридорам, заглядывали в уборные. Натыкаются на толстого премьера Яншина. Старый актер, давно сидящий спокойно на своих лаврах. Разговорились. Оказывается Яншин скучает. Некому показать ему Нью Йорк, а посмотреть хочется. Не знает куда пойти, что смотреть. Наши ахнули:

— Господи, да это так просто. Завтра же мы заедем за вами и всё вам покажем.

На завтра захватили они Яншина и начали мотать по всему Манхатену. По дороге моя приятельница говорит между прочим:

— А знаете, у нас в Няяке тоже живет один актер, тоже из М.Х.Т.

Кто такой?

— Колин.

— Что-о-о? — заорал вдруг Яншин так, что она чуть в стену не врезалась, — Да вы знаете кто такой Колин?

Отвечает: — Маленький человечек, очень симпатичный, наш хороший знакомый.

Дальше пошел монолог Яншина, который забыл про Манхатен и все говорил про Колина. По приезде в Няяк, она позво-

нила мне и целый час передавала мне излияния Яншина насчет моей персоны:

— Он говорил, что вы такой актер, такой актер... ну словом, гениальный. И КАК НАМ ЕГО НЕХВАТАЕТ (Говорил Яншин, в передаче моей приятельницы, а я только мычал и сморкался... Насморк знаете). Яншин очень просит моего разрешения повидать меня и в таком случае мои знакомые обещали привезти его, Грибова и Володю Попова. Очень я обрадовался и разволновался. И Боже ты мой, что началось вокруг меня: квартиру «причесывают», появились приятельницы Тамары Гавриловны. Охают, ахают, пекут что-то. А я по художественной части: развешиваю по всем стенам фотографии, достаю журналы, рецензии — доказательство того, что был актером и не плохим. Словом гостей принимаем с честью. И весь Наяк ахает:

Какой это Колин?

Да тот, маленький, ходит с палкой, в калошах.

Так значит, что же это? Весь М.Х.Т. к нему?

Да, вот к нему.

Скажите пожалуйста, кто бы мог подумать!.. А знаете, жена моя купила пальто на барахолке за три доллара. Ей Богу!...

Ждали среду, ждем четверг... В пятницу все разъяснилось: НЕ РАЗРЕШИЛО ПОСОЛЬСТВО. Предлагают довести этих актеров на посольском автомобиле. Шофер подождет их и привезет обратно. Иначе ни-ни.

Я живу на маленькой улице против русской церкви. А напротив моего дома будет стоять советская машина с советским флагом!? Сделка не состоялась. Пусть они едут к себе домой, а «гений» остается в Наяке одиноким... в калошах.

Но у «гения» есть вопросы: почему советское посольство не разрешило этим артистам навестить своего старого коллегу? Ведь артисты «заслуженные», осыпанные милостями партии. Но посольство право: а вдруг Колин (ведь он талантливый) уговорит Яншина, Грибова и Попова и все они, вместе с Колинской женой под мышкой, вдруг удерут в Калифорнию и там вкупе с режиссером Аренским оснуют новый Художественный Театр!

И еще: почему русская пресса захлебывается от восторга от игры Яншина, Грибова, Ливанова и прочих, и за 10 лет ни

разу не упомянула об артисте того же театра, игравшего в Москве и 22 года в Париже, безостановочно, с замечательными французскими рецензиями? Почему за автографами советских артистов стояли очереди, а у Наякского «гения» не только автограф, но даже закурить никто не попросил? Приходишь к печальному выводу: «гений» этот оказался невзрачная личность... в калошах. Вся эта катавасия все-таки сильно взволновала нас, хочется вам, моему лучшему другу, поплакать в жилетку. Обнимаю вас крепко. Ваш Н. Колин (тот самый).

1965 (без числа)

Коснусь ваших вопросов относительно Станиславского и Немировича-Данченко. А вопросы очень интересные. Попробую разрешить ваши сомнения. Прежде всего надо реабилитировать Вл. И. Немировича-Данченко. Это большой режиссер. Очень большой. Но совсем другого разряда нежели К. С. Станиславский. Станиславский это поэзия, космос и когда он добирается до облаков, что было у него в плане, то он лезет дальше, хочет добраться до луны. А Немирович — земля, без всяких «фигли-мигли». Станиславский, витая в облаках, часто попадает в тупик. Немирович твердо стоит на своих ногах и тупиков у него не бывает. Случается так, что Станиславский запутывается и видит как его поезд окончательно сходит с рельс. И тогда он идет с поклоном к Вл. Ив. и тот легко и быстро ставит поезд на рельсы. Был такой случай: Последняя репетиция «Братьев Карамазовых». Станиславский работает с Леонидовым. Леонидов гигант! Талантище! Роль рождается медленно. Роды тяжелые. И несмотря на это, одна важная сцена не удастся никак. Дело вот в чем: Митю терзает ревность к Грушеньке. Он идет к ней. Она должна быть в данный момент дома, ДОЛЖНА, ибо если ее нет, значит измена. И тут он должен дойти до бешенства, до изступления. Легко сказать! Как человеку, спокойно дышащему, дойти до бешенства в несколько минут? От какой печки надо идти? Где же система Станиславского? И гениальный, раз-гениальный Станиславский растерялся. Хватался за одно, за другое, но не мог найти эту печку. Поплелся к Немировичу с поклоном. Тот в это время занимался с актерами на большой сцене. Нужно сказать, что отдельно с актерами занимаются в разных углах театра и когда они уже готовы, репетиции переносятся на большую

сцену. Это были для нас праздники. Большой полутемный зал бывал набит публикой. Вся театральная молодежь (мы), служащие театра, наши папы, наши мамы, друзья, знакомые, потихоньку проводились и на это дирекция смотрела сквозь пальцы. Они сидели с раскрытыми ртами и вытаращенными глазами и смотрели на нашу волшебную сцену по которой ходили «боги». Так было и на этот раз. Немирович подробно спросил в чем дело, как и что? Затем с Леонидовым поднялся на сцену и долго ему что-то говорил. И началось. Леонидов ушел за сцену, Немирович в зал. Уходя он громко сказал:

— Исполняйте точно мои приказания. Я буду командовать вами из зала.

Сел в первом ряду.

Нем.: Входите. Остановитесь у двери, позовите ее.

Леон.: Осмотрев быстро комнату, зовет «Груша»!

Нем.: Громче, ласковой!

Леон.: Громко «Грушенька»!

Нем.: Идите в комнату направо. Зовите там Грушу.

Леон.: Исполняет.

Нем.: Скорым шагом назад и через ту дверь, в которую вошли, уходите за кулисы, в кухню. Кричите нервно!

Сам Немирович уже не сидел, а бегал по первому ряду и был очень взволнован.

За кулисами крик Леонидова «Груша, Грушенька!»

Нем.: Бегите по лестнице вверх, в комнату Грушеньки. Не кричите, а вопите!

Леонидов все исполняет. Слышен топот, какой-то треск.

Нем.: Катитесь вниз, на минуту распахните дверь к нам, нервно оглядите комнату и опять за кулисы и там кубарем по лестнице вниз в кладовую. Кричите, вопите, плачьте, ломайте за сценой все, что попадет под руку и буквально ворвитесь к нам, обратно на сцену! Дверь распахните так, чтобы она сорвалась с петель!

В дверях появилось безумное лицо Леонидова с вытаращенными глазами и всклокоченными волосами. Он что-то мычал и рухнул на стул около стола посредине сцены, рыдая. Сцена была потрясающая. Весь зал, стоя, отчаянно хлопал в ладоши. Больше всех аплодировал Станиславский. Немирович вытирал пот с лица и улыбался в бороду. Мы потихоньку острили: «Если

почему-нибудь Леонидов не сможет играть, у нас уже есть готовый Митя с бородой и в цилиндре».

Леонидов был Митей Карамазовым на все 100%

Станиславский учил нас стараться войти в шкуру изображаемого лица так сказать, «вплотную», но не на 100%, ибо тогда уже будет кандидат в сумасшедший дом. Так оно потом и случилось. Леонидов все время играл непередаваемо, потрясаяюще, но наконец сдал. Заболел и был отправлен в нервную санаторию, будем говорить «свихнулся» и ушел со сцены, кажется, года на два. Вернулся, но не играл, уже не мог. Непонятное волнение перед выходом на сцену, боязнь публики до того, что пот лил с него водопадом. Вылечил его Немирович-Данченко при участии молодого актера Колина, но об этом я вам кажется писал, если нет, расскажу в следующий раз.* Случая чтобы оба режиссера ставили вместе какую-нибудь пьесу, сидя за одним столом, никогда не было (хотя на афише и стояли обе фамилии). Каждый занимался со своими актерами в разных углах. Когда пьеса переносилась на большую сцену тогда действительно, оба сидели за столом в 4-м ряду, но это были уже не репетиции, а «чистка», «монтаж» пьесы, звуки, освещение, трюки. Тут они вместе совещались, вместе выдумывали всякие вещи, мирно, по-дружески. Но друзьями они никогда не были. Они были всегда любезны друг с другом, но всегда «на вы». Никогда не бывали друг у друга с визитами. Но они ясно и твердо понимали, что у одного Станиславского или одного Немировича, Московского Художественного Театра не получилось бы. Подход к пьесам у обоих совершенно разный. Манера занятий с актерами разная. Оба друг друга глубоко уважали но... любви не было. Частная жизнь у обоих тоже разная. Это все было в мое время. Когда при большевиках Театр стал расползаться по всем швам, то и «старики» наши, кажется, окончательно «разъехались».

В этом письме я показал вам пример работы над ролью у Немировича. Ни малейшего намека на «систему», которую он вообще не признавал. Маленькое разъяснение к «Карама-

* Вл. Ив. Немирович-Данченко чуть ли не силой заставил Леонидова играть в инсценировке Чехова «Калхас». После этого выступления Леонидов потерял страх перед публикой и снова стал принимать участие в работе театра. Партнером Леонидова в этом спектакле был Н. Ф. Колин. К. А.

зовым». Никаких комнат ни наверху ни внизу не было. Не было и лестниц. Леонидов метался в темном пространстве огромной сцены, за декорацией, натываясь в темноте на разные предметы и отшвыривая их в стороны. Он давно понял в чем дело. Он нашел свою печку и теперь неся на всех парусах. И даже Немирович, теперь, под конец ему был не нужен.

3 сентября, 1965

Очень рад, что лента вам понравилась и не обиделся бы, если бы вы ее деловито, по хорошему, раскритиковали. Занятия с молодежью, слава Богу, прекратились. О. Серафим купил им пинг-понг и те сражаются целыми днями. Но поговорим о вас. Вы ничего не пишете о себе. Извольте ответить на все мои вопросы. А то, что же получается? Единственный человек с которым я могу по человечески разговаривать и тот как в анекдоте:

Идут двое вдрызг пьяных по улице.

Ваня, ты меня любишь?

— Лллюблю. А ты кто?

23 декабря, 1968

Письмо ваше получил. Рецензию о спектакле и книгу о Немировиче-Данченко тоже. Смотрел с любовью на черты вашего лица в газете, увы, напечатано плохо и есть ли у вас усы или нет, не ясно. Ваша книга о Немировиче-Данченко потрясла меня до глубины души.* Ведь я десятки лет не знал что с «ними» и как «они». От многих событий я просто разинул рот. И в конце концов... могилы, могилы, могилы. Стоило волноваться, стоило трепыхаться. О книге будет особое письмо.

Книгу о Качалове писал не его сын.* Чтобы писать о людях окружающих М.Х.Т. нужно вертеться среди них, постоянно быть в Театре. Мы же никогда не видели сыновей наших артистов в Театре. Они могли знать о Театре только со слов родителей, но родители не всегда и всё им говорили. Кроме того, многие дети наших великих режиссеров и артистов были какие-то недоделанные. Таков был сын Станиславского и таков был Вадим Качалов. В книге не его язык, а чужого дяди. Этот чужой дядя — Виленкин. Он адвокат и не плохой.

* К. Аренский. «Письма в Холливуд».

* В. Шверубович. «Люди театра». Новый мир. 1968.

Вечно в театре, вечно в артистических клубах. Вечно терся около Качалова. Когда пришли большевики, он первый распластался перед ними и карьера его была обеспечена. Вадим только расписался для тиража, ибо воспоминания Виленкина никто бы не стал читать. Так обложить режиссера Санина как обложил его Виленкин, Вадим не посмел бы. Так развязно рассуждать о Станиславском этот молокосос тоже не посмел бы, но... подписал м.б. даже не читая всей книги. В Нью Йорке живет моя приятельница артистка Дейкарханова. Она была другом Качалова. Была у них в доме постоянно. Когда я задал ей вопрос: «Кто писал книгу о Качалове?», она не задумываясь ответила: «Виленкин».

10 марта, 1969

Лезут в голову мысли: Зачем исписывать длинные страницы о Немировиче-Данченко, когда стоишь уже одной ногой на дороге к нему. Ведь скоро увидимся... и поговорим. Но прочитав в Новом Русском Слове прекрасную статью Аргуса о вашей книге, хочу сказать и свое слово о ней. Книга потрясающая. Но прежде всего, хотелось бы знать, за что нас, молодежь М.Х.Т.'а предавали анафеме за участие в кинематографических съемках? Правда, мои товарищи плевали на этот запрет и потихоньку играли, подрабатывая себе малую толику на жизнь. Я же покорно слушался, не играл в кино и жил на жалование сотрудника М. Х. Т. А оно было в начале только 25 рублей в месяц. И что же получилось впоследствии? Когда мы очутились за границей, то мои товарищи, как опытные кинодеятели, сразу пошли в ход и стали выдающимися актерами и режиссерами, а я? Стыдно было смотреть мое кривлянье. Но дело не во мне. Сам то Немирович-Данченко, главный «запретитель», в конце своей жизни только и жил мыслью о кино. Голливуд, Голливуд, Голливуд! Сценарии, постановки! Кино и только кино! Театр был забыт. И другое: мы с Болеславским за то, что уехали за границу были вычеркнуты из списков театра. А он сам? А Станиславский? Последнее время они не вылезали из заграницы. Европа! Америка! Так за что же мы то были прокляты? Ну, ладно. Это все дело прошлое, тяжело пережитое.

Вл. Ив. пишет о небывалых успехах своих постановок. Публика валом валит. Билеты нарасхват. Колоссальные очереди. Овации. Игра артистов потрясающая. Это не только в Рос-

сии, заграницей (Париж), тоже триумф, овации, злопахательство эмигрантской прессы... Не знаю насчет России, ничего не могу сказать, а вот про заграничный триумф расскажу вам следующее, помню отлично. Привезли они три пьесы: «Враги» Горького, «Любовь Яровая» (имевшая будто бы в России сногшибательный успех) и «Анну Каренину» Толстого. Для успеха поездки многие «великие» согласились играть малюсенькие роли (Книппер, Качалов, Москвин). Народу битком. Весь русский Париж. Я сижу отлично, в 5-м ряду. И вот мое первое впечатление: когда потух свет, я закрыл глаза и подумал: «сейчас раздвинется занавес с дорогой моему сердцу чайкой и раздадутся «голоса с неба» и ты уйдешь из Парижа далеко, далеко». Я весь дрожал. Занавес бесшумно раздвинулся и... ничего не произошло. Голоса раздались, но это были голоса актеров средней руки. Говорили твердо, заученно. Я сразу сообразил, что никакого М. Х. Т. нет и закрывал я глаза напрасно. Смысла пьесы не понял. Но публика аплодировала. И вот наконец «Любовь Яровая». Как только показался Москвин, вся публика встала и встретила его громом аплодисментов. Перешло в овацию. Москвин, явно взволнованный, не мог начать свою роль. Он ходил по сцене взад и вперед, вдоль и поперек. Ходил и так ничего и не сказал. А и роль у него была маленькая, всего несколько слов. Он играл «спичечника», продавал в толпе, на площади, спички, бумагу, конверты, рамочки для портретов. Действие происходит в маленьком южном городке, который несколько раз переходит в руки то белых, то красных. Хлопали всем и белым и красным. Всё это Немирович-Данченко принял за триумфальный успех пьесы и когда опустил занавес и снова поднялся, то он и вся труппа, держаась за руки вышли, вопреки всем традициям и висящим объявлениям, на сцену под гром аплодисментов и Вл. Ив., улыбаясь, широким жестом, как бы бросил всю молодежь вперед, на авансцену. Аплодисменты удвоились. Успех! Триумф!

Увы, Вл. Ив. ошибся. Он ничего не понял. Это мы, русские парижане, говорили театру: «Здравствуйте наши милые, наши дорогие, любимые друзья! Мы вас не забыли и всегда держим в сердцах наших. Мы встречаем вас со слезами и со слезами будем провожать вас и молиться за вас...» А пьеса тут не причем. Пьеса отвратная, тошнотная, грубая, нагло пропагандная. Большевики в ней ангелы, а белые все держиморды, на-

сильники и убийцы. Злопыхательства русской эмигрантской прессы не было. Была сущая правда. Да и иностранная печать отделила пьесу под орех.

Теперь остается «Анна Каренина». Блестящего гвардейского офицера Вронского не было. Был усатый, мужиковатый, атаман-партизан Махно. Я не видел в его игре, чтобы он хоть чуточку был влюблен в Анну. Анна-Тарасова все время нервничала, тормозилась и через каждые две три фразы взвизгивала. Каренин, это сноб с головы до пят (так он думал). Он ходил выпячивая грудь. Он стоял всегда заложив руки за спину и то поднимался, то опускался на носках. Он сюсюкал. Голова его поворачивалась вместе с шеей и туловищем. Но главное нос. Он был налепной и наlepка была плохая, видная все 1. И вот перед моими глазами и ушами все время маячило: усы, визг, нос. Нос визг усы. Какой уж тут Толстой! Поставлена пьеса плохо (ставил не Вл. Ив.). Сцена у Каренина не удалась. Мы знали, что мебель, портреты, ливреи лакеев, костюмы царедворцев, все было настоящее, дворцовое, украденное, но самих то дипломатов, царедворцев и лакеев не получилось. Если лакеи старательно ходили на цыпочках, это вовсе не значит, что они «вышколенные, дворцовые». Сцена на скачках прошла под смех публики. Участвующие сидели в ложах (?) и в бинокли разглядывали бегущих лошадей. А беговой круг был наш зрительный зал. И получилось так, что участвующие разглядывают нас, публику в бинокли. Было смешно. Последний акт. На сцене кромешная тьма. Еле разглядываешь Каренину мечущуюся на авансцене. Вдали, далеко, показываются два огонька идущего поезда. Рельсы на публику т.ч. поезд идет на публику. Фары увеличиваются, грохот поезда усиливается и вот поезд здесь, у нас, идет в зрительный зал. Грохот отчаянный от поезда, от аплодисментов. Фары ослепили всех зрителей и никто не видел как Анна бросилась под поезд. Впечатление потрясающее. Я вскочил с места и кричал: «Володя, браво!» Когда опустился занавес, ко мне подошли мои знакомые и спрашивают: «Кому вы аплодировали и кричали?» Я ответил: «Локомотиву!». Оказалось, вся публика ясно видела локомотив. Никакого локомотива, никакого поезда не было. Были фокусы с фарами и звуками великого мастера этого дела, Володи Попова. Это мой сверстник, мы вместе поступили в М. Х. Т., большой мастак по разным трюкам. Может звуками,

стуками, разным освещением создать на сцене тоску, ликование, зловещую тишину и настоящую войну. Помешан на этом и все время что-то выдумывает. Говорят играет Фирса в «Вишневом саду» замечательно. Во время гастролей М. Х. А.Т.'а в Америке, в прошлом году, он так хотел, так рвался увидеть меня. Не разрешили. Запершись в уборной у себя, загримированный, он строчил на восьми клочках бумаги, карандашом, письмо ко мне и между прочим писал: «Может быть и хорошо, Колюша, что ты не смотришь наши спектакли...» Замечательная фраза. Три месяца тому назад он... ушел.

Возвращаюсь к Владимиру Ивановичу.* Я с грустью читал воспоминания Бертенсона** о его первой поездке в Холливуд. Приняли Вл. Ив., можно сказать, физиономией об стол. Водили за нос целый год. Отклоняли все его предложения и он безславно, позорно уехал восвояси. Я думал, что он с краской стыда будет вспоминать эту поездку и во всяком случае навсегда вылечится от кинематографа. И что же? Прошел какой-то отрезок времени и снова: «Хочу в кино, рвусь в Холливуд. Расскажите им какой успех у меня в Москве. Поговорите с тем то. Напишите тому то. Убедите их». С мыслью об Америке он ложится спать и с той же мыслью встает. И когда он понял наконец, что борется с ветряными мельницами, что все это блеф, он сразу скис, обмяк и тут В. И. Немирович-Данченко, знаменитейший режиссер всего мира, кончился. Какая трагедия! Как горько мне было читать это...

И вот Аренский взял под свою защиту одного из умерших — Вл. Ив. Немировича-Данченко. Он хочет обелить его, сказать, что Немирович вовсе не был ярым большевиком, каким его представляют. Я спрашиваю моего дорогого Константина Евгениевича: кому предназначается эта книга? Русским в рассеянии или русским в России? Думаю, что и тем и другим. Русские за границей делятся на две группы: бывшие актеры

* Ник. Фед. рассказывал мне, как после парижского спектакля, он пошел к артистическому подъезду в надежде увидеть кого либо из старых артистов М. Х. Т. Он подбежал к окну автомобиля, в котором уже сидел В. И. Немирович-Данченко. Увидев Ник. Фед., Немирович радостно крикнул: «Колин!». В этот момент кто-то сидящий рядом с Влад. Ив. быстро закрыл окно и автомобиль сразу же отъехал. К. А.

** С. Бертенсон. «В Холливуде с В. И. Немировичем-Данченко».

и лица близкие к театру — это одна группа и вторая — обыкновенные обыватели. Для нас, актеров, дело ясное: существует такой глагол «ловчиться». Вл. Ив., как и все прочие ловчился. Им всем была дана одна роль — быть большевиками и они исполняли ее хорошо, некоторые, как Вл. Ив., блестяще. И мы заграничные актеры смеемся. Что же касается обывателей, то им фамилия Немировича-Данченко ничего не говорит. Еще о Станиславском кое что слышали, а Немирович для них пустой звук, и дырявая крыша или лопнувшая водопроводная труба важнее какого-то Немировича-Данченко. А для советской власти книга ваша — бомба и она будет запрещена и уничтожена.

ПИСЬМА М. В. ДОБУЖИНСКОГО

1/I. 1955.

20, Уэтерби Гарденс, Лондон.

С Новым Годом!

Дорогие наши любимые друзья Елена Константиновна и Евгений Иванович! Что Вы думаете о нас? Как Вы должны быть обижены молчанием. Но сам не знаю, как объяснить такое параличное явление, помочь побороть которое может вот лишь это только-что случившееся «счастливое» событие: Новый Год. Но будем думать, что это правда счастливое событие — с Новым Годом, с новым счастьем и простите!

1955 год! И страшно подумать, как летит время, и лучше об этом не говорить и не вычислять, — невольно черные мысли.

Пишу, как видите, из Лондона, где мы теперь осели — в середине октября приехали из Рима, пробывши в Италии почти два года! Хороша Италия, что и говорить, и видели мы много (Ривьера, Милан, Флоренция, Рим, Неаполь, где я поставил в театре С.-Карло «Евг. Онегина» — о чем, конечно, Вам писал). А Mlle Angot в Скала так до сих пор и не поставлена на сцене. Еще в начале 1953 г. я за все получил и уже начал выбирать материи для костюмов, как Мясин испарился. Получилось глупейшее положение. А жаль, спектакль был бы эффектен. Но это, конечно, неисправимо и мной уже пережито и забыто. Также забыты и все огорчения, связанные с «Евг. Онегиным», но я остался при убеждении, что с итальянцами иметь дело чрезвычайно трудно: и недобросовестны и скупы... Вот почему я побоялся сделать свою выставку в Риме, а уже было почти все налажено. На «корню» же я продал за все время в Италии всего 2 картины, случайно и довольно скромно. С натуры я рисовал не очень мало, но мог бы и

больше, но летом мешала жара (в Риме бывало совсем нестерпимо) и меня очень утомляла.

7.1. Пишу через неделю, начал писать Вам уже больным и вот все не могу поправиться. За это время я успел послать привет Ирине Серг. и ее просил передать Вам поклон. Я нездоров с середины декабря, обнаружена, кроме склероза и «высокого давления», еще анемия — что совершенно неожиданно и глупо, и я уподобляюсь Капернауумскому Расслабленному, много сплю, вял и ничего не могу делать. Высокое давление началось еще в Н. Й., а в Италии обострилось, и временами чувствовал себя отвратительно. Конечно, это летá, и должно быть что-то сносилось в организме, а веду себя благоразумно, никаких излишеств, а (еще) и лекарства принимаю очень аккуратно. Но довольно об этом. Слава Богу, Ел. Ос., хотя тоже жалуется то на то, то на это, гораздо выносливее меня. А устывать ей приходится очень, хотя из-за и не очень большого хоззайства, и ходить ей стало трудно — уже давно ходит с палочкой, а тут еще обо мне заботиться...

Не знаю, как справлюсь с выставкой, если ее можно будет устроить (мне помогают многие в поисках галереи), но все всегда занято и все помешаны на «современном искусстве», я пробовал показать кой-что из моего в одной галерее — фыркают! Еще, пожалуй, зачислят меня в «*vieux rompiers*»²⁴, хотя таким я себя совсем не считаю. Беда, что у меня слишком много слишком разных вещей, и я так до сих пор и не знаю, как их группировать, под каким «флагом» выставить и что совершенно отбросить.

К сожалению, тут нет никого, кто бы мог мне чисто «физически» помогать с будущей выставкой, обычно всегда являлись какие-то молодые люди, бывшие ученики. А труд большой, хотя бы с одними рамками. Мне одолжили их довольно много, но пакеты стоят нераспакованными из-за моей болезни.

Таким образом я три недели вне жизни, а в Лондоне много интересного. Дягилевская выставка закрывается 16-го янв. Как она устроена — мне не нравится, совсем не в «дягилевском» духе, похожа на «ярмарку», но собрано очень много превосходных эскизов Бакста, Бенуа, Гончаровой (какой чудный талант), и рядом все эти Браки, Миро, Бошан, даже Матисс, даже Пикассо кажутся совсем не теперешними художниками. Выставка имеет небывалый успех, уже давно число посетителей

перевалило за 80.000. На ней еженедельно устраиваются доклады, читали Карсавина, Бомонт, Хаскелл и др. театральные люди, и я прочел (по-французски) о моем участии в «русском сезоне» («Parillon» и «Midas», 1914), что, говорят, имело успех (после этого я и заболел).

Теперь сижу над сочинением второго доклада «Неизвестный Дягилев», т.е. о его «Мире Искусства», и вообще о нашем петербургском ренессансе тех лет — «преисторический период Дягилева» — о том, что тут никто не имеет понятия, ибо Дягилев прославляется лишь как балетный директор и пропагандист «модерного искусства». И хотя я писал (и печатал) о «Мире Искусства» неоднократно, тут надо подойти по-другому, и это не легко, а между тем сказать обо всем этом просто мой долг, я ведь действительно «последний из могикан» после Ал. Н. Бенуа. Но справлюсь ли, успею ли? В Италии я продолжал понемногу писать мои воспоминания, вернее их отщипывать, сокращать и дополнять. О них узнали, и в Риме меня просили прочесть что-нибудь, и я читал в русском клубе (в бывшей мастерской Кановы) о «Петербурге моего детства». Неправда ли курьезно: в Риме говорить о моей «няне»! Попросят читать и тут...

Недавно получил письмо от Чеховск(ого) Издательства, куда я акуратно посылал весь год, даже больше, чеки в уплату моего аванса (ведь контракт на мои «воспоминания» был аннулирован, т. к. я во время не представил рукопись), — что они готовы контракт со мной возобновить — что меня утешило, я боялся, что все кончилось...

Здесь у нас много знакомых и есть очень милые. Но не ревнуйте — с какой любовью мы вспоминаем Вас, Мишу Чехова (где он? совсем пропал?), Ирину Серг., Капустина, Шнитниковых... А в Риме было меньше, но я очень сдружился с Белобородовым, архитектором нашим, петербуржцем. Как он чудно знает Рим, и сколько он мне показал, как был заботлив и как с ним было интересно и забавно (он очень болеет).

Обнимаю Вас сердечно, и пожалуйста, не сердитесь на молчание. Ел. Ос. целует Вас обоих и шлет пожелания хорошего года.

Ваш всегда М. Добужинский.

20 Уэтерби Гарденс, Лондон 5, в Париже после 15.X — 11, рю Эрнест Крессон (14-е).

29.IX.55.

Дорогие наши милые друзья Елена Константиновна и Евгений Иванович! Что Вы должны думать о нас, не получая так давно писем? Вы наказываете нас Вашим собственным молчанием и за дело. Простите! Столь было всего, чего и не рассказать, и интересного, и печального, и хорошего, и дурного.

Недавно мне «стукнуло» 80 лет. Никогда о летах не думал, а теперь невольно черные мысли. И тут еще вздумал Климов, Е. Е.²⁸ в газете Н(овое) Р(усское) С(лово) разгласить об этом якобы «юбилее», т.е. поставил точку над і. Написал лестно и много, и прилично, но не к тому случаю придрался, и вообще это ни к чему — те, кто меня не знают, скажут — вот какой «гага» и наврное *vi eux rompiet* в отставке. Те, кто знают, ни мне, ни Е. Ос. — моему погодку — таких лет не дают...

Но что делать — летá, конечно, дают себя знать, и за это время в Европе начались разные недомогания, но Е. О. гораздо выносливее меня — отлично видит и слышит, я же сдал: у меня высокое давление и скверно с глазами, лечусь и уже не снимаю очков, а на одно ухо уже совсем почти оглох и не хочу носить отвратительную пуговицу в ухе. Словом, если мне говорят: «не может быть, чтобы Вам было столько лет», или «как Вы молодо выглядите», — я говорю: «это оптический обман», что на самом деле и есть.

Но довольно об этом. Только еще скажу, что больше всего меня злит, что я не могу много ходить и устаю, и что мне надо днем спать, чего никогда не делал и с чем и теперь борюсь.

Все же продолжаю о плохом: я страшно скучаю без театральной работы — последняя была в марте прошлого года в Неаполе — «Евгений Онегин», который был, как многие находят, «блестящий спектакль», сам театр С.-Карло великолепен с чудной сценой, с отличным составом певцов (была одна из лучших Татьян — турчанка!). Я только очень сердился за скверное исполнение декораций (итальянцы-исполнители выводили меня из себя, **исправляя** на сцене мои эскизы) и за невозможность почти ничего собственноручно исправить (тут были настоящие анекдоты — когда-нибудь расскажу). После этого «Онегина» ничего для театра не делал и теперь очень часто вижу во сне сцену. Так тоскую!

Был ряд очень больших невезений, и самое главное было вначале — в театре Скала, в Милане...

Спектакль («Анго»), который наверное был бы эффектен, мог бы стать моим «трамплином» для дальнейшего... Я с собой взял рис(унки) костюмов для «Войны и мира» и тоже прошло мимо носа. Это постановка оперы Прокофьева (во Флоренции). Приглашен был Шильтян, никогда не работавший в театре, но знаменитый в Италии, о моих же эскизах никто не знал (кроме Шильтяна, который их видел, но я ничего плохого не хочу сказать...). Очень жаль, что мы уехали из Милана, это живой, очень симпатичный, красивый город, и не поехали в мою любимую Флоренцию, где хороший театр (потом поставивший «Мазепу» — декорации делал архит. Белобородов — мой друг), а поехали в Рим, где я совсем скис и где ничего не заварилось. Дочь Тать(яны) Львовны Толстой, Таня (Альбертини) была вначале очень мила, хотела, как она говорила, меня «лансировать», хотела мне заказать даже свой портрет — и — ничего не сделала...

Меня просило «русское собрание» прочесть им лекцию о Петербурге, что я и сделал, и курьезно и приятно было рассказать из моих воспоминаний о Петербурге моего детства и о прогулках с моей няней — и это в Риме, и большой зал, где была студия Кановы!...

Кстати, и в Лондоне эту зиму я занимался тем же: прочел 7 лекций! И на Дягилевской выставке о моей работе и встречах с Дягилевым (по-франц.), и несколько в здешнем «Пушкинском Клубе», симпатичном англо-русском учреждении, и в двух других местах и из моих воспоминаний и много о «Мире Искусства».

Воспоминаниями я все время и больше всего занят, приготавливаю книгу для Чеховского Издательства, т.е. кажется, уже 4-ый раз все переписываю наново, дополняю, сокращаю и привожу в систему — что трудновато. К счастью, пишется легко и память (только чтобы не сглазить!) совершенно еще не ослабела.

Это лето мы оставались в Лондоне, ибо оно было **очаровательное**. Живем очень уютно — в Польском Клубе, где пансион, у нас перед окнами чудный сад, где пели птички, и балкон, и замечательная тишина, после Рима даже невероятная!

Что особенно удобно — рядом с нашей комнатой очень

большой пустой зал заседаний, занятый лишь 2 дня в неделю по вечерам, где я могу заниматься, и получил его даром! Редкое удобство. Последнее время тут я рисую портреты — новое занятие после театра — и имею 3-ий заказ.

Только-что закрылась моя **балетная** выставка в Роял Фестивал Холл в отличном помещении, которое дано было мне, как ни странно, бесплатно, но доступна она была лишь для посетителей балета (Долина), танцевавшего в Фестивал Холл в августе во время моей выставки, что было минусом. Но я сделал — «закрытое обозрение»²⁹, и собралось очень много народу, верниссаж напомнил наши верниссажи «Мира Искусства». Но рекламы не было никакой, и все-таки пресса была оч(ень) хорошая, статьи и заметки в 5-ти газетах. Вообще же посетителей было много. Каталог Вам посылаю.

Всю зиму я искал безуспешно галерею, чтобы устроить выставку — все занято на 2 года вперед — сколько развелось художников! И, конечно, абстрактисты заполняют все — они тут в страшной моде.

Мог бы много еще вспомнить за это время, но довольно о нас. Как же Вы сами живете, дорогие наши друзья? Нам очень мало кто пишет из Н. Ё. и о Вас мы совершенно ничего не знаем, также и об Ирине Серг., о Капустине, о Шнитниковых. Простите молчание и немного хоть напишите о себе и об общих наших друзьях. Не думайте, что мы о Вас и о всех забыли — Вы самые нам дорогие друзья там. Мне так же стыдно и перед Мишей Чеховым.

Мы должны покинуть Лондон 14 окт.; дольше 1/2 года «туристам» жить в нем не полагается, и америк(анские) паспорта не дают никакой привилегии, а мы ухитрились, правда, после хлопот, прожить тут год. Но страшно не хочется уезжать, хотя едем в Париж, где наш старший сын. Мы очень привыкли к Лондону, в наших странствиях нигде так спокойно не жилось и ничто не раздражало (только сержусь на флегму и удивительную несообразительность и даже тупость, порой, англичан). А вежливость, внимательность, воспитанность их очень подкупает на каждом шагу. За это Ел. Ос. особенно любит Лондон. Мы бы с удовольствием вернулись опять сюда — но ничего в виду нет, а может быть и вернемся.

Мы только в регулярной переписке с нашим Додей, который, к сожалению, забрался за город в Массапеква, где по-

строил дом и живет совсем отрезанный от Н. Й. Старшая внучка уже кончила школу и теперь в университете, младшая делается очень хорошей художницей, теперь в школе. Всего, всего хорошего от всей души Вам обоим. Целуем сердечно.

Ваш М. Добужинский.

20 Уэтерби Гарденс, Лондон.

21 окт. 1955.

Дорогие, милые наши друзья Елена Константиновна и Евгений Иванович. Я так подавлен смертью Миши Чехова, что до сих пор ничего не мог написать бедной Ксении Карловне и только что ей послал несколько слов от нас. Последнее время много думал о нем и вспоминалось прошлое, все собирался ему написать...

Я пишу Кс. Карловне, как мне тяжело чувствовать себя осиротевшим, он всегда был мой **вдохновитель**, и сколько мы сделали вместе, вспомните наших «Бесов»³⁰ — с каким увлечением они творились. Идут года, и все одиноче чувствую себя, уходят друзья и единомышленники, и никто их не заменяет и не может заменить. Особенно чувствую это одиночество тут, где не образовалось той среды, которая была когда-то в жизни. Мне уже 80 лет — невероятно подумать, и это, увы, уже **старость**.

Дорогие, не забывайте нас! Хотя мы и далеко и я редко берусь за перо, но к Вам всегда тянется душа. Так будем рады весточке от Вас, о Вашей жизни. Мы продолжаем нашу кочевую жизнь и собираемся в Париж к сыну. Поклонитесь **всем** нашим общим друзьям.

Обнимаем Вас сердечно. Ваши Добужинские.

Мне кажется, я должен был бы написать и напечатать что-нибудь о Чехове, но сегодня просто не поднимается рука. Слишком это близко и больно.

30.I.1956. Лондон.

Дорогие милые друзья, я только что получил в ответ на мое — письмо от В. Александровой, что Чех (овское) Изд(ательство) закрывается, что мои **воспоминания не могут быть изданы**. Это для меня неожиданный удар.

Еще будучи в Италии, я получил письмо от американской

заведующей Издательством (после того, как я вернул мой аванс 500 д., т. к. не мог сдать к сроку мою рукопись), что контракт может быть заключен наново, позже, когда я закончу книгу, и что мне сделают исключение. Этой надеждой я и жил и, конечно, моя вина, что не напоминал о себе, написал же я Александровой, когда прошел слух, которому я не очень верил, что Фордовские кредиты приходят к концу

Горькую пилюлю В. Алекс(андро́ва) позолотила и в заключение пишет: «Мне кажется, что человек с Вашей творческой биографией найдет людей, которые заинтересуются изданием Ваших мемуаров», и шлет «сердечный привет» от всех сотрудников Издательства, которые помнят и любят Вас... Пишу Вам первым из друзей в Америке, чтобы поделиться этой бедой. Пока я ничего не могу сообщить и так был бы счастлив, если бы Вы могли дать совет.

1 февр. Не дописал, впал в апатию, продолжаю сегодня.

Мне кажется, людей, которые заинтересуются моими воспоминаниями, надо искать в Париже. Там «ИМКА», кот(орая) издает книги, и мой сын Стива там делает иллюстрации. Пишу ему об этом. Издательство есть в С.-Франциско. Но сколько надо энергии и сил, чтобы начать новое предприятие, боюсь, что не хватит всего этого. С Чех(овским) Изд(ательством) я сговорился, что 1-ый том я закончу 1905 годом. Чтобы его закончить, оставалось максимум на 2-3 недели работы, и надо было еще дать напечатать на машинке то, что не напечатано еще, и глупо, что катастрофа случилась у самого берега.

Мне еще приходит в голову, чтобы издали книгу на «авторские проценты» и отказаться от **гонорара** — но я думаю дело конченное и все деньги исчерпаны, и поднимать этот вопрос уже поздно. Видите ли Вы Т. Г. Терентьеву, служит ли она в Издательстве? Тогда она в курсе.

Обнимаем всех сердечно. Мы все не можем уехать в Париж.

Ваш М. Добужинский.

На прошлой неделе я прочел в Пушк(инском) Клубе о «Достоевском в МХТ» и в связи с этим и о наших «Бесах» в Америке. Много думал о дорогом Мише Чехове. Как ужасно мне его жаль.

М. Д.

11, rue Ernest Kresson, Париж (14).

16-18.VIII.56.

Дорогие друзья Елена Константиновна и Евгений Иванович! Последнее Ваше письмо получили в середине мая, и кажется, я так и не писал Вам с тех пор. (Как видите, я стал писать по новой орфографии, привык за время писания моих воспоминаний, но я часто сбиваюсь и новой грамматики не знаю). Мне очень это стыдно после таких Ваших милых писем и такого дружеского зова в Америку. Простите великодушно!

За это время мы опять и опять передвигались, в конце концов в Париже, сидим в квартире нашего сына, который с женой уехал в Италию. Наши планы все менялись и меняются. Одно ясно: к весне надо ехать в U.S.A.

Перед отъездом из Лондона в Париж я получил предложение от Marie Rambert ballet (Mercury Theatre) сделать «Коппелию», но пока один акт. Поставлен он был, уже когда я был в Париже, и по всем отзывам было удачно. Я успел все-таки видеть, как писалась декорация по моему эскизу (вполне хорошо) и как начали шить костюмы. Теперь я готовлю 2-ой акт, и балет целиком пойдет в Лондоне осенью. Сердце не камень, и мне хотелось быть опять в этом городе в то время и может быть опять зазимовать в Лондоне (тем более, что соблазняет Пушкинский Клуб комнатой в их доме и даже столом... Но это еще далеко).

Мы очень разочарованы парижскими буднями, как все тут неудобно, как невероятно запущен Париж, весь расхлябан, и как все дорого! Мы жили в комнате, где очень скверно кормили и комфорт был очень примитивен, но Ел. Ос. зато отдохнула от хозяйства (как было и в Лондоне, где она его не вела). Теперь опять ведет маленькое хозяйство и **очень** устает, это уже не по годам...

А в конце мая — начале июня мы сделали интересное путешествие в **Германию**: были в Кельне и Дюссельдорфе. Повод был такой. В 1927-28 гг. я сделал в Дюссельдорфском Шаушпильхауз'е две постановки с режиссером Шаровым — «Ревизора» и «Натана Мудрого». Теперь издается книга, посвященная истории этого (знаменитого в Германии) театра, и меня просит Театр(альный) музей в Кёльне дать мои эскизы этих постановок для воспроизведения в книге, а кстати, и приехать самому. У меня сохранилось много эскизов, но только «Ревизи-

зора», и когда их привез, они почти все были куплены в музей (за гроши, как это норовят делать все музеи вообще). Музей этот еще не готов к открытию, но я видел, как он богат и интересен, а в его библиотеке 60 т(ысяч) книг. Музей помещается в замечательном замке XVIII века — настоящее рококо — подле Кёльна, в маленькой деревушке Ван, где мы и провели больше недели очень приятно. Несмотря на свою малость, в этом городишке все есть, до маникюра включительно, и отельчик, где мы жили, был очень аппетитный и с полным комфортом, не чета парижским гостиницам средней руки! Я общался все время с очень симпатичным молодым немцем, помощником директора (я нарисовал попутно его портрет, кот(орый) будет воспроизведен в той книге, о кот(орой) я говорил — он автор ее). Он нас возил в Кёльн и в Дюссельдорф, и мы удивлялись, как города эти воскресли из развалин. Кёльн еще не совсем оправился, но Дюссельдорф производит впечатление настоящей столицы с ярко освещенными улицами и элегантными магазинами, не уступающими лондонским.

По соседству, в Майнце, живет наш хороший знакомый по Ковно, де-Кастро, кот(орый) там професс(ором) русск(ого) языка. С ним виделась, и он очень советует приехать... в Висбаден — все это те же края, где, по его словам, центр худож(ественно) музык(альной) жизни в Германии. Т. к. мне интересно держать связь с Кёльнским театр. музеем, мы и решаемся туда поехать в скором времени, чтобы пожить в окрестностях.

Последнее время я забросил мои мемуары. Для меня был большой удар узнать, что Чех(овское) Издат(ельство) прекратилось, и руки опустились... Теперь пошли слухи, что будто бы Издательство получило новые средства и что оно не окончательно закрыто.

У меня **очень большая просьба** к Вам, дорогие друзья, — выяснить, действительно ли это так через г-жу Терентьеву (забыл имя-отчество) или через В. Александрову, и напишите мне. Я вижу, что в Париже издать книгу невозможно, денег ни у кого нет. Теперь мне многие говорят, что напрасно я вернул аванс! Если бы не вернул, Издательство де считало бы себя связанным издать книгу. Не знаю.

В Париже виделся, конечно, с очень многими. Мы часто виделись с Конюсами, и Татьяна приглашала к ней в Сенар, но

надо было бы поехать в начале августа и только на 10 дней, и мы не могли, к сожалению. Часто бываем у Ал. Н. Бенуа, который при его 86 годах на удивление живой и веселый, но сгорбился совершенно. (Сейчас он делает для Миланской Скала декорации для «Манон Леско»). С ним живет его старшая дочь Атя Черкесова, которая настоящий для него ангел. Бенуа всегда окружен людьми, и у него встречались и с Серебряковой, с Бушеном и Эрнстом и многими другими. Часто вижусь с Серг(еем) Маковским, к которому у меня совсем изменилось отношение, раньше же я к нему был равнодушен, теперь даже полюбил... Часто хожу к Алекс(ею) Ремизову, который уже совсем старый мухомор, и притом почти ослеп. Он странно трогательный. Летом акуратно и с интересом посещал четверговые собрания в библиотеке Опера, где делают доклады на театр(альные) темы, и встречался неоднократно с Лифарем, последний мне устраивал билеты на спектакли. В общем видел мало интересного, кроме одного балета. На выставки и совсем не хожу, беспредметное искусство на меня наводит тоску. Как видите, мой почерк испортился, «мартышка в старости слаба глазами стала». Никак не могу найти подходящих очков.

А «Любовь к 3-м апельсинам», которую привезла опера из Люблян, в Сербии, и было представление в Гранд Опера (!) меня привела в отвращение — такая безвкусица и провинция. Видели ли Вы в Сити Сентер нашу с Ф. Ф. Комиссаржевским постановку «3-х апельсинов»? С горем всегда думаю о его смерти — это **страшный пробел**, так же как и уход Миши Чехова в моей жизни. Вот это действительно «незаменимые» утраты. Но надо кончать, всего все равно не расскажешь. Сейчас уже недели две и все время занят разборкой, сортировкой, а порой и починкой и поправкой моих бесконечных рисунков, гуашей и акварелей, работ театральных и сделанных с натуры. Все это хранилось у Стивы, и многое я сделал за эти почти 4 года (!) заграницей. Накопилось всего **ужасное** количество (подумайте, сколько одних театр(альных) костюмов!). У нашего младшего сына в его доме в Массапеква тоже много — вся Литва и несколько театр(альных) работ. Вообще подсчитать всего не берусь! И вот думаю, какой это поистине **мертвый капитал**! Очень естественно подводить итоги и умозаключения, и я вижу, что надо было все это гораздо чаще показывать на выставках, чем я это делал (в Н. Я. я все-таки не так

редко выставлял), но за все эти годы в Европе я сделал только **одну** выставку в Лондоне, и то только балетных декораций. Глупо, что не задержался в Милане — там можно было бы сделать выставку, глупо, что отказался от 2-х предложений в Риме, и что так и не сговорился с одной галереей в Неаполе, — тут же, в Париже, боюсь и думать о выставке, — так все дорого!... По этому всему я стал вообще «неизвестный художник».

Но довольно ламентаций. Все-таки я продолжаю «творить» — *passer moi le mot* — но для чего и для кого все это надо? Невольно задумываюсь над этим.

Боюсь тоже одной вещи: вернувшись в Н. Й., не буду ли я должен все начинать сначала, хватит ли сил и энергии? Я, конечно, в Америке забыт, да и подумайте как много перемен и сколько ушедших в лучший мир — именно тех, кто знали и учили меня и мне помогали морально, и мне приходят в голову очень невеселые мысли.

Ну, я опять за то же самое. Пора кончать. Сердечно целую Вас обоих, так же как Е. О. Кланяемся сердечно Ирине, Капустину, Шнитниковым и всем друзьям.

Ваш М. Добужинский.

(Почт. штемпель 16.II.1957).

20 Уэтерби Гарденс, Лондон.

Милые, дорогие наши друзья. Я так давно Вам не писал — простите, писал чуть ли не из Парижа еще? Мы с октября (1956 г. Е. К.) в Лондоне, и за это время много всяких событий. Последнее — смерть Бориса Романова в Н. Й., с которым мы очень дружили, а я получил от него, недели за две до того, письмо, очень грустное, так ему плохо и трудно в Америке после Италии, и так он туда стремился... Я очень подавлен этой утратой. Подумайте, сколько в театре смертей одна за другой, какие это брешы и в моей жизни... Я написал о нем в парижскую газету «Русская Мысль».

Я здесь не совсем безработный — закончил «Коппелию» в балете Марии Рамбер, и она идет с успехом (пока в провинции), и для себя, для собственной утехи, сделал дов(ольно) много композиций и повторений разных прежних вещей, но с вариациями, а неделю назад закрылась моя выставка в «Пушкинском доме» — удалось устроиться аппетитно и обойтись без мародеров-галерейщиков — 9 петербургских гуашей и ак-

варелей и 8 лондонских, а кроме того ок(оло) 30 костюмов, вернее типов из «Войны и мира» (то, что делал для неосуществленной оперы Прокофьева в опере Метрополитэн). Совершенно неожиданно выставка «имела успех» т.е. 7 пб(петербургских) вещей и 12 костюмов проданы (3 из последних купил Виктория и Альберт Музей) — вещь небывалая в моей заграничной жизни... А на-днях получил еще заказ на 4 небольших панно для одной конторы в Сити — и вот, когда как будто что-то налаживается в Лондоне, нужно его покидать. И как не хочется попасть в Н. Й. летом, я боюсь жары, как ее перенесем? Здоровье же за этот последний год пошатнулось. Ел. Ос. выносливее меня, я же очень устаю и мне необходим среди дня сон — меня злит эта глупая потеря времени. Много еще хотелось бы Вам, дорогие наши, рассказать, но слишком много черных мыслей, стоит ли о них говорить.

Сын очень ждет нас и хочет, чтобы мы жили у него в Мас-сапекве, это страшно далеко. Конечно, с ним и нашими внуками — главная отрада, как и то, что мы увидимся и будем общаться с Вами, самыми дорогими друзьями. А с другой стороны Стива, парижский сын, умоляет побыть подольше с ним в Париже. И мы разрываемся на части. Хотим попробовать хлопотать у америк(анских) властей еще об отсрочке, хотя бы осенью уехать... Но сомнительно, дадут ли, наш же срок паспортов — 5 мая. Крепко обнимаем Вас и очень просим написать хоть немного о Вашей жизни.

Посылаем наш сердечный привет Ирине Серг(еевне), Капустину, Шнитниковой и всем близким Вашим друзьям. Будьте здоровы и благополучны.

Ваши Добужинские.

Почт. штемпель из Англии. 2.VII.1957.

11, рю Эрнест Крессон, Париж (14).

Дорогие наши милые друзья. Так давно Вам не писал, в апреле мы были в Париже, с начала мая опять в Лондоне, и, приехав, я серьезно простудился и вот два месяца вожусь с кашлем. У меня бронхит, и доктор советует переменить климат. Мы решили провести июль в окрестностях Висбадена... На-днях едем в Париж, чтобы повидать наших и ехать далее... Эта зима была нехорошая, как и ужасная весна со страшными ветрами. Живем же мы в чудном месте Лондона, на Темзе, в

Челси (в пансионе, даже где и питаемся), но есть много оч(ень) больших неудобств, и мечтаем скорее расстаться с **негостеприимным** Лондоном. Единственная отрада моя «Коппелия», кот(орая) имеет успех в провинции, в столице же, в Садлерс Уэллс будут спектакли в августе. И еще новость: я сделал «Полов(ецкие) пляски» для театра Колон в Буэнос-Айресе, балет уже прошел и, по-видимому, с успехом; еще не читал рецензий, кот(орые) мне посланы. Ставил Зверев, мой приятель по Ковно (муж Немчиновой, которая уже в отставке...).

Я в отставку **не** подаю, хоть здоровье сдало. Но за эту половину года сделал много нового, и Лондон меня «вдохновил» по-новому... Воспоминания я пишу, 1-ая часть до 1905 г. мной закончена (только не все напечатано на машинке) и продолжаю с большим интересом. Но, увы, все впустую: Чеховское Издательство глупо лопнуло, была идея издать (в извлечениях) книгу в англ(ийском) переводе, но и это не удастся. Сам же я побаиваюсь, что моя огромная книга будет неровная, вся она написана далеко не в один присест, я начал ее полный оптимизма, теперь моя жизнерадостность потухает, и невольно вкладываю в книгу много горечи.

Мы получили нов(ый) амер(иканский) паспорт до 15 октября. Как будет в Америке — не могу себе представить, даже страшно. Всегда мы Вас нежно вспоминаем. Вы ведь почти единственные наши друзья в Америке. Обнимаем сердечно. Е. О. тоже кашляет и в общем очень устала.

Ваш М. Добужинский.

11, рю Эрнест Крессон, Париж (14).

4.IX.1957.

Дорогие, дорогие наши друзья, в середине октября срок нашего возвращения в США... Как все там будет и как «образуется», непонятно (неразборчиво. **Е. К.**) и будет ли работа, а я «все еще» могу и жажду работать... и только и вижу во сне сцену... За этот год, впрочем, у меня была «Коппелия»... и «Полов(ецкие) пляски»... «Коппелию» очень расхваливала пресса за ее «свежесть» и «молодость» — вот тебе на!

Привезу все сделанное в Европе с натуры и неосуществленные эскизы «Мадемуазель Анго» в Скала и эскизы «Ев. Он.» для Неаполя. У меня много мотивов Италии, Англии и

кой-что из Германии (под Кёльном и возле Висбадена мы провели последние перед Парижем 6 недель). Надо будет подумать насчет показа всего или части, т.е. о выставке, а знаю заранее, с какими это сопряжено затруднениями (сделал также несколько портретов — рисунки). Привезу и рукопись законченной 1-ой части моих воспоминаний до 1905 года... и отдельные главы 2-ой.

Напишите, пожалуйста, сюда хоть несколько слов о Вас, о здоровье и Вашей жизни и не сердитесь, что так давно не писал, всегда помнили и любили. Передайте сердечные и дружеские приветы Ирине Серг., Капустину, Шнитников(ой) и всем Вашим друзьям.

Ел. Ос. и я крепко целуем.

Ваш М. Добужинский.

ПРИМЕЧАНИЯ

²⁴ Старый пожарный.

²⁵ Е. Климов, художник. Статья о М. К. Добужинском в газете «Новое Русское Слово» от 31.VII.1955.

²⁶ «Бесы» по роману Достоевского, в постановке М. Чехова и М. Добужинского.

²⁷ Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884-1967), художница.

²⁸ Д. Д. Бушен — художник.

²⁹ С. Р. Эрнст — художественный критик.

³⁰ Борис Г. Романов (1891-1956) — известный танцовщик и балетмейстер.

«СТАЛИНИЗМ» ПО РОЮ МЕДВЕДЕВУ

Эта статья Бориса Суварина была напечатана по-французски в парижском журнале «Est et Ouest». Ее русский перевод, прекрасно сделанный К. Д. Померанцевым, напечатан в «Русской Мысли» от 15 ноября. Мы перепечатываем статью полностью, ибо считаем ее исключительно ценной, и к тому же блестяще написанной. Мы не ошибемся, сказав, что талантливый публицист Борис Суварин является сейчас на всем Западе лучшим и самым серьезным знатоком истории большевизма и истории СССР. РЕД.

НЕСКОЛЬКО УТОЧНЕНИЙ

Имена братьев-близнецов Жореса и Роя Медведевых, как и главнейшие их труды, уже давно прорвали внутреннюю блокаду, отделяющую советскую интеллигенцию от западного мира. Их отец, Александр Романович Медведев, профессор диамата Ленинградского университета пал жертвой неисчислимых сталинских чисток. (*Диамат* — сокращенное название «диалектического материализма» — не существующий ни у Маркса, ни у Энгельса пустой педантический термин). Произведения двух братьев начали появляться на Западе с 1970 г. Каждый из них специализировался в своей области: Жорес — как биохимик и генетик, Рой — как историк и педагог, но в социальной и политической областях они нередко сотрудничают. Заключение Жореса в 1970 г. в психиатрическую больницу подняло такую волну негодования в России и за границей, что на этот раз советским вождям пришлось его освободить, что не замедлило превратить этот в своем роде, единственный случай в громкое дело. Ограниченность места заставляет нас придерживаться одной, зато весьма внушительной (638 стр.) книги Роя, вышедшей в парижском издательстве «Seuil».

Русское название книги по всей вероятности иное: насколько можно судить, оно говорит о Суде Истории, но рус-

ского текста мы не имеем, а по аналогии, по-английски, книгу можно было назвать «Let History Judge». Столь наивное доверие к Истории (кем изложенной и кем истолкованной?), наводит на скептические размышления. Но оставим их. Французский текст переведен с английского перевода, который был сделан в Соединенных Штатах, и принять который без оговорок никак нельзя, что уже справедливо отметил Тибор Самуэли в своей статье об этом труде. Что же касается французского названия («Сталинизм»), заметим, что термин этот был в свое время пущен Троцким, и о нем следовало бы поговорить.

Как при Ленине никто в Советской России не говорил о *ленинизме* (им пользовались, но и то лишь в уничижительном смысле, меньшевики и другие оппозиционеры), так и при Сталине не существовало термина *сталинизм*, который также приобрел уничижительный смысл впоследствии под пером Троцкого, отрицавшего за своим соперником право называться марксистом и ленинцем, на что всегда претендовал Сталин. В действительности же *марксизм-ленинизм* был и остается официальным эквивалентом *сталинизма*, его синонимом, согласно коммунистической оппозиции. Под сталинизмом следует понимать практиковавшиеся при Сталине всевозможные приемы и махинации, приправленные заимствованными справа и слева утверждениями и штампованными формулами, никогда даже отдаленно не напоминавшими то, что можно было бы назвать доктриной.

Но вот сам Рой Медведев заявляет себя ортодоксальным марксистом-ленинцем и все время выступает от имени кодифицированного при Сталине марксизма-ленинизма, подготавливая и разрабатывая для воображаемого трибунала Истории наиболее убедительный, прекрасно документированный, самый страшный обвинительный акт против Сталина и его клики. Конечно, тем самым его идеологическая позиция придает больший вес его труду и серии приводимых им свидетельских показаний. Его вклад в изучение, так называемого советского режима (никогда не имевшего советов в первоначальном смысле этого слова) настолько важен и значителен, что часто просто забываешь об его идеологии. В то же время совершенно невозможно не помнить — хотя бы из простого уважения к их моральным устоям — о той исключительной смелости, которую проявили братья Медведевы в их борьбе с произволом

власти, претендующей быть социалистической и коммунистической. Однако, из уважения к правде, это не должно помешать раскрытию и уяснению специфической особенности того, что можно было бы назвать «медведевским случаем» и что роднит его с целым рядом подобных же случаев внутри и вовне Советского Союза.

МЕДВЕДЕВ ЛИШЬ ПОСЛЕДОВАЛ ПРИМЕРУ ХРУЩЕВА

Рой Медведев вступил в партию после XX съезда (1956 г.), на котором от имени большинства Политбюро, и при закрытых дверях, Хрущев, в виде некоей «преамбулы» раскрыл и осудил незначительную часть сталинских преступлений, объявив, что будет назначено следствие, которое раскроет остальные. Знаменитый «секретный доклад» явился толчком к ряду всевозможных признаний, свидетельств и разоблачений, исходивших от чудом выживших в лагерях, где в нечеловеческих мучениях погибли миллионы невинных людей. На XXII съезде (1961 г.) показания приобрели уже по-настоящему ошеломляющие размеры: сменявшиеся на трибуне ораторы только и делали, что дополняли картину омерзительного деспотизма, но уже обвиняя не одного лишь главу, а и его ближайших сообщников: Берию, Маленкова, Молотова, Кагановича и др., презренных убийц и мучителей их же сотоварищей и совершенно беззащитных интеллектуалов, рабочих и крестьян.

Медведеву, как и отравленным официальной пропагандой, многим советским гражданам, казалось, что занимается новая заря, обещающая больше правды, больше справедливости и свободы, которая сменит черные годы убийств, тирании и лжи. Слепленный надеждой, он задумал написать книгу, которая стала бы вкладом в начавшееся с двух съездов «дело десталинизации», такую книгу, которую могут лишь поддержать и приветствовать и сами верхи партии и правительства. Ему казалось, что он плывет по течению. Но он горько ошибся. Пока он работал над своим внушительным трудом, партия (т.е. ее руководители), испугавшись последствий низвержения Сталина, решили остановить опасный процесс, даже дать ему задний ход, и частично реабилитировать тирана, чтобы правда о нем не подорвала основ самого режима. Распоряжением вышедшая книга Медведева была запрещена к печати, а сам автор исключен из партии и подвергнут бесконечным полицейским

преследованиям и допросам, неизбежным в практике марксистско-ленинского государства.

В конце концов, Медведев лишь пошел по стопам Хрущева и только дополнил и расширил его «секретный доклад», решив, что он уже потерял свой секретный характер. В целом он говорит языком партии и в основном верен партийным тезисам, справедливо считая себя вправе нюансировать одно, подчеркивать другое, но так, чтобы всегда придерживаться действующей догмы. И он действительно не перестает оставаться верным марксизму-ленинизму. Но он сразу же прорывает возведенную «верхами» плотину, как только начинает говорить о своих моральных проблемах: он не допускает, чтобы все было дозволено, что можно жульничать и обманывать *ad libidum* и что кому-то дано право жертвовать миллионами невинных людей, женщинами и детьми, которых даже не в чем упрекнуть. И когда дело касается приемов, ставших при Сталине совершенно обычными — а в книге все это снабжено тщательной и огромной документацией, собранной автором для обоснования своих моральных принципов — то получается потрясающий документ, которого, конечно, ему не может простить тоталитарная власть, но за который мы должны его только благодарить. Марксистско-ленинские излияния Медведева совершенно не интересуют Брежнева и ему подобных: такого добра у них достаточно. Чего они не могут допустить — это сопровождающую их убийственную некрологическую документацию.

ЖЕРТВА ОБЩЕСТВА И ВОСПИТАНИЯ

Чтобы лучше понять горестное злключение Медведева, следует вспомнить об одном, но к несчастью, почти незаметно прошедшем инциденте. В 1965 г. в Москве, под заглавием «22 июня 1941 года» вышла книга Александра Некрича, такого же правоверного марксиста-ленинца, как и Медведев. Историк-конформист, Некрич уже выпустил несколько очень конформистских трудов, умело подогнанных к систематической лжи «сталинской школы фальсификаций», как говорил хорошо сведущий в этих делах Троцкий. Некрича ввели в заблуждение два партийных съезда, которые констатировали, что Сталин, начисто разгромив партийные кадры и отказавшись учитывать поступающую со всех сторон неопровержимую информацию о неминуемости немецкой агрессии 41-го года, повел себя, как

туполобый боров, и тем самым ответственен за докатившееся до Волги немецкое нашествие. Простак Некрич, подумав, что нашел для себя абсолютно безопасную тему, решил написать книгу о роковом годе.

Написал он ее в ядовито высмеянном Кестлером «ультра джугашвилиевском стиле», с присущим этому стилю тошнотворным шовинизмом и, само собой разумеется, теми же штампами, подделками и наглой ложью — неизменными продуктами всем надоевшей «сталиноварни». Но в книге имеются две главы, в которых Некрич объединяет и резюмирует исторические данные, неопровержимо доказывающие, что неколебимо веривший в свой договор с Гитлером и Сталиным, — и только Сталин, — несет ответственность за жестокое поражение и неисчислимые потери 1941 года. Книга вышла в издательстве «Наука» (официальном) и была положительно встречена критикой (официальной), как вдруг — по повелению свыше — была отвергнута, запрещена, а автор пригвожден к позорному столбу (тоже официально). Непогрешимые руководители одумались.

Книга Медведева так и не увидела света, и по-русски имеется лишь в машинописи (в «Самиздате»), т.е. в совершенно незначительном количестве экземпляров. Все предпринятые автором предосторожности, долженствующие засвидетельствовать его лояльность режиму, как видно, не послужили ничему. Многие читатели, наверно, задаются вопросом — какова доля правды и какова — уловок (из-за цензуры), объясняющая бросающиеся в глаза противоречия в его огромном труде? Так, некоторые фразы кажутся написанными лишь в противовес другим, чтобы защитить автора от неизбежных обвинений и дать ему возможность протиснуть уже более серьезную критику и более обнаженную правду. Изнемогающий под ярмом империализма, но имеющий возможность читать на разных языках все, что ему вздумается, привилегированный западный читатель все же не вправе заподозрить искренность медведевских намерений.

Следует также подумать и о том, что — как и всё его поколение — Медведев был сформирован, обучен и выдрессирован в школе сталинского обскурантизма и в духе марксизма-ленинизма, от которых он не может отделаться, несмотря на свое искреннее желание внести свою лепту в изыскание

исторической правды, находящейся за пределами им воспринятых идей. Он неответственен за то, что ему вдалбливали с утра до вечера и с вечера до утра в течение всей его жизни. Подвластный «Главлиту» и «Агитпропу», усердный читатель штампованной прессы и слушатель одномерного радио, слишком долго лишенный объективной информации, он сначала должен привыкнуть к свежему воздуху, чтобы отличать фикцию от действительности. Вот почему анализ его прозы, хочешь не хочешь, меньше касается его самого, чем того общества, частью которого он является и от которого он не может отделаться, несмотря на то, что принадлежит к его моральной и интеллектуальной элите.

«ДЖУГАШВИЛЕВСКИЙ ЖАРГОН»

Высмеянный Кестлером «джугашвилевский жаргон» черпает свои истоки из до-сталинского периода, а после него обогащается новыми словечками и выражениями, приспособленными к нуждам малопочтенного дела. Но это все тот же джугашвилевский жаргон. Унаследованные от Маркса и Ленина некоторые термины и выражения, из-за бесчисленных повторений в непрестанно меняющейся обстановке, в конце концов, совершенно теряют свой первоначальный смысл. Другие, импровизированные невежественными приспешниками, пускаются в ход путем самой примитивной пропаганды и рекламы. В конечном счете, многие умышленно лживые выражения укрепляются даже в заграничных кругах, как будто застрахованных от коммунистического влияния, но по непрости-тельной глупости, распространяющих и на Западе коммунистический словарь. Так, насквозь фальшивая формула «культ личности», которую охотно повторяют буржуазные попугаи, буквально наводняет всю книгу Медведева и дискредитирует многие ее места. Заимствованная из одного, почти никем не читавшегося письма Маркса, она послужила и до сих пор служит наследникам Сталина, чтобы скрыть страшную правду, свидетелями которой они были. Причем тут «культ» и причем «личность», когда дело касается отвратительных беззаконий, преследований и убийств ни в чем неповинных людей? И это лишь один из многочисленных лингвистических примеров, которых в книге сотни.

Наиболее навязчивым термином, которым буквально на-

бита эта неудобоваримая проза, является неологизм, сфабрикованный из французского слова «répression» по-русски ставший «репрессией», так что и сам глагол «réprimer» превратился в — «репрессировать». Тысячу раз говорит Медведев о... репрессировании невинных людей, самоотверженных активистов, случайно арестованных бедолагах... так что становится страшно перед всей этой массой лиц *репрессированных репрессирующими* палачами. Но читатель не понимает — что означает «репрессия» там, где нечего было подавлять (по-французски «réprimer»). Это попросту ничем не обоснованные, произвольные и бесчеловечные расправы. Судите сами:

Медведев пишет: «Сотни женщин, работавших в партии, были арестованы и подвергнуты таким же пыткам, как и мужчины». Дальше: «Бывшие руководители Кавказа, под личным наблюдением Берия, подвергались самым утонченным пыткам». Дальше: «Следователи подвергали пыткам сотни детей». «Ряд малолетних, *детей врагов народа*, были арестованы и расстреляны» и т.д., и т.д. Медведев называет поименно целый ряд ни в чем неповинных женщин и детей, жертв этой страшной *репрессии*, которой не переставали восторгаться на Западе так называемые «левые интеллектуалы». И вот спрашивается — репрессии чего? Репрессии для чего? Ответа нет. Вопрос настолько серьезен, что его следует иллюстрировать, превышающим всё воображимое но, увы, далеко не единичным эпизодом.

В вышедшей в 1940 г. книге о Сталине мы отметили участь, постигшую Нестора Лакобу, председателя абхазского исполкома и панегириста Сталина: Лакоба воспевал «величайшего человека эпохи, какими история одаряет человечество один раз в сто, в двести лет», «гениальнейшего сталиного вождя, нашего дорогого и любимого Сталина». Тем не менее, он и два его родственника Михаил и Василий, погибли во время резни, учиненной по приказу Сталина. И вот Медведев рассказывает, как в тюрьме каждый вечер жену этого самого Лакобы уводили на допрос и «утром приводили обратно без сознания, всю в крови». Ей даже «пришлось вынести жесточайшую из пыток: к ней вталкивали всего в слезах избитого четырнадцатилетнего сына и грозили, что если она не подпишет, его убьют». Сына так и убили, а «после целой ночи новых пыток, сама она умерла в своей камере». И вот это

называется репрессией! Можно ли без ужаса и отвращения читать такие вещи?! (Выходит, что можно; напр., в редакции «Ле Монд», для которой все это не имеет никакого значения. См. ниже).

«КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» — «КУЛЬТ ПАРТИИ»

В менее зловещем, но все же достаточно отвратительном плане, за приклеиваемый без разбора эпитет «мелкобуржуазный» первым ответственным Маркс. Им безрассудно злоупотребляли и Ленин, и Троцкий, затем — начиная со Сталина и кончая Брежневым — им стали жаловать Мао, а Медведев наградил им самого Сталина. Но так и остается неизвестным — в чем разваливающийся китайский деспот и кровавый грузинский сатрап мелкобуржуазны (если, конечно, слова имеют хоть какой-то смысл)? В том же порядке, само воплощение партии — ее основатели и руководители — вдруг становятся «антипартийцами»! На чем основана вся эта галиматья?

Стопроцентные сталинисты-высочки под шумок «реабилитируют» ничтожную часть своих массовых чудовищных жертв, без малейших указаний места, даты, причин и обстоятельств совершенных ими убийств. Но разве так надо «реабилитировать»? Они же не перестают говорить о «демократическом» централизме там, где налицо железный централизм без малейшего намека на демократию. А две державы — Россия и Китай — аннексировавшие после войны огромные территории с их населением, называют «империалистическими», отказавшиеся от своих колоний страны! Что же касается профессионалов измены и предательства, то они имеют наглость называть себя «патриотами» и т.д.! Было бы хорошо, если бы какой-нибудь филолог хоть немного занялся этой темой.

Совершенно ясно, что по тому, как человек выражает свои мысли, можно заключить о том, как он думает. Это также относится и к словарю Медведева, где лейтмотив «культа личности» выдает неспособность или нежелание проникнуть в сущность вещей. И действительно, «культ личности» никогда не был основной причиной безграничной власти «генерального секретаря»; он был ее следствием. Культ же, т.к. культ существовал, был культом партии, основанной Лениным, который провозгласил исторический примат пролетариата и тут же подменил пролетариат партией, создал всемогущую тайную

полицию, названную им «мечом пролетариата» и заявил, что в этом и заключается диктатура пролетариата, которая сразу же стала диктатурой Центрального Комитета и, в конечном счете — личного секретариата Сталина. Таково настоящее объяснение процесса, позволившего «отцу народов» уничтожить миллионы людей и, укрепившись на их трупах, стать единодержавным властелином пропаганды и информации и предстать перед напуганным до смерти народом тем, кем он никогда не был: учителем, вождем и кумиром.

Изначальная вина Ленина совершенно очевидна. По убеждению или осторожности Медведев этот вопрос обходит. Он считает Ленина безупречным, возводит его безупречность в постулат — кстати совсем недоказанный — который искажает большинство марксистско-ленинских умозаключений. В книге очень много говорится и об ошибках Троцкого, Зиновьева, Бухарина, Каменева, Покровского, Скрыпника, Розы Люксембург и т.д., но никогда не уточняется — в чем эти «ошибки» заключались. Так, Медведев ничем не обосновывает ледоруб убивший Троцкого или пули в затылки Бухарина и Зиновьева: все это в наказание за их «ошибки». Но за какие ошибки? Совершенно очевидно, что Троцкий и ему подобные их совершали и совершали совместно с Лениным и Сталиным, но почему же не сказать какие и настойчиво снимать ответственность за них с единого и неприкосновенного? В конце концов, прочтя эту внушительную книгу, создается впечатление, что ошибались решительно все, кроме Ленина и Медведева.

ДОСАДНАЯ ПУТАНИЦА

Однако сам Ленин неоднократно признавался в своих ошибках, и вовсе не пустяковых; открыто говорил о своих просчетах, и очень значительных, в чем он никак не походил на Сталина. В этом смысле мы не раз его питировали и, кстати, сам Медведев ссылается на Сталина, заявившего, что «Ленин в вопросах большой важности признал свои ошибки». Правовверный марксист-ленинец, Медведев предпочитает об этом не знать, но Сталина за это упрекает. Он упрекает Троцкого за его теорию «перманентной революции», рассчитывавшую на «скорую победу революции мировой». Но если кто-нибудь не переставал предсказывать такую революцию, так это прежде всего сам Ленин. И это настолько известно, что и доказывать

смешно. Кроме того, сама советская Энциклопедия 1930 г. утверждает, что теория перманентной революции была «выдвинута Марксом и Энгельсом и затем Лениным, как процесс развития революции». И сам же Медведев через несколько страниц пишет: «Не один Троцкий в это верил. В первые годы революции это мнение разделял и Ленин».

Как же наш марксист-ленинец выходит из этого положения? Очень просто: у Троцкого это было «ошибкой», тогда как у Ленина — «надеждой». Такие разграничения были бы смешны, если бы и сама книга была смешной, к несчастью, это далеко не так. Подобных же противоречий хоть отбавляй: иногда из-за неспособности автора уточнить свою мысль, иногда потому, что этим способом он вероятно рассчитывает получить *имприматур*. Порой создается впечатление, что у него просто не было времени перечитать написанное.

Он явно озабочен тем, чтобы отмежеваться от того, что когда-то являлось правой и левой оппозицией, но делает он это с помощью присущих марксизму-ленинизму никак не обоснованных утверждений. В самой ретроспективной критике троцкистов и других «еретиков» нет ничего предосудительного: но все же не следует смешивать законные возражения с приспособленческой клеветой. Один только раз Медведев ясно формулирует упрек по адресу Троцкого, и это по случаю злоупотребления властью, во время гражданской войны до 1920 г. но это не имеет никакого отношения к «троцкизму». К тому же наш автор забывает напомнить, что в этом деле Ленин покрывал Троцкого (один и тот же поступок он ставит в плюс одному и в минус другому: странная логика!).

Нравится ли ему или не нравится, но в основном Медведев разделяет взгляды Троцкого, т. к. он считает советское государство — государством пролетарским с бюрократическими деформациями, как, кстати, считал и Ленин, тогда как оно решительно ничего пролетарского не имеет: никто никогда не спрашивал пролетариат, согласен он на него или не согласен. Дело попросту в том что партийная олигархия претендует на то чтобы олицетворять собой власть пролетариата, тогда как на самом деле она лишь его угнетает и эксплуатирует. Как и Троцкий, он не перестает утверждать, что партия всегда права и, подчеркивая его ошибки, то и дело подтверждает его позиции! Между прочим, вспомнив о неизвестно какой ошиб-

ке Троцкого в... 1905 г., он делает недвусмысленные намеки на «эмигрантов-троцкистов»: обвинение явно ложное, т.к. ни один из троцкистов не эмигрировал. Как известно, никогда не эмигрировал и сам Троцкий, а был выслан *tanu militari*, тогда как ряд большевиков — «невозвращенцев», как напр., Раскольников, Бармин или Кривицкий, были совершенно правы, не желая отдать себя в руки палачей. Но это никак не делает их эмигрантами. Это лишь несколько примеров медведевских обвинений против левых, не стоят большего и обвинения против правых.

И действительно, несколько раз Медведев нападет на тех, кто как Зиновьев, Каменев и Рыков, откололись от Ленина во время «Октября», но совершенно не доказывает их ошибок, тогда как все последующие события лишь подтвердили их тогдашние позиции, и тут же упрекает тех, кто, как Бухарин, Томский и Рыков, при некоторых обстоятельствах предпочли промолчать, тогда как, по его мнению, они должны были бы высказаться. Но всякий правоверный марксист-ленинец должен был бы знать, что эти последние уже чувствовали холодок пистолета у своего затылка. Наш автор доходит даже до того, что признает, будто в 1934-1935 годах причастность Зиновьева и Каменева к убийству Кирова «казалась вероятной». Предположение совершенно нелепое, тем более, что теперь он сам считает его «маловероятным». Такого рода нелепости досадно отражаются на значении книги, в которой все же очень много нужной правды.

Что же касается Бухарина, то на стр. 230-232 воспроизведено его буквально ошеломляющее письмо «к будущему поколению партийных руководителей», ошеломляющее своей наивностью и непоследовательностью и поражающее ничтожностью своей риторики и патетики.

Называвший себя закоренелым материалистом несчастный смертник заботится о потомстве, чтобы оно знало, что не он «поджег Кремль»: высшее утешение, с которым он хочет перейти в потустороннее ничто. Потомство же для него — лишь будущие партийные руководители. Ну, а простые партийцы — кто же с ними считается? О пролетариате же не стоит даже и говорить!

Анализ этого документа занял бы слишком много времени, но безусловная заслуга Медведева в том, что он дает серьезным

читателям и достойным своего звания историкам массу нового материала, неопубликованных текстов, ценнейших цитат, без которых в будущем уже нельзя будет обойтись. Все это, к несчастью — попеременно с общими местами марксистско-ленинских штампов, не убедительных ни с какой стороны.

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ МЕШАНИНА

Для Медведева, как и для троцкистов, безошибочность Ленина очевидна, а это значит, что в октябре 1917 г. Сталин ошибался, т.к. он был согласен с Троцким в выборе дня восстания, которое они хотели приурочить к II съезду Советов, тогда как Ленин ждать не хотел. Здесь можно только оправдать Сталина (исключение лишь подтверждает правило), а значит и Троцкого, не по существу, что в данном случае совершенно неважно, но за проявленную им независимость. Следуя за Троцким, Медведев упрекает Зиновьева, Каменева, Рыкова и др., в том, что в Октябре они спорили с Лениным, настаивая на коалиции главнейших социалистических сил. Но они все же были правы, сомневаясь в неминувости близкой «мировой пролетарской революции» и считали, что большевистская власть может быть безраздельной лишь «с помощью политического террора». История только подтвердила их прозорливость, вопреки всему тому, что вслед за Троцким, пишет Медведев. Вступив на этот путь, он договаривается уже до того, что обвиняет Троцкого в том, что тот способствовал укреплению «легенд» об его роли в Октябре. Обвинение несправедливое и необоснованное, т.к. дело вовсе не в легендах: сам Сталин подтвердил решающую роль, сыгранную Троцким, и сам Медведев на него ссылается, прибавляя новое противоречие ко многим другим в своей книге.

Среди изобилия тем, переплетающихся в этом внушительном труде, тем разобранных или только затронутых, растянутых и неравноценных, чисто по-русски плохо подобранных, где столько страниц заставляют пожимать плечами квалифицированного читателя, тогда как другие настолько значительны, что должны были бы быть развиты и уточнены — во всей этой мешанине можно лишь остановиться на местах характерных для, так называемых, марксистско-ленинских историографии и идеологии, не слишком заботясь об их значительности. Более углубленный анализ потребовал бы методической пе-

регруппировки скомканных событий и тем, распределения в хронологическом порядке всего материала и помощи твердо обоснованных критериев для выявления антиномии, противопоставляющей марксизм-ленинизм автора и его цензоров изначальной доктрине основателя партии в первых годах нашего века. Для этого потребовался бы труд, по крайней мере, по объему равный разбираемому.

Перед тем как перейти к главному, т.е. к исключительной важности книги Медведева, следует отметить еще несколько штрихов, роднящих ее автора с теми, чьи «ошибки» и «преступления» он так яростно обличает, но делает это так, что очень трудно отличить то, что на его языке называется преступлением, от того, что является для него лишь простой ошибкой, настолько велик сумбур в голове и в стиле апологетов марксизма-ленинизма.

Конечно, расхождения между теорией и практикой в различных вариациях социализма не новы. Медведев напоминает о том, что Маркс и Энгельс говорили о «казарменном коммунизме» и о, появившихся в прошлом, разных «видах» социализма: «грубый», «примитивный», «эгалитарный», «военный», словом — деградирующий. Гитлеровский и сталинский «национал-социализмы», среди которых больше аналогий, чем расхождений, были бы на своем месте в этой коллекции, в которой все налицо, чтобы оправдать замечание Маркса: «Мы уже знаем о роли глупости в революции и о том, как умело она используется проходимицами» (601 стр. Медведева с неточной ссылкой и, увы, не единственной; 296 стр. моей книги о Сталине 1935 г.; в свое время на него ссылался и Ленин).

ВСЕ ПОШЛО С ЛЕНИНА

Среди чудовишных зверств, заклеивших после смерти Ленина псевдо-советский режим, были ужасающие, как их называл Фриц Адлер, «процессы ведьм», посеявшие настоящую смуту в простом народе и не только в самом СССР, но даже за границей, где все же можно было спокойно и объективно судить о подобного рода небылицах. Даже в 1922 г. при жизни больного Ленина, процесс эсеров уже не явился образцом правосудия, но обвиняемые все же могли говорить смело и совершенно свободно. Их защищали, приехавшие из западных стран, адвокаты-социалисты. Лишь впоследствии стало известно

о роли агентов провокаторов в этой отрывке гражданской войны. Но уже Шахтинский процесс 1928 г. превратился в безобразную и жестокую пародию, начисто сфабрикованную в ПИУ, применявшем самый отвратительный нажим, чтобы вырвать ложные признания. Это была настоящая генеральная репетиция перед годами террора, как это блестяще показал в своем внушительном труде Бертрам Вульф. Уже начинала чувствоваться рука Сталина.

Не менее отвратительной, преступной и лживой явилась в 1930 г. инсценировка процесса промышленников и, в 1931 — меньшевиков, которые за исключением одного, никогда меньшевиками не были. Наконец, три процесса главнейших лидеров (Зиновьева, Каменева и др.) в 1935 г., (Пятакова, Радека и др.) в 1937 г. и (Бухарина, Рыкова и др.) в 1938 г. превзошли своими махинациями и бесстыдными подделками все до сих пор виденное, не говоря уже о «не-процессе» генералов (нет никаких доказательств, что таковой действительно был) и последовавшем за ним уничтожении кадров Красной армии. Обо всем этом Медведев в одном случае молчит, в другом не договаривает, в третьем сообщает интересные сведения, в четвертом искренне возмущается, но он совершенно неспособен осветить мрачную закулисную сторону всех этих трагедий, одинаково и зловещих и фальсифицированных, будучи бессильным связать их между собою и затем с пресловутой системой, которую продолжает считать незыблемой.

И все оттого, что Медведев продолжает твердо верить, что в Октябре действительно произошла пролетарская революция, что она установила диктатуру пролетариата, что партия уполномочена пролетариатом с его непогрешимым глашатаем — Лениным, а главное — что за двадцать лет был построен социализм и что до появления Сталина все шло хорошо и т.д. Понимает он это или нет, но таковой была в этом отношении и позиция Троцкого. Она совершенно неосновательна. Это никак не История, это историйка для малограмотных комсомольцев.

Так называемая пролетарская октябрьская революция была попросту актом насилия, военным переворотом, произведенным «Военно-революционным комитетом», как об этом заявил сам Троцкий, открывая 7 ноября заседание Петроградского совета. Произошло то же самое, что и 18 брюмера, когда тще-

душная власть была свергнута гарнизоном столицы. Часть населения его поддержала, большинство же подчинилось. Сама же революция началась потом и при посредстве декретов. Гражданская война происходила между двумя меньшинствами и выиграла ее лучше организованная и более дисциплинированная сторона, хотя достоинства ее победы никогда доказаны не были. Партия удержалась у власти лишь за счет отказа от своей программы и вопреки своим принципам. Последующие события показали чего стоит догмат, от которого Медведев не может, или не хочет, отказаться.

Исходя из этого первородного догмата, его ленинские производные не перестают множиться и переплетаться. Склонившиеся на все лады союзы «городов и деревень» или «рабочих и крестьян» никогда не существовали: когда, где и как те и другие были опрошены? Ленин писал, что «если 130.000 могли в интересах богачей управлять Россией, то 240.000 большевиков смогут ею управлять в интересах бедняков». Quid пролетариат? Три года спустя он признал, что добившаяся абсолютной власти, партия была на поводу у «настоящей олигархии», абсолютного властелина государства. Quid пролетариат?

Медведев обвиняет Сталина в нарушении советской законности. Но Ленин на все лады кричал, писал и говорил, что «Диктатура это власть непосредственно опирающаяся на насилие и не связанная никакими законами...» и — «Неограниченная, — сверхзаконная власть, опирающаяся на силу в самом точном смысле этого слова, это и есть диктатура...» и затем «Научное (sic!) понятие диктатуры относится к ничем не ограниченной власти, которую не обуздать никакому закону и никакому правилу и которая основывается непосредственно на насилии». Неужели это не достаточно ясно? Чего таить? — Сталин оказался достойным учеником, но, конечно, не следует забывать, что узкое доктринерство и незаинтересованный фанатизм Ленина были совсем другого порядка, чем преступный эгоцентризм Сталина.

Рискованные утверждения марксизма-ленинизма, подобные таким же утверждениям троцкистов, слишком многочисленны даже для простого перечисления. Медведев утверждает, что «Октябрьская революция» осуществила «социалистическую демократию», что в тридцатых годах Советский Союз

был «единственной в мире социалистической страной», что внутренняя борьба тех лет была нераздельна с «построением социализма», а не, как то думают буржуазные историки, борьбой за власть (однако присоединившийся к Троцкому Зиновьев признал, что борьба за власть все же была. Неужели и Зиновьев буржуазный историк!?). Медведев отрицает образование «нового господствующего класса», констатируя лишь существование «новой касты». Здесь снова он следует за Троцким, великим специалистом в подобного рода праздном словоблудии. Добрая порция его утверждений уже содержалась в декларациях покойной, так называемой, троцкистской оппозиции прежних времен, которые несмотря на многочисленные ошибки и их даже не определив, он приписывает Троцкому и другим. Словом, всем, кроме Ленина.

Со всем этим, и это следует подчеркнуть, Медведев неоднократно проявляет настоящий здравый смысл, делает интересные замечания, умело ссылаясь на Маркса, Энгельса, Горького и на др. и также приводит мудрые высказывания Ленина о демократическом социализме, но, к несчастью, забывает, что на практике ничего подобного не существовало. Ссылаясь же на похвальные решения партийных съездов, Медведев умалчивает, что они существовали только на бумаге. Он знает, что Ленин осуждал «комчванство» и «комложь», но почему-то их вовсе не замечает, в кишасе ими марксизме-ленинизме. Однако, лучше обо всем этом не говорить, а перевернуть страницу и перейти к действительно заслуживающим внимания местам его книги, к зловещему мартирологу, который он терпеливо составил для иллюстрации подлинной истории сталинизма: эта документация затмевает все рассуждения книги. Без преувеличения можно сказать, что она явится памятной запиской для будущих историков.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ИЗ КОГДА-ЛИБО СУЩЕСТВОВАВШИХ НЕКРОЛОГОВ

На протяжении всей книги только и говорится, что о репрессиях (репрессиях чего?), о произвольных арестах, о казнях, о вырванных пытками признаниях, об отдельных и массовых убийствах. Главнейшие партийно-правительственные руководители, виднейшие дипломаты и военачальники, ответственные за администрацию и экономику страны высшие чи-

новники почти все опозорены, арестованы, уничтожены. Не пощажены ни их жены, ни их дети. «Серьезные ошибки» Сталина — как их называет Медведев — в области коллективизации и индустриализации, осуществляются лишь за счет ликвидации миллионов крестьян и сотен тысяч рабочих. Их семьи сбрекают на нескончаемые бедствия и, в конце концов, на смерть. Входившие в состав Совета национальностей высшие и средние кадры выкорчеваны до основания. Тюремны переполнены, в Сибири и на ледяном Севере зловеще множатся концлагеря. Кровь льется ручьями и без остановки, рыдания и стоны заглушают душераздирающие жалобы матерей, жен и детей невинных мучеников. Удручающее, почти невыносимое чтение для тех, кто (как, напр., автор настоящей статьи) знал большинство поименно названных жертв, для тех, кто любит русский народ, как и другие, подвергнутые той же участи народы.

С четвертой главы начинается, не прекращающаяся вереница призраков. Дело уже не ограничивается одними лишь «репрессиями» и «ошибками», но бессовестнейшими провокациями и отвратительнейшими преступлениями Сталина. Это уже сплошные подделки, клевета и махинации, насквозь ложные признания, подтасованные процессы, пытки и самоубийства. Сталин приказал убить своего ближайшего «друга» Кирова и, воспользовавшись убийством, учинил ленинградскую расправу завершившуюся горами трупов. Затем он начал — тщательно ее подготовив и обдумав — такую же расправу с партийцами и непартийцами, по всей стране в результате чего были ликвидированы все «старые» большевики, за которыми последовали средние и юлодые. Медведев составляет поименные списки, являющиеся самыми потрясающими из некрологов. Здесь решительно все: члены Политбюро, Центрального Комитета, Исполкома, Высшего экономического совета, дипломатического корпуса, академических кругов, генерального штаба, тайной полиции, профсоюзов, деятелей литературы и искусства. Все они проходят, как грандиозная похоронная процессия по траурным страницам, вызывая ужас и головокружение.

Самое страшное — это пытки и издевательства, которым подвергались жены и дети тех, кого Сталин решил уничтожить. Для осуществления своих целей тиран-садист имел в своем

распоряжении беспрекословных начальников своего ГПУ: Ягоду и Ежова, которых он тоже не постеснялся отправить к прародителям за то, что они слишком много знали. Как показало в своем докладе Хрущев, он уже собирался послать им вдогонку и Берию, но смерть опередила его планы. Он также думал «ликвидировать» Молотова, Ворошилова, Микояна, Булганина и других свидетелей и сообщников своих главнейших преступлений. Заметим, кстати, что не только «похоронные» главы, но вся книга вообще, и смыслом и содержанием, опровергает распространенное на Западе убеждение о несуществовании «дела Бухарина» и «дела Тухачевского»: в действительности было одно, постепенно и поэтапно развивавшееся, одно единственное дело — дело Сталина против ленинской партии и против советского государства, каким после себя его оставил Ленин. К сожалению западная кумиромания извращает историческую действительность, мешает ее пониманию.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ

Узнав о ликвидации бывших коммунистических руководителей, Муссолини подумал — «Уж не стал ли Сталин тайным фашистом?» и решил, что во всяком случае «Сталин оказал хорошую услугу фашизму, поголовно скосив под корень всех своих обезвреженных врагов» (его статья в «*Popolo d'Italia*» 5 марта 1938 г.). Но он не знал и даже не мог себе представить, какие зверства творились в застенках советских тюрем и какие еще только подготавливались и перед которыми зверства фашизма казались детской забавой.

Описанные Медведевым сцены показывают, что Сталин действительно «скашивал под корень» и не одних только своих политических врагов (уже давно ликвидированных), но расправлялся со всеми слоями общества, выискивая несуществующих противников среди интеллигенции и людей политики, в деревнях и в городах, дабы довести до полного отупения своих до смерти перепуганных подданных.

И он сам требовал от палачей, чтобы они не стеснялись пытали невинных людей. Только за три года он «собственно-ручно» подписал около четырехсот списков... с именами сорока четырех тысяч лиц, которыми нужно было пожертвовать (не считая, конечно, миллионы безымянных смертей). Молотов, Ворошилов и другие проходимцы, не только подписывали

списки после Сталина, но снабжали их своими комментариями. Редко кому удавалось выжить. «Рассказы чудом выживших леденят кровь», пишет Медведев. От астрономического же числа жертв кружится голова, она попросту их не вмещает. Жуткая деталь: некоторые высшие партийные работники, как напр., Любченко и Владимиров, перед тем как покончить с собой, убили своих жен и детей, чтобы избавить их от ожидавших их на допросах истязаний. Можно ли не содрогаясь читать такие страницы? (для редакции парижского «Ле Монд» как будто можно, для нее в этом нет ничего ненормального. См. ниже).

Вот и приходится задуматься — стоит ли после всего вышеописанного уделять особое место иностранным коммунистам, принесенным в жертву кровожадному идолу? Но несколько слов все же приходится сказать: большинство партийцев всевозможных национальностей, объединенных под эгидой Коминтерна — немцев, поляков, испанцев, венгров, югославов и др. — были арестованы, депортированы и без суда и следствия ликвидированы. «Исчезло бесследно 842 немецких антифашиста», пишет Медведев. Укрывшиеся «на родине социализма» немецкие евреи были бессовестно выданы Гитлеру. «Находившиеся в России коммунистические руководители и активисты европейских стран почти все погибли, тогда как их соотечественникам, содержащимся в тюрьмах у себя на родине, удалось выжить». (Об этом подробно написал Бранко Лазич в своем труде «Мартиролог коминтерна» «*Comptat Social*» том IX, № 6 декабрь 1965 г.). Семья Либкнехта (как, впрочем и семья Ленина) подвергалась унижительным преследованиям. Фриц Платтен от голода и истощения погиб в сибирских лагерях. Жена Куусинена (как и жены Молотова и Кагановича) была посажена в тюрьму. Можно исписать страницы и страницы иллюстрируя эту страшную хронику.

«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ»

Таким образом, Медведев широко трансцендировал свой марксизм-ленинизм, составив и представив поистине потрясающий документ. Движимый своими моральными импульсами, бескомпромиссными и безоговорочными, он, по его собственным словам, предстанет перед судом Истории, «незабываемым свидетелем обвинения». Тысячи книг, написанных о Со-

ветском Союзе исчезнут и позабудутся, тогда как его показания останутся навсегда и будут изучаться *элитой* (если, конечно, будущее...). Центральная тема книги не совсем нова, т.к. уже Хрущев со своими приспешниками сначала на XX, а затем на XXII съезде приоткрыл секретные архивы: стоит ли, с присущей нам нескромностью, снова напомнить, что автор настоящей статьи уже давно начал составлять «замогильный список» сталинских жертв в своей книге о Сталине (изд. Plon, Париж, 1935) и продолжил его в подробной статье, появившейся в «*Révue de Paris*» (июль, 1937) под заглавием «Кошмар в СССР?». Отметим также, что в парижском издательстве вышла в 1972 г. книга Н. Конкеста «Великий террор», где собрано все, что известно об этом в наше время. Но по совершенно очевидным причинам Медведев оставляет далеко за собой все до него существовавшие документальные компиляции.

Он имел доступ к некоторым, прежде остававшимся засекреченными, архивным материалам первостепенной важности. От редких, оставшихся в живых свидетелей, он смог получить новые показания, интимные письма, спрятанные документы, уточнения остававшихся невыясненными вопросов, массу никому неизвестных деталей, иногда настоящие исповеди. Он окончательно рассеивает все сомнения относительно таких вещей, как убийство Кирова и «Ленинградское дело». Думаю, что все серьезные историки и квалифицированные комментаторы могут с успехом поучиться у Медведева.

Можно только пожалеть, что совершенно невозможно остановиться на всем фактическом материале, собранном нами автором, разбирая лишь его незначительную часть. А главное — обедняя анализ книги невозможностью подчеркнуть ее противоречия, изменяющие ее некоторые *лейтмотивы*.

Вот один пример: Медведев, как будто между прочим, признает, что и до Сталина существовал «некоторый вид культа по отношению к таким понятиям, как Партия, Советское государство, Революция, Пролетариат», вместе с верой во всеведение Партии. Таким образом, как мы это и показали, «культ» восходит к Ленину и противоречит медведевской версии, что все зло пошло от Сталина. Но одна фраза не может перевесить целую книгу, и несколько раз приходится задумы-

ваться над подобными аномалиями, которые выдают своеобразную кухню, через которую пришлось пройти рукописи.

Возможно ли, не остолбенев, прочесть (стр. 221), что на своем процессе Радек ничего не говорил о Тухачевском, тогда как это именно он первый (по приказу, конечно) на судебном заседании 24 января 1937 г. назвал это имя и снова повторил его на втором заседании в тот же день? Возможно ли, что Медведев не перечел стенографического отчета? Несколькими страницами дальше он замечает: «Выше мы описали расстрел комиссара Ягоды и его помощников В. А. Балицкого и Я. С. Агранова». Однако ни о чем подобном «выше» не говорится. Значит рукопись была «исправлена». На 195 стр. утверждается, что первая статья Радека была написана «с исключительной целью польстить Сталину». Неужели Медведев не знал о статье Пятакова «За руководство» написанной много раньше? Иногда вмешивается и переводчик. Так он переводит прозвище «Коба» словом «неукротимый», тогда как всякий грузин знает, что «Коба» — уменьшительное от Иакова (Якобы), героя популярного романа Александра Касбегги «Отцеубийца», которым зачитывался молодой Джугашвили.

Он также не знает точного значения, часто встречающегося французского слова *exaction* (вымогательство). Наверно никогда он не слышал и о таких словах, как «параша», «держиморда» и т.д. Иногда же просто опускаются руки, когда приходится читать, переведенные с китайского и прошедшие через русский, такие, напр., утверждения, что ошибки Сталина имели «эпистемологические» корни! Если слова должны что-то означать — то какое отношение к Сталину имеет эпистемология? Как говорится по-китайски «эпистемология»? Эта незадачливая стряпня невольно наводит на мысль о слиянии «джугашвилищины» с тем, что Поль Валери называл «океаном тарабарщины» (*l'océan du charabia*), наводняющем университеты Венсена и Нантера, печать и радио.

«ЗАТУШЕВКИ» «ЛЕ МОНДА»

За неимением места, оставим в покое автора предисловия и коснемся лишь «затушевок» «Ле Монда», порой умышленных, порой преступных, но всегда остающихся в слишком хорошо известном стиле этой газеты, при посредстве которых она старается сгладить страшное впечатление, которое эта

книга должна неизбежно произвести на непредвзятых и честных людей.

Нет, Впрочем, ничего удивительного, что идущей на поводу у коммунистов газете, под обманчивым покровом эклектизма и с помощью лживых абстракций, удастся, без тени осуждения и отвращения, комментировать самые страшные преступления сталинизма. Но она дошла даже до того, что дерзнула завербовать на этот случай апологета чекистского террора, оправдывающего гражданской войной (окончившейся еще при Ленине, в 1920 г.), непрекращавшийся с 1934 по 1953 г. коммунистический погром. И вот, когда «все шло к лучшему в социалистическом отечестве», больше миллиона партийцев (не считая женщин и детей) были ликвидированы ради «построения социализма» (sic!), но оказывается, что все это в порядке вещей, что все это «чисто русское явление», тогда как на самом деле это попросту господ из «Ле Монда», чистокровные французы, покрывают своим тошнотворным волапоком чудовищные мерзости нацистов советской олигархии.

Угодно это или нет, но подобная наглость начисто опровергает успокаивающие и поверхностные теории тех, кто утешает себя популярным в Америке припевом «It cannot happen here» — «Здесь этого не может случиться»! Может, и еще как! Везде, в любом месте и в любое время, как это, для посрамления рода человеческого, показывает история последних лет. Уже в своем «Происхождении басен» Фонтенель предупреждал: «Все люди настолько похожи одни на других, что не существует народа, который мог бы потрясти нас своими глупостями». Доказательств тому — хоть отбавляй, с той только разницей, что кроме глупостей следовало бы обращать внимание и на более трагические явления.

Борис Суварин

А. Д. САХАРОВ

И ПРОБЛЕМА МИРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

На одном из правительственных приемов в Кремле в 1961 г. к Хрущеву подошел хорошо знакомый ему ученый и передал из рук в руки письмо. Этот контакт не вызвал у личной охраны Хрущева какого либо беспокойства, так как приблизившийся к главе государства и партии человек был академик Андрей Дмитриевич Сахаров, один из шести ведущих руководителей атомной физики, которому было разрешено по существующим правилам обращаться непосредственно к Хрущеву. Однако, когда Хрущев ознакомился с содержанием письма, он пришел в негодование и сразу лишил Сахарова привилегий, позволяющих подобные вольности. Письмо, переданное Хрущеву, было протестом по поводу объявленного испытания в атмосфере самой мощной 100-мегатонной водородной бомбы. Сахаров заявлял, что это испытание не имеет никакого научного или военного значения и проводится с чисто политическими целями. Он говорил и о биологической опасности для человечества испытаний атомного оружия. Испытание сверхмощной бомбы было, конечно, проведено, а Сахаров был понижен в должности и лишен той постоянной личной охраны и неограниченных научных и технических возможностей, которые имели такие его коллеги, как знаменитый Игорь Курчатов, Юлий Харитон и ряд других. Но он продолжал разработки в области атомной физики, в основном в направлении возможных проектов мирного энергетического использования атомной энергии.

То, что академик Сахаров работает в особо важной секретной области науки и занимает там ведущее положение было очевидно именно потому, что о Сахарове почти никто ничего не знал, хотя он упоминался и в официальном списке членов Академии Наук и в Большой Советской Энциклопедии. В

списке Академии Наук имя Сахарова было приведено без указания института, в котором он работает и без указания его домашнего и служебного телефона. Это исключение было сделано только для шести академиков и оно указывало на особо важный и секретный характер их исследований. В Большой Советской Энциклопедии было сказано, что Сахаров, родившийся в 1921 г., был избран в Академию Наук в 1953 г. Но в списке его основных работ были приведены только три статьи, опубликованные в 1947-1948 г. Совсем не говорилось о том, что Сахарову три раза было присвоено почетное звание «Героя Социалистического труда» и что он несколько раз был награжден Орденом Ленина и Государственными премиями, хотя такого рода информация обычно всегда приводилась в Энциклопедии, когда публиковалась биография какого-либо другого не «секретного» ученого. Такое «умалчивание» заслуг и достижений Сахарова, известных очень немногим, было явным указанием на важность его работ. О наиболее выдающихся советских ученых в ряде важнейших областей мы узнавали и узнаем часто только после их смерти из некрологов, публикуемых в центральных газетах. Под предлогом «секретности» и до сего дня держатся в тайне имена не умерших советских ученых, сделавших выдающиеся вклады в развитие атомной и ракетной и многих других отраслей советской науки и техники.

Подробности жизни таких выдающихся ученых как И. Курчатов и С. Королев мы узнали только из посмертных изданий. Теоретически это делается в целях «государственной безопасности», но, по существу, чтобы уменьшить влияние этих ученых на политические решения, связанные с реализацией результатов их научных исследований. Поэтому-то неожиданное вмешательство академика Сахарова в намеченную политическую демонстрацию военного могущества, вызвало столь резкое недовольство Хрущева. Об этой индивидуальной демонстрации Сахарова вскоре узнали и генетики.

Контакты между биологами и ядерными физиками возникли в СССР еще в 1955 г. после Первой Женевской Конференции по мирному использованию атомной энергии. Советские физики были обеспокоены сведениями об опасных генетических последствиях загрязнения атмосферы радиоактивными отходами от испытаний атомных бомб, но советская

генетика, полностью находившаяся под контролем Т. Д. Лысенко и его сторонников, не могла предоставить в распоряжение физиков достоверной информации.

В 1956 г. около 300 «бывших» генетиков подписали коллективное письмо Н. С. Хрущеву о необходимости ликвидации монополии Лысенко в биологии. Это письмо Хрущеву решил вручить лично Игорь Курчатов, главный организатор атомной индустрии в СССР. Однако Хрущев не принял это письмо и очень резко, даже оскорбительно попросил Курчатова не вмешиваться не в свои дела. Курчатов, однако, пользуясь предоставленными ему большими финансовыми возможностями, создал вскоре при своем Институте Атомной энергии в Москве большой отдел биологии, который стал первым после разгрома генетики в 1948 г. научным центром классической генетики в СССР.

В 1964 г. Лысенко с помощью Хрущева готовил новые решения против возрождавшейся научной генетики. Но ему нужно было укрепить свои позиции в Академии Наук СССР. На одну из вакансий в академию Лысенко рекомендовал Николая Нуждина, своего ближайшего сотрудника. Биологическое Отделение академии избрало Нуждина академиком, но это избрание должно было получить утверждение на Общем Собрании Академии Наук. Такое утверждение обычно проходит просто и формально. Но на этот раз случилось непредвиденное. Для выступления по кандидатуре Нуждина слово попросил академик Андрей Сахаров. Резко возразив против обоснованности рекомендаций Биологического отделения, Сахаров закончил свою краткую речь следующими словами:

«...Что касается меня, то я призываю всех присутствующих академиков проголосовать так, чтобы единственными бюллетенями, которые будут поданы за, были бюллетени тех лиц, которые вместе с Нуждиным, вместе с Лысенко несут ответственность за те позорные и тяжелые страницы в развитии советской науки, которые в настоящее время, к счастью, кончаются».

Выступление Сахарова было встречено аплодисментами. Президент академии М. В. Келдыш вынужден был объявить это выступление «нетактичным». «Не нетактичным, а клеветническим», — воскликнул Лысенко, сидевший в Президиуме. И хотя М. Келдыш, выступив снова, заявил, что Президиум

Академии Наук СССР не поддерживает выступление Сахарова, мнение Сахарова получило полную поддержку во время тайного голосования. 128 академиков проголосовали против избрания Нужи́дина в Академию и только 24 *за*.

Хрущев, которому быстро доложили о решении академии, был очень рассержен. Отдел науки ЦК потребовал от Андрея Сахарова объяснений, но Сахаров написал эти объяснения в резкой форме, назвав Лысенко псевдоученым. Это еще более рассердило Хрущева и он на одном из официальных приемов заявил, что Академия Наук стала заниматься политикой и что, если это будет продолжаться, то «мы такую академию закроем».

Когда в октябре 1964 г. Хрущев был смещен со своих постов в ЦК КПСС и в Правительстве, этот эпизод был упомянут на пленуме ЦК КПСС в числе многих других ошибок Хрущева, а принципиальная и смелая позиция Сахарова была отмечена с одобрением.

Речь Сахарова на Собрании Академии Наук СССР быстро распространилась в «самиздате» среди советских биологов. Я в то время был в трудном положении в связи с циркулирующей в «самиздате» рукописи моей книги с критикой Лысенко и мне угрожало увольнение с работы. Когда в конце августа 1964 г. газета «Сельская жизнь» предложила привлечь Медведева к суду за распространение клеветы о советских биологах и одновременно резко отозвалась о выступлении «инженера» Сахарова на Собрании Академии Наук, то я решил встретиться с академиком Сахаровым, чтобы обсудить возможности продолжения борьбы с лысенкоизмом. Один из моих друзей, работавший в Биологическом отделе Института Атомной энергии, знал Сахарова и организовал нашу встречу. Сахаров жил в то время в квартире недалеко от этого института на северной окраине Москвы. Когда в назначенный час я позвонил у двери его квартиры на втором этаже небольшого дома, в котором жили ученые Института атомной энергии, Сахаров открыл мне дверь и сразу предупредил: — «Вы, конечно, понимаете, что в моей квартире мы не можем разговаривать совершенно конфиденциально, но и *им* полезно узнать о том, что происходит в генетике».

Мягкий юмор и доброжелательность хозяина, естественная скромность вызывали полное доверие, и после обсуждения

ряда вопросов мы расстались друзьями. Очень приятной была и семья Сахарова, две дочери и сын. Жены Сахарова в тот вечер не было дома.

Однако наши опасения за судьбу генетики не оправдались. Вместе с Хрущевым утратил свое влияние и Т. Д. Лысенко. В 1966 г. Сахаров познакомился и с моим братом Роем. Он был одним из первых читателей рукописи моего брата по истории сталинизма. Сахаров в этот период уже не был связан в своих исследованиях с какими-либо военными программами, а руководил теоретической группой физиков, занимавшихся проблемой «плазмы» и энергетического использования ядерной энергии. Однако по существовавшим правилам он был обязан сообщать в специальную службу в институте о всех своих контактах с людьми из внешнего к атомной физике мира. Он, однако, этого не делал, но когда он выходил из своей квартиры, чтобы навестить кого-либо из своих знакомых, он всегда был под специальным наблюдением.

В начале 1968 г. Сахаров приехал к нашему общему знакомому и, предупредив, что возможно ему не удалось избавиться от «сопровождения», привез отпечатанный на машинке экземпляр очерка *«Рассуждения о прогрессе, сосуществовании и интеллектуальной свободе»*. Сахаров попросил перепечатать очерк с максимальной быстротой и распространить в «самиздате», так как иначе имеющиеся у него три других экземпляра очерка могут быть конфискованы. Как выяснилось из объяснений, Сахаров, написав очерк, решил перепечатать его по частям, и обратился к нескольким машинисткам в разных отделах своего института. Он полагал, что каждая из машинисток, имея только часть очерка, не поймет существа дела, а он, забрав в конце дня перепечатанные страницы, смонтирует их в законченную работу. Все было закончено, как Сахаров и намечал, в один день, но на следующий день Сахаров был вызван к руководителю «специального» отдела, на столе у которого был полный текст очерка. Работая всю жизнь в секретных учреждениях, Сахаров не знал, что все машинистки и секретарши при перепечатке любых писем и документов ученых были обязаны делать одну дополнительную копию и сдавать ее в секретный отдел. Поэтому, хотя очерк *«Рассуждения о прогрессе...»* был по частям напечатан разными машинистками в разных отделах, на столе у начальника секрет-

ного отдела на следующий день был полный текст. Сахарову предложили возвратить все имевшиеся у него копии очерка, но это уже было невозможно осуществить.

Очерк был перепечатан на квартире, куда Сахаров привез его накануне. Это было сделано за одну ночь группой научных работников, явившихся в эту квартиру с пишущими машинками и распределившими между собой страницы оригинала. Недели через две очерк Сахарова был уже широко известен в Москве.

Сейчас, после множества политических событий минувших пяти лет, сам Сахаров оценивает свой первый публицистический очерк критически, но тогда, в период очень интенсивной политической активности интеллигенции, выступление ведущего физика страны о необходимости демократизации и идеологического компромисса, как неизбежного шага для реального устранения угрозы термоядерной войны, вызвало исключительно большой интерес как в СССР, так и за рубежом. Уже летом 1968 г. очерк Сахарова был опубликован за границей, возбудив обширную дискуссию. К концу 1968 г. он был переведен на 10 языков и два раза передавался на русском языке по зарубежным радиостанциям.

В США очерк Сахарова был напечатан газетой «Нью-Йорк Таймс», а затем издан отдельной книгой с предисловием Гаррисона Солсбери, в котором кратко, по очень ограниченным источникам, излагалась научная и общественная биография Андрея Сахарова. Солсбери, в частности, отмечал, что успех Советского Союза, опередившего США в создании водородной бомбы, в значительной степени был обеспечен исследованиями Андрея Сахарова. Следует, однако, отметить, что при всей важности работы Сахарова в этой области, было бы неверно называть его, как это часто делается в иностранной печати, «отцом советской водородной бомбы». Проекты, подобные созданию водородной бомбы, зависят от очень большого числа людей. Сахаров всегда был теоретическим физиком. Он решил ряд принципов, которые резко ускорили техническую разработку ядерного оружия, но эти же принципы могли быть применены и для энергетического использования ядерной энергии. В советской печати важная роль Сахарова в разработке этих принципов была впервые отмечена в издан-

ной в 1967 г. биографии академика Игоря Курчатова (А. В. Головин. «И. В. КУРЧАТОВ», Атомиздат, 1967).

Написание очерка с изложением идей идеологического компромисса (конвергенции) и с указанием на то, что в эру ядерного оружия и межконтинентальных ракет принцип конфронтации стран с разными социальными системами должен быть пересмотрен, могло означать для Сахарова прежде всего то, что он будет быстро отстранен от исследований в сфере атомной физики. Но это не было очень простым решением, так как связанный с Сахаровым небольшой коллектив физиков-теоретиков был очень важен для всего комплекса исследований в этой области. За оставление Сахарова в качестве консультанта ряда проектов выступили крупные физики и, в частности, Ю. Харитон, практически заменивший И. Курчатова в руководстве атомной физикой. Скрытая борьба продолжалась несколько месяцев, однако после издания очерка Сахарова в эмигрантской русской прессе (в Париже и во Франкфурте-на-Майне) под слишком громким названием *«Меморандум академика А. Д. Сахарова»* и придания этому очерку преувеличенного, не дискуссионного, а программного документа, А. Сахаров был лишен «допуска» к секретным работам. Это означало, что он не мог больше входить на территории института, в котором работала его группа. Однако приказа об увольнении не было и Сахаров еще много месяцев, почти до середины 1969 г. продолжал получать персональный оклад, установленный ему когда-то специальным решением Совета Министров СССР. Как физик-теоретик Сахаров продолжал свои исследования дома, однако его бывшие коллеги и друзья по институту уже не решались поддерживать с ним личные контакты.

Весной 1969 г. умерла от рака жена Сахарова и он оказался в трудном положении с двумя детьми. (Старшая дочь была замужем и жила отдельно). В этот период был оформлен долго ожидавшийся приказ о полном отстранении Сахарова от работы и ликвидирован его персональный оклад. Однако, как академик, Сахаров продолжал получать от Академии Наук сравнительно высокий, по советским стандартам, оклад выплачиваемый пожизненно всем членам Академии, независимо от занимаемой ими должности. Итак, Андрей Сахаров стал безработным. В этом положении человек обычно дорожит ранее сделанными сбережениями. Сахаров поступил иначе. За время

работы в сфере атомной энергии на счету Сахарова накопилась большая сумма, почти 140 тысяч рублей (около 80 тысяч фунтов по официальному курсу). Сахаров неожиданно пожертвовал всю эту сумму Советскому обществу Красного Креста на строительство больницы. Это был политический жест — отказ от денег, которые могли быть связаны с военными проектами. Это был также и гуманитарный жест — в память преждевременно умершей от рака жены. Но о том, как были использованы эти деньги Сахаров впоследствии не получил никакой точной информации. Фонд Сахарова, повидимому, просто растворился в государственном бюджете.

В 1970 г. Андрей Сахаров подал заявление на конкурс на вакантную должность старшего научного сотрудника в теоретический отдел Физического Института имени Лебедева. Этот отдел возглавлял учитель Сахарова академик Игорь Тамм, лауреат Нобелевской премии. Директор института академик Д. В. Скобельцын был в большой растерянности. Сахаров был, конечно, вне конкуренции. К тому же именно в этом институте и в этом отделе Сахаров начал свою научную работу еще во время войны. По Уставу Академии Наук каждый академик имел право на руководство лабораторией в Академии Наук, а Сахаров просил только должность старшего научного сотрудника. В результате длительных переговоров на очень высоком уровне разрешение на прием Сахарова в институт было дано. Однако, сообщая Сахарову об этом, Д. В. Скобельцын заявил «...мы принимаем вас в надежде, что вы прекратите свои политические выступления». «Я не буду выступать, если для этого не будет серьезных причин», — ответил Сахаров. Но уже через несколько недель эти причины возникли.

2 июня 1970 г. в Москве происходил международный симпозиум по молекулярной генетике. Сахаров приехал на заседание и в перерыве подошел к демонстрационной доске и написал крупными буквами: «В АУДИТОРИИ НАХОДИТСЯ АКАДЕМИК АНДРЕЙ Д. САХАРОВ, СОБИРАЮЩИЙ ПОДПИСИ ПОД ПРОТЕСТОМ ПО ПОВОДУ ПОМЕЩЕНИЯ ЖОРЕСА МЕДВЕДЕВА В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ». В последующие дни Сахаров вместе с моим братом возглавил кампанию протестов по поводу этой акции. Когда меня вскоре освободили, то я вместе с братом прежде всего приехал к Сахарову, чтобы сердечно поблагодарить его за неоценимую помощь.

О дальнейшей деятельности Андрея Сахарова в попытках добиться некоторых демократических реформ в Советском Союзе известно достаточно хорошо. Сахаров несколько раз выступал индивидуально и с коллективными письмами к руководителям СССР с предложениями, обосновывающими необходимость ряда реформ, прежде всего в области большей свободы в обмене информацией и идеями с другими странами, в упрощении проблемы эмиграции и зарубежных поездок советских граждан, устранении правовых различий между жителями города и деревни и мн. др. Он был одним из основателей неофициального «Комитета прав человека», который, несмотря на малочисленность (четыре члена), имел важное моральное значение, доказывая возможность в СССР легальной организованной оппозиции. Сахаров выступал с резкими протестами по поводу многих политических судебных процессов и помещения политических «диссидентов» в психиатрические больницы. Эти документы получали распространение в «самиздате» и многие из них в последующем публиковались за границей. Важно отметить, что все эти документы направлялись прежде всего в партийные, правительственные и юридические учреждения Советского Союза. Но ни одно из заявлений Сахарова в руководящие органы Советского Союза не получило ответа.

Еще в апреле 1968 года Верховный Совет СССР принял специальный закон о порядке рассмотрения Правительственными и Советскими учреждениями заявлений и жалоб трудящихся. Отметив, что многие заявления и жалобы граждан СССР, поданные в советские организации, не получают нужного рассмотрения и ответа, Верховный Совет СССР придал необходимости ответа на заявление гражданина СССР в любое советское учреждение силу закона. При этом был установлен и предельный срок для ответа по существу поданного заявления — 1 месяц. Гражданин СССР, не получивший в течение месяца ответа на свое заявление в государственное учреждение, мог считать это нарушением закона и получить поддержку прокурора. Ответа на одно из своих наиболее важных заявлений в Правительственные инстанции СССР Сахаров ждал больше года и когда, несмотря на ряд напоминаний, он не получил никакого ответа, Сахаров сделал это заявление открытым. Это было письмо Л. И. Брежневу, опубликованное в начале 1972 г.

«Ответы» на заявления Сахарова делались не в печати и не по почте, а в форме разных фантастических сведений, распространяемых на собраниях по идеологическим вопросам. Некоторые лекторы говорили, что Сахаров «не в своем уме», «хотя и не настолько, чтобы помещать его в больницу». Другие утверждали, что «Комитет» Сахарова финансируется эмигрантской организацией ИТС. Были заявления о том, что Сахаров связан с сионизмом и хочет уехать в Израиль и что поэтому он женился на еврейке (вторая жена Сахарова полужеврейка). В одном крупном городе лектор приехавший из Москвы на собрании партийного актива заявил, что выдающийся советский ученый академик Сахаров умер четыре года тому назад от лучевой болезни. Сейчас же от его имени делает заявления какой-то самозванец, подписывающийся той же фамилией.

В политической истории Советского Союза был только один прецедент, когда ученый, имеющий мировую славу и огромный моральный авторитет, последовательно и в течение длительного времени выступал против официальной линии, имея возможность доводить свои протесты до сведения руководства. Это был генетик и растениевод академик Николай Иванович Вавилов, мужественно боровшийся в 1934-1940 г.г. против поддерживаемого Сталиным лысенкоизма и «мичуринской» биологии. В отличие от Сахарова, Вавилов имел возможность публиковать свои заявления и полемические выступления в советской научной и общей печати. В 1940 г. «терпение» Сталина кончилось и он дал разрешение на арест Вавилова. В 1942 г. Вавилов умер в тюрьме в Саратове от голодного истощения, незадолго перед этим Британское Королевское общество избрало его своим иностранным членом.

Сахаров был удостоен весной 1973 г. подобной же чести от Национальной Академии Наук США, но в августе 1973 г. заместитель Генерального Прокурора СССР Михаил Маляров предупредил его о возможности ареста. Это доказывает некий юридический прогресс, в 1940 г. Вавилова никто не предупреждал о возможности ареста, но он и без предупреждения знал, что это всегда может случиться.

Уезжая в январе этого года в Англию, как я думал на год, за несколько дней до отъезда я зашел к Сахарову попрощаться и обсудить возможность моей помощи в том случае, если

возникнет более трудная ситуация. В том, что такая ситуация может возникнуть, Сахаров почти не сомневался. Его предчувствия, как известно, оказались правильными. Главное о чем просил Сахаров — это разъяснить иностранным коллегам особенности условий и процессов, которые порождали его непрофессиональную политическую деятельность, которую нельзя было сводить только к протестам по поводу проявлений произвола или несправедливости.

В августе и в сентябре Сахаров оказался в центре небывалой кампании атакующих и резких протестов в советской прессе и контрпротестов в зарубежной прессе и заявлений научных организаций и государственных деятелей. Эта драматическая ситуация порождалась двумя разными подходами к условиям т.н. *détente* между Западом и Востоком. Противники и сторонники *détente*, излагая в резкой форме свои аргументы, недостаточно ясно поняли в чем же состоит, по существу, научная концепция Сахарова, несомненно искаженная в произвольных изложениях его заявлений и интервью, переданных западными корреспондентами из Москвы. Что же касается советской прессы и организованных «сверху» заявлений представительных групп советской интеллигенции и людей «из народа» (печатавшихся под характерными заголовками «На руку силам реакции», «Заодно с врагами», «Позиция, чуждая народу», «Гневно осуждаем», «В угоду антисоветчикам», «Позорит звание гражданина» и т.д.), то подписывающие эти письма люди, по существу, и не знали действительного характера заявлений Сахарова и получали об этих заявлениях совершенно искаженную информацию, представлявшую Сахарова противником мирного сосуществования и культурного сотрудничества между народами. Нельзя забывать и о том, что для большинства рядовых советских граждан непосредственное обращение к западному общественному мнению представляется чем-то совершенно антипатриотическим. На самом же деле идеи Сахарова можно назвать антибюрократическими, связанными с его реалистическим пониманием того, что экономический прогресс отнюдь не означает еще политической стабильности. В своем стремлении к техническому и экономическому прогрессу человеческое общество ненасытно и поэтому невозможно представить тот уровень благосостояния, за которым последует полная политическая стабильность. С

этим и связано стремление Сахарова сочетать экономическую интеграцию с политическими компромиссами. По одной теории, выдвигаемой рядом западных лидеров, экономическое и техническое сотрудничество само по себе неизбежно ведет к политическим компромиссам, создавая взаимную «техническую» зависимость между странами. Имея более совершенную западную технологию, Советский Союз, по этой теории, будет и в политическом смысле подпадать под влияние Запада. Сахаров выдвигает другую теорию. По его теории свободное использование западной технологии может привести к противоположным результатам, к усилению влияния бюрократических элементов в СССР и к уменьшению их зависимости от внутренней научно-технической интеллигенции, являющейся главным выразителем демократических тенденций. *В настоящее время научный и технический прогресс страны зависит от довольно многочисленной интеллигенции, которая при наличии демократических свобод и свободы сотрудничества и обмена информацией с западными коллегами могла бы обеспечить быстрый экономический и технический прогресс.*

Интеллектуальный и экономический потенциал советского народа сдерживается искусственной изоляцией и отсутствием многих обычных в цивилизованном обществе свобод. Если эти свободы были бы обеспечены, СССР мог бы развиваться не медленнее чем, например, Япония. Одновременно этот путь развития уменьшил бы политический антагонизм, создающий огромные военные бюджеты. Если же вся необходимая техническая помощь будет получаться из-за рубежа в обмен на природные сырьевые ресурсы, то бюрократия политически и экономически совсем не будет зависеть от собственной технической интеллигенции, а зависимость от иностранной помощи будет неизбежно скрываться усилением пропаганды, внутренней цензуры, и более резкой критикой именно тех, кто предоставляет стране экономическую помощь. Экономическая зависимость будет сопровождаться не ослаблением, а усилением идеологической борьбы, политического давления на критиков. Не случайно ведь о закупках за границей в 1972 г. почти 30 миллионов тонн зерна, предотвративших возможный голод в некоторых районах страны, советская пресса не написала ни строчки. Развитие подобных тенденций может не уменьшить, а увеличить возможность конфликтов, которые в современном

мире могут возникать мгновенно и по случайным причинам. Сахаров предлагает проект, который может обеспечить более гармоничное развитие двух систем, но оно должно сопровождаться уменьшением полномочий бюрократических и неконтролируемых народом правительств.

Я изложил выше идеи Сахарова так, как я их понимаю. Но мое изложение является академическим. В действительности сам Сахаров выдвинул их в более острой форме призыва к американскому Сенату, в связи с обсуждением «поправки сенатора Джексона», связывающей торговые тарифы с проблемой эмиграции евреев из СССР. Связав свою теорию «*détente*» с более узкой проблемой эмиграции, а проблему экономической кооперации с «поправкой Джексона», Сахаров оказался в положении почти полной изоляции* в СССР, так как призыв к экономическим санкциям против собственной страны почти никто не смог поддержать. В результате последовала организованная кампания против Сахарова, которая вызвала волну контрпротестов за рубежом, ибо было очевидно, что у организаторов анисахаровской кампании были весьма серьезные намерения. В конце сентября и в октябре Сахаров сделал не слишком удачные заявления по двум острым международным проблемам (положение в Чили и арабско-израильский конфликт), еще более осложнив свое положение и позволив некоторой части прессы Запада присоединить свой голос к критике, раздававшейся со стороны официальных кругов в СССР. Лично я не разделяю мнения Сахарова о Чили и о проблеме границ будущего Израиля. Но я не берусь *критиковать* его отсюда, так как прекрасно знаю как трудно жителю СССР разбираться в реальной международной обстановке. Когда тот или иной русский «диссидент» говорит о событиях в СССР, он может говорить вполне компетентно. Когда же он начинает обсуждать положение других стран, то это делается слишком абстрактно, так как в Москве ни в одной из библиотек нельзя получить западные газеты и узнать, что же действительно происходит в мире. Жителям Британии и США легко обнаружить недостатки в тех или иных «международных» под-

* *Прим. редакции.* Это едва ли точно, судя по выступлениям проф. Левича, кибернетика Агурского и др. Кстати, мы вполне поддерживаем «поправку сенатора Джексона», защищающую свободу эмиграции (не только евреев) из СССР. *Р. Г.*

ходах советских «диссидентов». Но если бы жители этих стран имели по утрам лишь какой-либо английский вариант советских газет в качестве единственного источника обычно крайне тенденциозной или совсем неверной информации, то они бы поняли сколь трудно комментировать текущие события из Москвы непрофессиональному политическому деятелю.

Сейчас теоретические споры об условиях «*détente*» уступили место трудной практической проверке возможности СССР и США сотрудничать в условиях острого международного конфликта. Судьба же Сахарова попрежнему должна беспокоить демократическую интеллигенцию Запада. Вопрос о согласии или несогласии с его позицией не может заслонять вопроса о праве на свободу высказывания и на свободу обсуждения любых международных проблем. Сахаров имеет право высказывать свои мысли и мы должны защищать эту его свободу.

Ж. А. Медведев, Лондон, 9 ноября, 1973

КНИГА ЖОРЕСА МЕДВЕДЕВА

От этой книги Жореса Медведева я не мог оторваться. Почему? В чем ее «магнетизм»? Казалось бы многое из биографии А. Солженицына и из истории напечатания и запрещения «Одного дня Ивана Денисовича» мы знаем. Но во-первых, многого, что рассказывает Жорес Медведев и о Солженицыне, и о его повести, и об А. Твардовском, и о многом другом — мы не знали. К тому же «магнетизм» этой книги и в том, как она написана. Она написана с предельной простотой, а главное — очень искренне. Искренность же автора всегда сильнее всего передается читателю и его захватывает. В книге Медведева ничего поддельного нет, она из благородного металла искренности.

И когда с этой искренностью, умом и талантом автор «дает картину некоторых общественных явлений минувшего десятилетия» (как пишет в предисловии Медведев) — то картина эта по своему значению перерастает и биографию Солженицына, и его «Один день», и отчаянную борьбу за литературу А. Твардовского, ибо из множества фактов сообщаемых автором — встает картина всей страшной действительности Совсоюза, где правящая мафия подвергает пробующую освободиться русскую интеллигенцию и моральной и духовной пытке, а порой и физическому уничтожению.

Как встретились Солженицын и Медведев? Они встретились в попытке обрести свободу творчества. Первый — в художественной литературе. Второй — в литературе научной. Солженицын восстал против превращения русской литературы в партийно-пропагандный заказ. Медведев восстал против коммунистического мракобесия в науке, выступив против известного полунеуча-полугепеушника, шарлатана Трофима Лысенко, в течение лет поддерживаемого всей безграмотной головкой

Жорес А. Медведев. Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». Издание исправленное. Изд-во Макмиллан. Лондон. 1973 (223 стр.).

КПСС, физически убившей некоторых ученых противников Лысенко (акад. Вавилов) и духовно убивавшей русскую науку. И когда на Медведева за его смелое выступление обрушились аппаратчики (и ученые и неучи), один единственный человек во всем Совсоюзе морально поддержал его. И это был — Солженицын. Так встретились, познакомились и подружились эти два — свободных человека. Письмо Солженицына было «единственным полученным мной письменным откликом... но и одно это письмо было достаточной поддержкой, чтоб не терять веру в силу солидарности», пишет Медведев. В своем письме Солженицын писал Медведеву: «искренность, убедительность, простота, верность построения и верно выбранный тон — выше всяких похвал».

Спокойная по тону, без единого описания какого-нибудь «ужаса», книга Медведева оставляет в читателе гнетущее чувство. Потому, что на множестве фактов показывает страшное подавление пробуждающейся к свободе России. Эта ищущая свободы Россия — Андрей Сахаров, Александр Солженицын, Жорес М. Медведев, Владимир Максимов, Леонид Капица, Лидия Чуковская, Владимир Буковский, Надежда Мандельштам, Александр Галич, Юрий Галансков, сюда же надо отнести и священников Глеба Якунина, Николая Эшлимана, епископа Гермогена и множество других людей, во многом духовно совершенно разных, но одинаковых в стремлении к свободе мысли и к защите человека от беззакония мафии.

Медведев сообщает жутковатые подробности о главлите, этой «в значительной степени секретной и междуведомственной организации», действующей на основании пресловутой «Инструкции о печати». Страшны подробности «хождения по мукам» Солженицына из-за его «Одного дня». Когда эту повесть Твардовский выдвинул на соискание ленинской премии, кто осуществлял директиву партии: — никак не допустить присуждения премии Солженицыну? Этим был занят (главным образом) когда-то талантливый поэт Н. Тихонов. «Гвозди бы делать из этих людей! Не было б крепче в мире гвоздей!», — этой строкой Тихонов когда-то прославился, но с годами из поэта мафия сделала послушного лакея и труса. И это страшно. «Нет, петля Николая чище чем пальцы этих обезьян!», писала о большевиках Зинаида Гиппиус. И писала правильно!

Книга Медведева ведет читателя по всему крестному пу-

ти Солженицына, который начался с изъятия с книжного рынка «Одного дня». А затем, после выхода за границу романов «В круге первом», «Раковый корпус», пошла невиданная еще в истории русской литературы травля писателя. Какие тут могут быть сравнения с Чаадаевым, Полежаевым, Лермонтовым на Кавказе, Пушкиным в Бессарабии, даже арест и ссылка Чернышевского не идут в сравнение с планомерным, бесовским, изо дня в день преследованием Солженицына всей системой тоталитарной полицейщины. Тут и непрерывная слежка на улице, и магнитофоны в потолке квартиры, и обыски с отображением литературного архива, и исключение из ССП, т.е. фактическое запрещение печататься, и телефонное подслушивание, и аресты близких людей, и всевозможная клевета и инсинуации (Солженицын и «военный преступник», и «Солженицер»; и даже маскировка какого-то хулигана из КГБ, выдававшего себя за Солженицына в общественных местах), и запрещение публичных выступлений с чтением своих произведений, и отказ в прописке в Москве вместе с семьей. «У нас не любят непослушных», говорил Твардовский. «Наверху решили, что Солженицын должен молчать», пишет Медведев. Книга Медведева останется в литературе, как самый правдивый материал для биографии Солженицына.

Но эта книга говорит не только о гонении на Солженицына. Она, как я уже сказал, захватывает и другие интересные темы. Вот, например, глава «Кто получает доходы на литературном «черном рынке»? Эта тема вообще впервые поднята в литературе. О ней до Медведева никто не писал. А в этой главе Медведев показывает неизвестную советскую «машину» по добыванию валюты на Западе от литературных произведений, как запрещенных в СССР, так и вышедших там. Валюта выбивается не только с книг но и с «сенсационной» информации (и с дезинформации) и с сенсационных фотографий (случай Светланы Аллилуевой). Занимается этим не прямо КГБ, а т.н. «Международная Книга» и АПН (т.н. Агентство печати «Новости»). В некоторых же случаях спец агенты КГБ вроде Виктора Луи. «О многих важнейших событиях нашей внутренней жизни мир узнает не из сообщений ТАСС или советского радио, которые обычно «запаздывают», а от Виктора Луи и от его друзей. За свои сенсационные сообщения Виктор Луи, возможно, получает большое вознаграждение,

часть которого очевидно достается и ему самому», пишет Медведев. И дальше Медведев приводит «портрет» в полный рост этого самого, уже пользующегося «мировой известностью» агента КГБ — Виктора Луи, цитируя его из американского журнала «Ньюзвик», причем там под фотографией этой личности, снятой в его роскошной подмосковной вилле — подпись: «Луи в кабинете, шесть комнат и финская баня из сосны».

Приведу красочный случай выбиванья валюты. Медведев рассказывает: — «'Международная Книга', действуя 'от имени' одного советского автора, получила через посредничество французского агентства 'Ажанс литерер эт артистик паризьен' крупные гонорары от шести европейских издательств. Автора об этих операциях никто не ставил в известность. Только через девять лет совершенно случайно он узнал о произведенных платежах. В результате интенсивных расследований, при которых я оказывал некоторую помощь в переписке, директор французского промежуточного агентства Жорж Сориа в письме на мое имя от 6 июля 1967 г., а затем и председатель 'Международной Книги' в письме на имя автора сообщили следующее: гонорары автору действительно выплачивались. Однако по генеральному договору 'Международной Книги' с французским агентством это последнее получало в качестве комиссионных за свои услуги 75% гонорара. Из оставшихся 25% около половины было израсходовано на судебные процессы против издателей в Италии, отказывавшихся выплатить гонорар. (Судебные процессы были проиграны). Из оставшихся 12% 'Международная Книга' также имеет право удержать 25% комиссионных. Из остатка еще 35% удерживает 'Внешпосылторг'. Все, что осталось (около 4% исходной суммы) может быть выплачено автору». Дальше Медведев сообщает, что «возглавляемое мистером Жоржем Сориа агентство является одним из учреждений французской компартии, а сам Сориа — член Политбюро ЦК французской компартии». К такому несусветному жульничеству всякие комментарии излишни.

Медведев не щадит и некоторых западных издателей, которые зарабатывали на запрещенных в Совсоюзе рукописях Солженицына. Думаю, что негодование его порой закономерно. В 1963 г. «Один день Ивана Денисовича» был издан по-английски одним издателем и, став бестселлером, вероятно, принес ему немалые деньги. Но когда Солженицын (чтобы помочь

в Рязани заболевшей раком десятилетней девочке) стал через Медведева переписываться об уплате в Америке за нужные и очень дорогие лекарства из его гонорара, то издатель, предпочел просто не отвечать на письма. За него отписывалась иногда его секретарша, извиняясь за долгое молчание издателя, который «не мог ответить, так как он был в Мексико Сити на Олимпийских играх». Фотостаты писем приведены в книге.

Некоторые издатели политически компрометировали Солженицына, давая тем карты в руки КГБ. Так, другой издатель, выпустив «Один день» в дешевом издании, снабдил книгу таким объявлением на обороте титульного листа: «Мы выдадим автору гонорар, если в течение 10 лет он приедет в США. Если же автор не приедет в США в течение 10 лет, то эти деньги будут использованы для антикоммунистических целей». Спрашивается, соображали ли издатели, что они делали подобным «сообщением», какие козыри давали КГБ в борьбе с Солженицыным? Думаю, что это была, конечно, полная политическая невежественность. Но в жизни иногда бывает глупость вреднее гадости.

В книге Медведева говорится довольно много о журналах «Грани» и «Посев». Эти сведения серьезны. И мы приведем некоторые из них.

Ж. Медведев, например, рассказывает, что когда А. Твардовский отчаянно боролся за возможность печатания Солженицына в СССР, его (Твардовского) — «в начале 1965 г. вызвали к заведующему литературным отделом ЦК КПСС и показали ему там один из последних номеров, издающегося в Западной Германии журнала «Грани...» ...В журнале «Грани» были напечатаны «Крохотные рассказы» А. И. Солженицына... Беседа в ЦК сводилась примерно к следующему: — Вот, смотрите, тов. Твардовский, кого вы поддерживаете, с кем имеет связь ваш автор, кто заинтересован в его произведениях». «Лично я не исключаю и того, что в журнал «Грани» и «Посев» из советского самиздата передаются рукописи иногда теми, кто наиболее заинтересованы в ликвидации этого самиздата» (стр. 47).

Когда при сопротивлении всех цензурных инстанций Твардовский все-таки пытался в «Новом Мире» провести печатание уже набранного «Ракового Корпуса» — произошло сле-

дующие. Медведев пишет: «В начале апреля 1968 г. А. Т. Твардовскому в «Новый Мир» пришла из Франкфурта на Майне международная телеграмма следующего содержания: «Ставим вас в известность, что Комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад еще один экземпляр 'Ракового Корпуса', чтобы этим заблокировать его публикацию в 'Новом Мире'. Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу. Редакция журнала 'Грани'» (стр. 89).

Письмом в секретариат ССП и в редакции газет Солженицын протестовал против печатания «Гранями» «Ракового Корпуса». Но ответа на протест не получил, хотя письмо его было опубликовано и в газетах на Западе. А дальше — на летнюю дачу Солженицына приезжает Виктор Луи. «Луи пытался заявить, что он не вывозил «Ракового Корпуса» за границу и что телеграмма из «Граней» была провокационной», пишет Медведев. Солженицын с Луи разговаривать не стал.

«Телеграмма в 'Новый Мир', как выяснилось впоследствии была действительно отправлена журналом 'Грани'. Ссылки на Виктора Луи и на какие-то попытки 'заблокировать' издание 'Ракового Корпуса' в СССР были смехотворны. Запрещение публикации 'Ракового Корпуса' было произведено еще в январе... В апреле, когда журнал 'Грани' посылал Твардовскому телеграмму сотрудники этого западно-германского журнала не могли не знать, что 'Новый Мир' уже давно рассыпал набор повести. Сообщения об этом были опубликованы во многих западных газетах и широко комментировались. Зачем же нужна была еще и телеграмма?» (стр. 98), пишет Медведев.

«Осенью 1969 г. А. Т. Твардовского, — пишет Ж. Медведев, — вызвали в соответствующий суд авторитетного учреждения и показали ему свежий номер журнала «Посев», в котором была напечатана его последняя поэма. Твардовский немедленно написал резкий протест, который впоследствии был опубликован в «Литер. газете»: — «Наглость этой акции, — писал Твардовский, — имеющей целью опорочить мое произведение, равна беспардонной лживости с какой поэма снабжена провокационным заглавием «Над прахом Сталина». — Далее А. Т. отметил, что текст поэмы, напечатанной в «Посеве», имеет много искажений», — пишет Ж. Медведев. И продолжает: — «Публикацию поэмы в «Посеве» нельзя было прикрыть са издатом, т.к. в «Посеве» был напечатан *старый вариант*

1968 г. сильно отличавшийся от того, который уже с апреля-мая 1969 г. начал распространяться. Этот старый вариант не ходил по рукам, он был лишь некоторое время в редакции «Юности», был знаком небольшому кругу друзей поэта, но в списках не циркулировал. Каким образом попал он в «Посев» остается тайной», пишет Медведев (стр. 142).

Медведев рассказывает и об опубликовании в «Посеве» (№ 1, 1970) ложного заявления, подписанного именем его брата Роя Медведева. Против этой публикации Рой Медведев протестовал письмом в редакцию «Посев», но «Посев» письма Роя Медведева не напечатал. Тогда Рой Медведев опубликовал свой протест в газете «Нью Йорк Таймс» от 26 апреля 1970 года.

Я не касаюсь многих ценных и интересных тем книги Жореса Медведева: подробного (и трагического) описания борьбы А. Твардовского за печатание «настоящей литературы», описания смерти его и похорон; международной кампании против Солженицына в иностранной печати, ведшейся из Москвы; несостоявшейся Нобелевской церемонии в Москве по вручению Солженицыну премии; Нобелевской лекции Солженицына и многого другого.

Как вывод из всей книги приведу слова близкого Медведеву человека, которыми Медведев заканчивает свою книгу: — «Многие думают, что при Хрущеве была демократия. Это чепуха, никакой демократии не было. Был *иногда* либерализм — это в наших условиях ненадежно. Это гуманная форма произвола... Устойчивая справедливость может быть лишь в условиях устойчивой, настоящей демократии».

Под этим подписываемся и мы.

Роман Гуль

«СВИТОК» Н. И. УЛЬЯНОВА

Сказать о Николае Ивановиче Ульянове, что он — талантливый прозаик, смелый публицист, знающий историк, самовитый критик, умелый эссеист, — это еще почти ничего не сказать, ибо, хотя все эти определения правильно намечают разветвления и качество его интересов, но сами по себе они еще не выявляют *характера и направленности* его творчества в целом. Между тем, Ульянов — автор непростой, с большим «грузом знаний», с определенными идеями и с несомненным словесным даром, — счастливое соединение данных, не столь частое, говоря по совести. Он — один из немногих представителей так называемой «второй эмиграции», кто сделал действительные усилия выразить себя в слове, выразить и эмоционально и интеллектуально. «Свиток», рецензируемый здесь, кажется седьмая или восьмая книга Ульянова (если считать и его исторический роман «Атосса», сразу привлечший внимание к ее автору в начале пятидесятих годов и едва ли не «флорберовской густотой красок» и пронзающе «скифской проблематикой», — в прямом и переносном смысле). «Свиток» составлен из девятнадцати «опусов» нашего автора, — к сожалению, не все из них датированы (а датировка всегда важна и для внимательного читателя и особенно для критика). Вероятно, название сборника — «Свиток» — имеет двойное значение: с одной стороны, развертывание событий, эпизодов или обсуждение каких-то вопросов «на узких скатанных полосах» (в данном случае бумаги, не пергамента!); с другой стороны, длинная, последовательно развиваемая цепь впечатлений и мыслей. Как легко и быстро почувствует читатель, погружаясь в текст книги, название ее удачно передает органическую связанность разнообразной на первый взгляд тематики отдельных статей сборника, взаимосвязанность прежде всего любимыми мыслями автора.

Эти «любимые мысли» явно возникли в процессе авторской переоценки ценностей, когда представились для него возмож-

ности «монолога и дискуссии». Ряд этих «любимых мыслей» связан с размышлениями о существовании исторических процессов и о подходах к их изучению и пониманию. Ульянов не только, конечно, отбрасывает марксистские мерки и схемы, которые знакомы ему, как бывшему советскому историку, действительно, досконально, но и более того он скептичен к целому ряду «либерально-политических идей», которые «довлели над умами последние двести лет. От этих идей остались одни термины — подобия высохших мумий». В третьем разделе книги, в своем эссе «Мертвые слова» автор стремится показать, что «если наша мысль приемлет слово «прогресс», как в античные времена, когда речь шла о развитии науки, техники, разума, то «социальный прогресс» сделался пустым звуком, лишенным смысла». В том же разделе в своем эссе «Наполеон» он пишет: «Сущей декламацией звучат ныне речи о каких-то «задачах», поставленных Наполеону историей, свершителем которых он, будто бы, явился или о «прогрессивных идеях», проводником которых он, будто бы, был. Все это ложь, придуманная в XIX столетии». Нет сомнения, что ульяновская критика устарелых или неясных историософских формул опирается на его неприятие ленинской «социалистической революции» — «безобразнейшей, кровавейшей драмы, какую только знал мир». Он подчеркивает: «никакого научного, неутопического социализма не было и нет. *Всякий социализм — синоним утопии*». Все, что ведет к принятию идей социализма или может вести к нему, неприемлемо для Ульянова. Немудрено, что, когда зарубежные русские социал-демократы разобрались в этом комплексе ощущений и мыслей Н. И. Ульянова, он был подвергнут обстрелу из тяжелых орудий «Социалистического Вестника», журнала, бывшего цитаделью «меньшевницкой принципиальности».

Отголоски этого ульяновского отвращения к «прогрессивным идеям» можно обнаружить, пожалуй, в большинстве его исторических экскурсов, которые сами по себе обычно увлекательны, отлично написаны и не могут не восхищать читателей небанальной тематикой, яркостью описаний и умением автора рассказать самые сложные вещи занятно, просто и, в то же время, на высоком уровне. В «Свитке» четвертый и пятый разделы книги посвящены серии — девяти — очерков, историко-археологически-искусствоведческих о некото-

рых памятниках Италии и Испании. Мало кто из современных русских авторов мог бы соперничать в этой тематике с Н. И. Ульяновым. Замечательно при этом, что и в этих очерках он время от времени обрушивается на «революционную интеллигенцию». Он утверждает: «Гибель свободы приходит через гиперболическое развитие свободы». Он исполнен пессимизма: «Вряд ли существовала во всемирной истории эпоха подобная нашей, когда бы во всех областях жизни происходило столько чудовищных подмен и превращений. Были бедствия, страдания, катастрофы, но никогда зло так победно и ликующе не выступало в обличьи добра... Заговорщический предумышленный характер всего этого не подлежит сомнению...»

Что же выдвигает Ульянов, как противовес «прогрессивным идеям и их последствиям»? В эссе «Наполеон» он вскользь упоминает о «мистике истории». В очерке «Орвието» он проводит мысль (правда, ссылаясь на иных): «...если» «панмонголизм» — одно из пророчеств Соловьева, начинает сбываться, то почему не быть и другому — концу мира и Антихристу? Несомненно, для него ясно, что «слуги антихристовы работают на редкость талантливо». Зовет ли наш автор на борьбу с ними? И, если — да, как зовет бороться? Ульянов пишет: «...Согласно апостолу Павлу, торжество Антихриста кончится его гибелью. Христос убьет его духом Своим. У Синьорелли (в церковной росписи XV века. *Н. А.*) показано, как он падает с высоты головой вниз сраженный ангелом и как божественные стрелы с неба убивают всех его приспешников. В такой развязке апокалипсической драмы заключено нечто печальное для нас: самим нам не дано одолеть силы адовой. А помощь свыше?.. Двадцатый век приучил нас к сознанию полной нашей заброшенности. Мы ясно видим лишь, как совершается над нами все сказанное мистиками и историческими».

Есть ли все эти «любимые мысли» только «прием остранения» (хотя Ульянову не по душе этот термин Шкловского, но термин отвечает *существу* словесного искусства)? Едва ли, ибо они находят свое воплощение в ряде статей (и книг) Ульянова, делаясь как-бы частью его писательской концепции. В первом разделе сборника статья «Мистицизм Чехова», построенная в значительной доле на справедливом преодолении близоруких «формул» Д. С. Мережковского о «сути» чеховского творчества, показывает, что, если и есть мистика у

автора «Чайки» и «Черного монаха», то мистика эта не христианская, это мистика «великой тайны мироздания»: «быть может, вся наша вселенная помещается в зубе чудовища». Ульянов даже привлекает на помощь одного из зрителей треплёвского спектакля в «Чайке», Медведенко, цитируя его замечание — «...быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов...», но он совершенно упускает из вида, что Медведенко не рупор мыслей Чехова, а «чеховский персонаж», сильный не мыслями смахивающими на «клише», но верностью жертвенной любви. Характерно, что Ульянов вовсе не упомянул взгляды Б. К. Зайцева, который совершенно иначе ощущал элементы мистицизма в творчестве Чехова.

Исключительно интересна и, по моему, ценна работа Ульянова «На Гоголевские темы», где он, опираясь на анализы 1915 года В. Ходасевича, показывает на некую (и важнейшую) связь, между «Уединенным домиком на Васильевском», «Домиком в Коломне» и «Медным Всадником» и петербургскими повестями Гоголя. Все эти произведения овеяны демонизмом и мистикой. У Гоголя «чертовым логовом» в Петербурге называется часть города, называвшаяся Коломна, которая, по мнению Ульянова, «название свое ведет, по-видимому, от слова «колонна». В 1937 году, участвуя в экспедиции по изучению Печерского края, я заинтересовался происхождением названия псковской деревни Коломна (никаких колонн и никаких «коломенских верст» вблизи не было). В Таллине мой бывший преподаватель эстонского языка в русской городской гимназии, о. Николай Пятс, большой начетчик в литературе по истории края, брат тогдашнего эстонского президента и председатель Синода эстонской православной церкви, у которого я побывал на приеме, высказал — в ответ на мои недоумения — убеждение, что название это идет из финских наречий. Сейчас при чтении «Свитка» я вспомнил о предположениях о. Николая Пятса и, к моему удовлетворению, он, по-видимому, был прав, поскольку в московском издании «Этимологического словаря русского языка» Макса Фасмера, том II, стр. 295, 1967 г., приводится слово «*коломище*», означающее «кладбище» в древнерусском языке и происходящее от финского «смерть». Не знал ли Гоголь о возможности такого происхождения названия петербургской Коломны? Если да, это объяс-

нение в какой-то мере подкрепляет интереснейшие мысли Н. И. Ульянова в данной работе.

К сожалению, статьи Ульянова — «О Ремизове» и «Хабенная мудрость» (о нем же) мне представляются более «игрой ума» (или пера), чем желанием критика «разобраться в ремизовской манере». «Защищать» Ремизова нет необходимости: он давно среди законодателей и алхимиков «лабораторного периода русской прозы». Но можно ли — даже отрицая едва ли не всего Ремизова, целиком — всерьез приравнивать его прозу к «языковой струе...» Распутина? Ульянов говорит, что Ремизов «был единственным среди своих поклонников, который не обиделся» на его статью «Хабенная мудрость». Обижаться м. б. и не надо было, но удивление в данном случае неизбежно.

В статье «Застигнутый ночью» речь идет о В. Ф. Ходасевиче и его суждениях о судьбах русской литературы, о том, что литература «самое важное сейчас из возможных русских дел». Ульянов принимает точки зрения Ходасевича полностью. И это, конечно, хорошо, ибо Ходасевич — явление индивидуальное и как поэт и как критик и как литературовед. Однако, суждения его о русской литературе за рубежом в целом едва ли охватывают тему и принимать их без конкретной критики без существенных оговорок не стоит. Ряд заявлений Ходасевича — явно субъективные обобщения.

Тема национализма, повидимому, одна из очень близких Ульянову. Он неоднократно к ней обращается и в статьях и в отдельных своих книгах. Трактует он ее умно и ясно. В рецензируемом томе он написал примечательный очерк «Национализм Толстого», который мне представляется одним из интереснейших — за последнее десятилетие — вкладов в огромнейшую специальную литературу о «писателе земли Русской» (по выражению Тургенева). Единственное мое «критическое» замечание — сожаление, что Николай Иванович не коснулся взглядов Толстого в эпоху «Севастопольских рассказов» и не привлек к рассмотрению его кавказских повестей, в частности, — «Хаджи-Мурата»: там немало характерного материала для понимания этой темы.

Исключительно остро и в то же время основательно написана работа — «Шевченко легендарный». Вывод автора: «Слава Шевченко — одна из самых нелитературных слав. Она

создана не читающей публикой и не критикой, а политическим движением — украинским национализмом и дружественной ему русской радикальной интеллигенцией. Истинный же образ поэта нуждается в реставрации».

«Комплекс Филофея», публицистическо-историческая работа Ульянова, выделенная им, как единственная статья во втором разделе книги, была первоначально напечатана в 45-й кн. «Нового Журнала», в 1956 году и в той же книге вызвала отклик в «Комментариях» тогдашнего редактора, М. М. Карповича, который согласился с «подробной и документированной сводкой исторических данных о происхождении идеи Третьего Рима, об ее иностранных источниках и об ее судьбе в Московской Руси» и нашел «очень интересным и убедительным» комментарий Ульянова. Некоторые возражения Карпович сделал по вопросу о степени влияния «руссофобских идей» Духинского во Франции и против «распространительного толкования, которое Н. И. Ульянов дает «исторической схеме» П. Берлина и Е. Юрьевского, — против их взглядов и иных авторов в «Социалистическом Вестнике» направлено острое статьи «Комплекс Филофея». Ульянов принял во внимание замечания М. М. Карповича и кое-что снял вовсе при переиздании статьи в «Свитке», а кое-что перефразировал в концовке работы, которую и я, как и М. М. Карпович, полностью принимаю по существу дела. Позволю себе, однако, сделать краткое дополнение. Н. В. Вольский (Е. Юрьевский), с которым у меня возникла с 1957 года переписка (в связи с докторскими работами моих студентов по истории политических идей в России и, в частности, в связи с Андреем Белым), заинтересовался моей английской работой — «Филофей и его послание к Ивану Васильевичу», — смысл последней я даже изложил ему до появления моей работы в печати (ибо мой корреспондент не понимал по-английски). Н. В. Вольский сообщил, на какие источники он опирался, говоря о Филофее и теории Москва — Третий Рим: «...главным образом на Платонова. Есть такая, во многих отношениях реакционная и нелепая, книга Карташева «Воссоздание Святой Руси...» я бы просил вас заглянуть в стр. 31-38. Мне кажется, что именно в них есть нечто очень правильное, исторически верное, показывающее в какой обстановке появилась тема Третьего Рима»; кроме того, «...я

также нашел кое-что для меня интересное в работе советского историка Н. С. Чаева).

Повидимому, Вольский-Юрьевский был чрезвычайно озадачен моим объяснением причины появления послания Филофея к Ивану III (вернее всего в 1500-1502 годах) в котором изложена теория «Москва — Третий Рим». Это послание, по существу, есть защита церковных имуществ и было вызвано к жизни громадными конфискациями церковных земель в Новгороде, проведенными Иваном III в 1499 году; никакого «апофеоза» Москвы там нет, если брать всё послание в целом, не вырывая отдельные фразы из контекста, а это есть попытка остановить великого князя Московского и всея Руси в его политике имущественного ослабления церкви, указывая, что волею исторических обстоятельств Москва оказалась единственным независимым православным государством и ее обязанность искоренять церковные изъяды в жизни русской митрополии и защищать православие. Позднее, в иных посланиях иным лицам, Филофей повторяет свой ведущий мотив — «Два Рима падоша, Третий стоит, — Четвертому не быти», отбрасывая свой трактат в защиту церковных имуществ: после Собора 1503 года, когда Иван III круто переменял свою церковную политику, пойдя на соглашение со стяжателями, опасность новых конфискаций отпала, — дальнейшие митрополиты и великие князья действовали в согласии, блюдя интересы церкви и государства. Таким образом, Филофей ни о каком «мессианизме» не помышлял... Но Н. В. Вольского остановить это не могло: «...Возвращаюсь к вопросу о мессианизме. Прежде большевики говорили, что им нужна мировая революция, чтобы разрушить капиталистический мир, угрожающий существованию коммунистического строя в СССР. Но этот аргумент теперь полностью отпал. Теперь не капитализм (куда ему!) угрожает коммунизму, а коммунизм СССР, вкупе с Китаем и всей восточной бандой, угрожают свободному миру. Ныне идея мировой революции питается другими соображениями, другим источником — и именно мессианизмом. Кускова мне написала архиругательное письмо, говоря, что мои писания о советском мессианизме ее «приводят в бешенство». Ей Богу, так и написала. Но если этого советского мессанизма нет, то тогда чем объяснить всю внешнюю политику СССР? Чем?...» Н. В. Вольский (в том же письме 1958 года) так формулирует

свою позицию: «...Наша эмиграция переполнена скрытыми и открытыми, сознательными и несознательными мессианистами. Чувства их превосходно выразил милейший Борис Зайцев, заявив: — «Для нас русских, а особенно изгнанников, Достоевский есть хоругвь. Отец и вождь. Без него нет России, нет ее души». Ужас в том, что этот мессианизм перекликается с мессанизмом, на весь мир кричащим из Москвы. А для меня этот мессианизм — проклятие, это он ныне питает идею мировой революции, и пока Россия не выблует из себя этот мессианизм — не будет ни ей, ни миру покоя».*

Мне представляется, что эти цитаты дают выразительный материал для «примечания» к статье Ульянова «Комплекс Филофея».

Как мы видим, «Свиток» — книга качественная, смелодвигающая авторское миропонимание. Читать Ульянова всегда интересно, несогласие с ним обычно будит мысль, а согласие, безусловно, обогащает. Конечно, у него, как и у всех авторов с индивидуальным складом ума, есть ряд «комплексов». Главнейший, повидимому, порожден шоком из опыта русской ре-

* *Прим. редакции.* Я долго и близко знал Н. В. Вольского. Он был блестящий публицист, но горячий и потому пристрастный. Когда он вместе с некоторыми меньшевиками из «Соц. Вест.» начал эту «кампанию» замены марксизма-ленинизма, как пути к «мировой революции», — каким-то, якобы, «русским мессианизмом», это было и крайне надуманно и совершенно неубедительно. Последующие события — политика Хрущева с его заявлением: мы вас (капитализм) «угробим», и политика Брежнева с его «ленинским курсом» вполне подтверждают что КПСС ни в чем от «заветов Ленина» не отказывается. Меняется только тактика, но цель общей стратегии — ленинская большевизация мира — неизменна. И в этой политике КПСС ни русский и никакие другие народы быв. России никакого участия не принимают. Народ молчит. Народ безмолвствует. Голосом народа мы должны считать скорее отдельные голоса Солженицына, Сахарова, Н. Мандельштам, Максимова, Буковского, Барабанова, Чуковской, Медведева и многих других «инакомыслящих». Права была Е. Д. Кукова, приходя «в бешенство» от «мессианских» писаний Н. В. Вольского. Что же касается Достоевского, то на него Н. В. Вольский (как и подавляющее большинство русских социалистов) смотрел глазами Ткачева, Михайловского, Горького. Достоевский был ему совершенно чужд, это была «планета» из другого мира. *Р. Г.*

волюции. Пессимизм, которому не чужд наш автор усугублен (это заметно) опытом общения с современным Западом. Большой писательский темперамент иногда способствует вовлечению автора в излишне резкие формулировки, порой граничащие с парадоксами (комплекс «остранения» без ограничений). Но все эти (и другие) особенности мыслей и чувств Н. И. Ульянова только подчеркивают своеобразие его писательского облика.

Кембридж

Ник. Андреев

КТО ЖЕ «ОТЕЦ КОЛХОЗОВ»?

Авторы «Политического дневника»* объявили мой тезис, что не Ленин, а Сталин является «отцом колхозов», ложным. В ответ на мое указание, что Ленин даже не знал термина «колхоз», мои критики разразились целой тирадой в защиту «колхозного» Ленина, но существо проблемы обошли. Мне не хуже, чем моим критикам, известно, что Ленин коммунист и коллективист, его идеал — коммунизм и в городе и в деревне. Но Ленин не знает ничего о «сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса», поэтому он не знает и слова «колхоз». Если бы он его знал, моим критикам нужно было бы уличить меня соответствующей цитатой. Таких цитат у Ленина нет. Даже в последней статье Ленина «О кооперации» (январь 1923 г.) тоже нет и намека на «колхозы» (в партийных документах понятие «колхоз» впервые появляется в 1925 г. через год после смерти Ленина). Но обратимся к истокам и сущности аграрной программы большевизма вообще.

Как Ленин, так и Сталин откровенно признавали в своих писаниях, что одна из решающих причин, в силу которых большевики так легко захватили власть, было их обещание передать всю конфискованную помещичью землю крестьянам. («Вся земля крестьянам!»)

Макиавеллевская же тактика Ленина и заключалась в том, что он открыто и безоговорочно принял на II съезде Советов 26 октября 1917 г. «Закон о земле» как раз по проекту партии эсеров, чтобы удержать захваченную власть. Когда же догматические ученики Ленина обвиняли его в том, что он изменил собственной программе (национализации земли), заменив ее мелкобуржуазно-кулацкой программой партии социалистов-

* Политический дневник, стр. 510, Фонд имени Герцена. Амстердам, 1972.

революционеров (социализация земли), то Ленин только удивлялся политической наивности своих последователей. Крестьяне не хотят большевицкой программы, они хотят эсеровскую программу, согласно которой вся помещичья земля переходит в их руки через местные крестьянские комитеты. Ленин говорил, что советское правительство как «демократическое правительство» подчиняется этому желанию крестьян, выраженному в их «наказе» I Всероссийскому съезду крестьянских депутатов (Ленин, том 26, стр. 225-229, 4-е изд.). Поэтому и дополнительный декрет ВЦИК о земле 19 февраля 1918 г. назывался «декретом о социализации земли». Конечно, целью Ленина была и оставалась именно *национализация земли* и на этой основе образование крупного социалистического земледелия. Но дорога к этому лежала через удержание и укрепление коммунистической власти, что в свою очередь было возможно по Ленину только отдав всю землю в частное пользование крестьян. Интересно отметить, что Ленин (II съезд) отдавал не только всю помещичью землю, но даже и всю государственную «в пользование всех трудящихся на ней» лишь бы получить их поддержку.

Началась гражданская война. Она потребовала милитаризации всей экономики, в том числе и крестьянской. Большевики ее выиграли в первую очередь из-за той же их аграрной политики, когда крестьянская масса, боясь реставрации старого помещичьего строя, опять пошла за большевиками. Однако победившие большевики совсем и не думали добровольно отказаться от режима военного коммунизма, который, по их мнению, мог явиться как раз искомой формой перехода к непосредственному коммунизму в деревне. Сегодня партийные теоретики отрицают это, но сам Ленин признавал, что дело обстояло именно так. Обосновывая неизбежность отказа от военно-коммунистической системы и необходимость перехода к новой экономической политике (НЭП) Ленин говорил: «Мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, — и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение. Не могу сказать, что именно так определенно и наглядно мы рисовали себе такой план, но приблизительно

в этом духе мы действовали. Это, к сожалению, факт». (Ленин. том 33, стр. 40, 4-е изд.).

И Ленин, не только ловкий тактик, но и трезвый политик, скоро увидел, что тамбовское восстание крестьян и кронштадская революция матросов («За Советы без коммунистов!») может оказаться началом конца его режима, если он не сделает радикальный поворот в экономической, в первую очередь, сельскохозяйственной политике. Отсюда и родился НЭП.

Чуждый всем догмам, в том числе и марксистским, (непогрешимым святым Ленина сделали его эпигоны), Ленин признал банкротство своей политики непосредственного перехода к коммунизму и сделал соответствующие выводы: «Мы не должны рассчитывать на непосредственно коммунистический переход. Надо строить на личной заинтересованности крестьян... Умели ли мы это сделать? Нет, не умели. Мы думали, что по коммунистическому велению будет выполняться производство и распределение... Если мы эту задачу думали решить прямым, так сказать лобовой атакой, то потерпели неудачу. Такие ошибки бывают во всякой войне... Не удалась лобовая атака, перейдем в обход, будем действовать осадой и сапой» (Там же, стр. 46, 47).

Вот этой «осадой и сапой» и был нэп. Если в истории коммунистической диктатуры когда-нибудь существовала «золотая эра», такой эрой был тот короткий период в истории, который называется периодом нэпа (1921-1926). Нэп как раз доказал, что можно жить под коммунистической диктатурой и иметь процветающее, рентабельное сельское хозяйство. Советское государство тех лет было занято не заботой о «хлебе насущном», а тем как и где на мировом рынке реализовать излишний хлеб, чтобы избежать серьезного кризиса при его перепроизводстве.

С точки зрения Сталина у такого сельского хозяйства был все-таки один для режима недостаток: при нем не крестьяне зависели от государства, а государство зависело от крестьян. Сталин решил перевернуть эту формулу. Отсюда и родилась идея коллективизации. Коллективизация в основном кончилась за два-три года (1929-1932) установлением ныне существующей принудительной колхозной системы. Вот с этих пор советское сельское хозяйство знает только один кризис —

перманентное недопроизводство всех видов сельскохозяйственной продукции.

Сталин выдавал свою коллективизацию за знаменитый кооперативный план Ленина. Дискуссия между Сталиным и группой Бухарина из Политбюро как раз и происходила вокруг основного вопроса: что такое этот кооперативный план Ленина и каким образом его осуществить? Кто кого должен субсидировать и финансировать — государство крестьянские кооперативы, как это предлагал Ленин или крестьянские кооперативы (колхозы) должны финансировать и субсидировать государство (индустриализацию), как теперь предлагал Сталин? В споре об интерпретации ленинского кооперативного плана правда была на стороне Бухарина. Но на стороне Сталина был более важный аргумент в политике — аппарат власти. Опираясь на этот аппарат (и явно фальсифицируя Ленина для идеологического обоснования своих действий), Сталин без ведома не только ЦК, но и Политбюро 27 декабря 1929 г. на конференции марксистов-аграрников оглашает свой собственный колхозный план: «Сплошная коллективизация и ликвидация на ее основе кулачества как класса» (Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 274-294). Этот план был задним числом утвержден ЦК 5 января 1930 г. («КПСС в резолюциях», ч. II, 664-667, 1954). Тогдашний советский «президент» Калинин был вполне прав, когда он этот план назвал не ленинским кооперативным планом, а планом «полной победы идей Сталина и его руководства» (газета «Социалистическое земледелие», 1 марта 1939 г.).

Как же Сталин поступил с «Декретом о земле» от 26 октября 1917 г. и с декретом «О социализации земли» ВЦИКа, от 19 февраля 1918 г., с «Земельным кодексом» РСФСР 1922 г. и наконец с резолюцией XV съезда партии (1927 г.) о сохранении нэпа в деревне? На этот вопрос он ответил просто и легко: «Эти законы и эти постановления придется теперь отложить в сторону... Впрочем, они уже отложены в сторону самым ходом колхозного движения...» (Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 297).

Более того, Сталин еще на июльском пленуме ЦК (1928 г.) провозгласил принцип, согласно которому не государство финансирует создание «нового строя» в деревне (как об этом говорил Ленин) а, наоборот, деревня должна платить некую

дань для финансирования индустриализации страны. Сталин говорил: «Оно (крестьянство — А. А.) платит государству не только обычные налоги, прямые и косвенные, но оно еще переплачивает на сравнительно высоких ценах на товары промышленности, это, во-первых, и недополучает на ценах на сельхозтовары, это во-вторых... Это есть нечто вроде «дани», нечто вроде сверхналога, который мы вынуждены брать временно, чтобы сохранить нынешний темп развития индустрии». (Сталин, Сочинения Т. 11, стр. 159). *Это «временно» продолжается уже более 40 лет!*

Бухарин назвал эту практику Сталина «военно-феодальной эксплуатацией крестьянства» (см. «КНСС в резолюциях», ч. II, стр. 555). Коллективизация была проведена при самом упорном сопротивлении не только так называемого «кулачества», но и всего среднего крестьянства, которое считали при нэпе «центральной фигурой в деревне». Ряд крестьянских восстаний, которые во многих районах СССР принимали форму бабьих бунтов, подавлялись применением вооруженных сил армии и полиции (ОГПУ). Общие жертвы коллективизации оказались так велики, что ЦК, который решился сообщить потери во Второй Мировой войне, никак не может решиться до сих пор сообщить число жертв сталинской колхозной войны.

Когда Сталин увидел, что одними репрессиями невозможно усмирить крестьян и удержать их в колхозах, то он по обычной его манере возлагать вину за собственные преступления на своих исполнителей, выступил с известной статьей «Головокружение от успехов» (2 марта 1930 г.). В ней говорилось, что «наши люди» нарушили ленинский принцип добровольности в «кооперативном» (колхозном — А. А.) движении, загоняли крестьян в колхозы силой, иногда даже силой оружия. Отныне вступление в колхоз — дело добровольное. Результатом этого было то, что поверив Сталину, что колхозы дело действительно добровольное, из 60% коллективизированных хозяйств к началу марта 1930 г. в колхозах осталось около 40% к концу того же марта (Сталин, там же, стр. 316). Чтобы «добровольно» вернуть обратно добровольно вышедших из колхозов, Сталин ввел повышенные и явно невыполнимые нормы обязательных заготовок сельскохозяйственной продукции, особенно по хлебу. К невыполнившим заданий начали применять пресловутую «хлебную статью» Уголовного кодек-

са РСФСР (ст. 107), как к спекулянтам. В результате осужденные крестьяне ссылались в Сибирь с конфискацией их имущества, то есть их постигала та же судьба, что и ранее ликвидированных кулаков. Поставленному таким образом перед выбором — Сибирь или колхоз — крестьянству ничего не оставалось делать, как вернуться «добровольно» в колхозы, но началом этого возвращения был массовый убой скота (чтобы он не достался колхозу), а результатом — резкое сокращение посевных площадей всех культур. Отсюда голод 1931-1932 гг., который только на Украине стоил 5-6 миллионов жертв.

Тогда правительство вводит систему принудительного сева под угрозой высылки на этот раз уже целых сел за «кулацкий саботаж», что и практиковалось, например, на Кубани. Но так как эта мера могла быть только временной, ибо власть и физически не могла бы поставить по одному полицейскому на каждый плуг, то родилась идея, которая избавила крестьян от опасности голодной смерти, более того — от этой идеи выигрывал и город: идея приусадебных участков, частных коров и «колхозной торговли» и так называемого «отоваривания» сельскохозяйственных поставок (то есть засылку в деревню промышленных товаров в счет выполнения плана по заготовкам). Это мероприятие смягчило остроту положения, но не ликвидировало причины деградации сельского хозяйства. Правительству ничего не оставалось, как ввести в стране карточную систему на продовольственные и промышленные товары. Колхозники карточек не получают и должны жить на свои мизерные доходы от трудодней и приусадебных участков. В ответ колхозники продолжают «саботировать» сельскохозяйственные работы, и кража колхозных продуктов прямо с полей принимает катастрофический масштаб. Отсюда памятный крестьянам драконовский декрет от 7 августа 1932 г., который за «расхищение социалистической колхозной собственности» в любом размере, начиная от пары кукурузных качанов, наказует расстрелом или тюремным заключением не менее десяти лет. К концу 1932 г. Сталин и партия завели сельское хозяйство в такой тупик, что альтернатива гласила: либо возврат к нэпу, либо тотальный партийно-полицейский контроль над каждым колхозом в отдельности. Партия и Сталин выбрали последний путь.

Сталин заявил: «Партия должна взять в свои руки руко-

водство колхозами... Партия должна входить во все детали колхозной жизни и колхозного руководства» (Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 402-403). Вот тогда и возникла партийно-полицейская сеть руководства колхозами под названием политотделов МТС и совхозов (январский пленум ЦК 1933 г.). Руководители политотделов непосредственно назначались ЦК партии и местным властям, даже партийным и чекистским, не подчинялись. Если цель партии и Сталина заключалась в том, чтобы любой ценой, ценой такой низкой производительности труда, которой не знало даже крепостное право, но только окончательно утвердить колхозный строй в деревне, — то такая цель была достигнута. В ноябре 1934 г. в колхозах (МТС) сеть политотделов была реорганизована в нормальные партийные органы руководства (в совхозах она на время сохранилась).

В январе 1935 г. на II съезде колхозников был принят «Примерный Устав сельскохозяйственной артели». Этот устав был утвержден ЦК партии и правительством — 17 февраля 1935 г. В органе ЦК партии в журнале «Большевик» (№ 10-11, стр. 18, 1938) он был охарактеризован как «высший закон, основной закон построения нового общества в деревне». Здесь нет ни нужды, ни места заниматься анализом отдельных статей этого Устава. Приведем только краткую характеристику этого «основного закона» колхозной системы в изложении советского юридического учебника «Основы советского государства и права»: «В основе этого устава лежит *сталинское учение о сельхозартели*, в которой правильно сочетаются общественные интересы колхоза и личные интересы колхозников. Правильное сочетание личных и общественных интересов в с./х. артели предполагает такую ее деятельность, в результате которой *аккуратно и в первоочередном порядке обеспечиваются интересы государства*, (выполнения обязательных поставок, уплата налогов и т.п.), затем обеспечиваются внутриколхозные *общественные нужды* (создание натуральных и денежных фондов), и, *наконец, обеспечиваются личные потребности колхозников* путем распределения по трудодням *остающейся* для этой цели натуральной и денежной части колхозных доходов» («Основы советского государства и права», 1947 г., стр. 472).

Итак, в первую очередь выполнение твердых заготови-

тельных планов государства за бесценок (например, Хрущев рассказывал, что перевозка картофеля на станции железной дороги стоила колхозам дороже, чем сумма, которую платило государство за этот картофель), во вторую очередь выполнение плана по засыпке бесчисленных «общественных» и «неприкосновенных» фондов и, наконец, выдача по трудодням из того, что осталось. Но так как во многих случаях ничего не оставалось, то крестьяне жили в основном на то, что они получали со своих приусадебных участков. Так было во все времена правления Сталина. Тем не менее «зерновая проблема» считалась разрешенной. Более того. Колхозный хлеб появлялся даже на мировом рынке. Но как он появлялся? Когда в 1963 году Хрущева начали упрекать, что он закупает хлеб за границей на валюту, тогда как при Сталине мы, наоборот, экспортировали хлеб, то невозмутимый первый секретарь ответил: «Если в обеспечении хлебом населения действовать методами Сталина, Молотова, то тогда и в нынешнем году можно было бы продавать хлеб за границу. Метод был такой: хлеб за границу продавали, а в некоторых районах люди из-за отсутствия хлеба пухли с голоду и даже умирали» (Н. С. Хрущев, «Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства», т. 8, стр. 265, Москва, 1963 г.) Вот эта колхозная система и есть творческий вклад Сталина в ленинизм.

Я могу успокоить моих критиков — этот вклад Сталина, однако, не противоречил духу ленинизма. Вопреки авторам из «Политического дневника», которые критикуют Сталина с позиций «ортодоксальных ленинцев», история неопровержимо засвидетельствовала: Сталин органически вырос из Ленина, сталинизм есть наиболее последовательное осуществление основ ленинизма на практике. Кто критикует Сталина тот неминуемо критикует и самого Ленина. В этом убедились теперь и в Кремле, когда за критику Сталина сажают в психотюрьмы.

Единственное «последствие культа Сталина», которое можно было бы критиковать ссылаясь на Ленина, — это и есть сталинская колхозная система, но ее не критиковал даже Хрущев, ибо не собирался ее ликвидировать. Поэтому этот действительно «оригинальный вклад» Сталина в ленинизм, который при жизни Сталина всеми признавался таковым, после реабилитации Сталина и во время ликвидации «последствий культа» пришлось отнять у Сталина и передать Ленину. Авто-

ры из «Политического дневника», видимо, не знают, что *если они «ленинцы», то они обязательно и сталинцы!*

II

Одна из самых кровавых страниц в истории СССР — это насильственная «сплошная коллективизация и ликвидация кулачества как класса». Общий план будущей коллективизации сложился в голове Сталина уже на XV съезде, в 1927 году, за что этот съезд и был назван Сталиным «съездом коллективизации» по примеру того, как предыдущий XIV съезд был назван «съездом индустриализации». Но Сталин хорошо знал, что без политической изоляции правого крыла руководства ЦК, во главе которого стоял Бухарин, он не сможет провести в жизнь свой план. Когда это препятствие отпало политическим осуждением бухаринцев на ноябрьском пленуме ЦК в 1927 г., Сталин почувствовал, что его руки отныне развязаны и что даже ЦК — это он сам. Этим и объясняется, что план «колхозной революции», которую сам Сталин объявил «глубочайшим революционным переворотом, равнозначным по своим последствиям революционному перевороту в октябре 1917 г.» («История ВКБ(б). Краткий курс, стр. 291), обнародовала не партия (съезд), не ЦК (Политбюро, Пленум), а лично Сталин.

В книге «Технология власти» я впервые в литературе сообщил об этом факте. Я писал, что на конференции аграрников-марксистов «27 декабря 1929 г. Сталин единолично и без разрешения ЦК вынес смертный приговор многомиллионному российскому крестьянству — так называемому кулачеству» (стр. 156). Что это было так, я знал из собственной информации, но подтвердить этот факт документально я тогда не мог. Но впоследствии сами ученики и наследники Сталина рассказали, что дело обстояло именно так. В учебнике С. Пономарева по истории КПСС 1971 г. сказано по этому поводу следующее: «Новый лозунг партии был провозглашен Сталиным в конце 1929 г. на конференции аграрников-марксистов... Для его обоснования и разъяснения не был созван даже пленум ЦК» («История КПСС», Москва, 1971, стр. 403).

Поразительно беспринципность, конъюнктурщина и хамелеонство неосталинских теоретиков в трактовке проблемы коллективизации в советской литературе. Примеров — бес-

численное количество; я ограничусь здесь цитатами из писаний лишь одного ведущего советского автора по вопросам коллективизации, а именно — С. П. Трапезникова. Он написал три книги о коллективизации: 1) одна книга вышла в 1951 году под названием «Борьба партии большевиков за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой сталинской пятилетки». В ней на стр. 88 автор пишет: «т. Сталин всесторонне обосновал причины, которые обусловили переход партии к новой политике в деревне. Этот переход был исторически *подготовлен* к осени 1929 г.» (здесь и дальше курсив мой, А. А.);

2) вторая его книга вышла в 1959 году, под названием «Исторический опыт КПСС в социалистическом преобразовании сельского хозяйства». В ней, на стр. 175, автор винит Сталина в загибах уже в декабре 1929 г. и тут же добавляет: «Провозглашение (Сталиным) новой классовой политики (ликвидация кулачества как класса, А. А.) было для многих наших работников внезапным, поскольку в этот период не было проведено ни съезда, ни конференции, ни пленума ЦК»;

3) третья книга автора вышла в 1965 году, под названием «Исторический опыт КПСС в осуществлении ленинского кооперативного плана». На стр. 197-198 в ней сказано: «И. В. Сталин в своей речи 27 декабря 1929 г. теоретически обосновал новую классовую политику партии в деревне... Спрашивается: своевременно ли был избран момент для этого выступления? *Сталин был прав...* Переход к этой политике был *подготовлен* всей предшествующей работой партии». Автор заявляет, что никакого произвола Сталина не было, ибо «новая классовая политика впервые была всесторонне обоснована в комиссии Политбюро» (стр. 197. Дальше мы увидим, что это утверждение тоже ложное).

Что же можно сказать о таком ученом, который при каждом новом «генсеке» пересматривает историю и фундаментально меняет свою точку зрения? Только то, что Трапезников — «истинный диалектик», который на самом себе продемонстрировал действия трех постулатов «марксистской диалектики»: «тезис — антитезис — синтез». «Тезис» (при режиме Сталина): «Сталин — гениальный отец коллективизации, она была подготовлена идеально, только на местах встречались «загибышки»; «антитезис» (при режиме Хрущева): «Сталин — греш-

ник, сам «загибщик» по коллективизации, действует без подготовки, «внезапно» и без мандата партии»; «синтез» (при режиме Брежнева): «Сталин вновь гениален, хотя и с малюсеньким изъяном, он и не «загибщик» — все «загибщики» на местах в виде «скрытых троцкистов»; он действует по плану, с мандатом от партии» (Сталин обобщил опыт «комиссии Политбюро!»).

Сей ученый муж восседает сегодня в кресле «заведующего отделом науки» ЦК КПСС. Бедная наука! Однако ссылка С. П. Трапезникова на «комиссию Политбюро» по коллективизации была сделана не без основания, хоть вывод его, что Сталин посчитался с рекомендациями комиссии, является сознательной фальсификацией. Об этом мы узнаем из статей других советских авторов, напечатанных во времена Хрущева. Они дают любопытный материал и в отношении того, какую роль Сталин начал отводить ЦК, когда были ликвидированы все его соперники и слева и справа.

При Хрущеве советские историки старались показать, что все ошибки и перегибы по коллективизации лежали на ответственности трех человек — Сталина, Молотова и Кагановича, а не на партии и даже не на ЦК (хотя эта «тройка» фактически и представляла и партию и ЦК). Одновременно советские историки пытались изобразить самое дело коллективизации не как дело Сталина или новой «тройки», а как результат инициативы всего ЦК. Документы, которые в этой связи хрущевский ЦК разрешил пустить в научный оборот, не подтверждают, а опровергают оба тезиса.

Начнем с роли Сталина. Тогдашний секретарь ЦК КПСС, бывший лейб-биограф Сталина П. Н. Поспелов, писал: «В первый период сплошной коллективизации (январь-февраль 1930 г.) были допущены серьезные ошибки... Весной 1930 г. Сталин всю вину за допущенные ошибки переложил на партийные кадры и местные партийные организации, хотя значительная часть вины лежала на самом Сталине» («Вопросы истории КПСС», № 2, 1962, стр. 19-20). Подгоняемые сверху Сталиным, Молотовым, Кагановичем, местные секретари партии открыли по стране кампанию за коллективизацию: «Кто больше», «Кто не идет в колхоз, тот враг Советской власти» («Вопросы истории КПСС», № 4, 1962, стр. 64). Такое «сопереживание», такое «искусственное ускорение темпов кол-

тективизации нередко приводило... к административным порочным методам, угрозам «раскулачивания», нажиму на колеблющуюся часть крестьянства, прежде всего середняка... Эти искривления допущены при попустительстве Сталина, Молотова, Кагановича... Некоторые колхозы стали разваливаться... отмечаются массовые выходы из колхозов» (там же, стр. 65). Оказывается, что согласно справкам из архива ЦК, еженедельные сводки Колхозцентра СССР о ходе коллективизации не только не посылались всем членам ЦК, но их не посылали даже всем членам Политбюро. Партийный историк по этому поводу замечает: «Такие сводки каждые семь-десять дней с конца 1929 г. посылались регулярно Сталину, Молотову, Кагановичу, а также Ворошилову (когда речь шла о пограничных и красноармейских колхозах). Поэтому нельзя не осудить попытку Сталина в статьях «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам» переложить всю вину за перегибы на местных работников... Перегибы были обусловлены неправильными распоряжениями из центра» (там же, статья Н. А. Ивницкого «О начальном этапе сплошной коллективизации», стр. 65).

Как уже отмечалось, партийные историки сочинили новую легенду, согласно которой дело коллективизации — это не акт воли Сталина, а результат решения ЦК. Они пишут: «Под влиянием культа Сталина... выдвигался тезис о «сталинском плане коллективизации», об особой роли Сталина в разработке программы коллективизации... Программа коллективизации разрабатывалась отнюдь не одним человеком, а всей партией в частности ее революционным штабом — ЦК» («История СССР», № 4, 1962 г., статья «История коллективизации...» М. Л. Богденко и И. Е. Зеленина, стр. 137-138).

Какие же доказательства приводят авторы? Выдержки из протоколов комиссии Политбюро ЦК. Что это за комиссия, каковы ее рекомендации, насколько они отразились в речи Сталина 27 декабря и решении ЦК от 5 января 1930 г.? Постараемся разобраться в этих вопросах по тем скудным, порой противоречащим друг другу сведениям, которые партийные историки вычитали из протоколов «комиссии Политбюро». Прежде всего, неясен сам статут «комиссии Политбюро» — были ли ей делегированы права Политбюро (как Сталин любил это делать, когда ему нужно было по каким-либо соображе-

ниям обойти Политбюро)? В этом приходится сомневаться, так как, во-первых, во главе комиссии стоит не член Политбюро, Наркомзем Я. Яковлев; во-вторых, судя по участникам, это — не «комиссия Политбюро», а скорее междуведомственное совещание ЦК. Не известен и самый состав комиссии.

Один советский исследователь называет членами комиссии членов и кандидатов ЦК — Косиора (Украина), Шеболдаева (Нижняя Волга), Варейкиса (ЦЧО), Баумана (МК) («Вопросы истории», № 5, 1963, стр. 25). Другой советский историк этих же лиц называет просто «представители» мест («Вопросы истории КПСС», № 4, 1962, стр. 61). На то, что речь идет не о «комиссии Политбюро», а о междуведомственном совещании, указывает и самое перечисление членов «комиссии Политбюро». Так, кроме названных лиц, туда, оказывается, были включены: «ведущие работники СНК РСФСР, Госплана СССР, ВЦСПС, Наркомзема СССР и РСФСР, НК РКИ, Колхозцентра, Хлебоцентра, Наркомфина, Наркомторга, Сельхозбанка, Сельхозснабжения, Наркомпроса, Института советского строительства, университета имени Свердлова» («Вопросы истории КПСС», № 5, 1963, стр. 25). (В этом перечислении, кстати нехватает одного «маленького» учреждения — Совнаркома СССР, во главе которого все еще стоял Рыков).

Смешны до нелепости потуги партийных историков выдавать это бюрократическое совещание не только за волю партии, за волю ЦК, но даже за волю Политбюро. Столь же нелепо думать, что Сталин мог считаться с рекомендациями такого собрания. Никаких конкретных решений, разумеется, подобная комиссия не могла предложить и ЦК. Поэтому-то партийные историки писали: «Исследователи по-разному определяют время работы, состав и задачу декабрьской (1929 г.) комиссии Политбюро, не сообщают о том, какие она приняла решения, в какой мере внесенные ею рекомендации нашли отражение в постановлении ЦК от 5 января 1930 г. и в последующих постановлениях» («История СССР», № 4, 1962, стр. 138).

Однако, судя по данным других советских историков «комиссия Политбюро» все-таки выносила «рекомендации» или «постановления», которые Сталин решительно отверг. Эти «рекомендации» касались самого главного вопроса коллективизации — как быть с кулачеством. Так называемое кулаче-

ство не было однотипной массой в социально-экономическом отношении; оно не было и сплошь враждебной группой политически. Это были крестьяне, которые стали зажиточными, благодаря политике советской власти — она дала им землю, отняв ее у помещиков, она же дала им и НЭП, создавши условия резкого подъема и процветания их хозяйств. Понятно, что подавляющее большинство этих будущих «НЭП-овских кулаков» или их дети во время гражданской войны были в рядах Красной армии. В численном отношении «кулачество» составляло также довольно внушительную массу — официальная статистика говорила о 5-6 миллионах человек. Вот как быть с той частью кулачества, которая лояльна к советской власти? Советский автор сообщает: «Вопрос об отношении к кулачеству занял большое место в работе комиссии Политбюро... Комиссия установила три группы кулаков: 1) кулаки, которые оказывают активное сопротивление, 2) кулаки, которые менее активно оказывают сопротивление, 3) кулаки, которые готовы подчиниться и лояльно относиться к мероприятиям советской власти. Первая группа подлежит аресту и выселению в отдаленные районы страны, вторая группа — выселению за пределы области. Что же касается кулаков третьей группы, то комиссия считала возможным включить их в состав колхозов... При решении этого вопроса комиссия исходила из необходимости использовать в общественно-полезном труде членов кулацких семей, а таких насчитывалось 5-6 миллионов человек» («Вопросы истории КПСС», № 4, 1962, статья Н. А. Ивницкого, стр. 67-68).

Далее: «Детально обсудив ход коллективизации, комиссия Политбюро пришла к выводу о недопустимости спешки в колхозном строительстве» (там же, стр. 63). Итог: «22 декабря комиссия представила в Политбюро проект постановления о плане коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» (там же, стр. 61-62).

Как же реагировал на эти предложения ЦК? Никак. Вернее, ЦК еще не успел обсудить «рекомендации» или «постановления» «комиссии Политбюро», Сталин самолично отвел обе эти рекомендации в речи 27 декабря 1929 г. Тезис комиссии о «недопустимости» спешки в колхозном строительстве Сталин назвал «гнилой, антиленинской теорией самотека», а что касается кулачества, то и по этому вопросу Сталин отверг

требования «комиссии Политбюро». В названной речи он сказал: «Не менее смешным кажется другой вопрос: можно ли пустить кулака в колхоз. Конечно, нельзя его пустить в колхоз» (И. Сталин, т. 12, стр. 149, 170).

Каковы были общие человеческие издержки коллективизации? Сколько в общей сложности было ликвидировано крестьян как «кулаков» и «подкулачников»? Сколько из них было фактически уничтожено и сколько уцелело? Сотни книг, тысячи статей написали советские историки о коллективизации, но тщетно вы будете искать в них ответов на эти вопросы. Почему же не отвечают они на эти столь важные вопросы? Потому что ЦК запретил отвечать на них, ибо ЦК *бонится правды* даже через 40 лет после коллективизации, даже после того, когда все преступления можно было возложить на одного Сталина. Мы убедимся, что ЦК поступает благоразумно, скрывая от народа масштаб своего преступления, если мы сравним жертвы трехлетней ожесточенной гражданской войны в России (1918-1920) с жертвами трехлетней «классовой борьбы» по ликвидации зажиточного крестьянства (1930-1932) — по советским данным, в гражданской войне погибло с обеих стороны около 550.000 человек, а во время коллективизации погибло в восемнадцать раз больше, т.е. 10 миллионов человек. Эту цифру Сталин сообщил Черчиллю во время их беседы. Сталин добавил, что большинство из этих 10 миллионов человек «было уничтожено батраками» (W. S. Churchill, *The Second World War*, vol. IV, London, pp. 447-8).

«Батраки» — это значит Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Политбюро, ЦК, партия...

А. Авторханов

УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ «ИНДРИСА» РОДОНАЧАЛЬНИКА ТОЛСТЫХ

*Профессору филологии Вольдемарасу
автор выражает свою признательность*

Прежде чем приступить к исследованию настоящего вопроса необходимо указать, почему нужно исследование для выяснения, кто был Индрис и когда записано в российской геральдике его прибытие в Чернигов. Казалось бы, что все должно быть ясно по этой записи. Однако это совсем не так.

Во первых новая запись в геральдике по новым данным это уже доказывает, а кроме того, если всмотреться внимательно в первую геральдическую запись, то что мы видим? Очень подробно записано в ней все, что касается прибытия Индриса, когда он прибыл, и прибыл именно с двумя сыновьями, с очень большим по тому времени войском, был принят с очень большими почестями как Черниговским князем, так и Великим Князем, от которого получил колоссальное количество земельных имуществ — вотчин. Да, все это ясно, но все это касается момента прибытия Индриса на русскую землю. Ну а что же было с ним до этого? — Об этом ничего, и только очень двусмысленно говорится, что он прибыл из «немец», следовательно из Германии и больше ни слова.

Самое имя «Индрис» оказалось неизвестным и несуществующим ни в одном государстве. Национальность ни Индриса, ни прибывшего с ним войска не указаны и только по указанию о прибытии его из «немец» дана возможность предположить, что он был немцем. А может быть и эта запись может означать, что он прибыл из окружения немцами. Не указана часть Германии, из которой он будто прибыл, не указано кем он там был и какое имел имущество, на которое мог содержать такое большое войско; не указаны и причина оставления им отечества и прибытия в русское княжество. Не указаны

также причины оказания ему русскими князьями таких неслыханных почестей, какие ему были оказаны.

В чем же дело и почему такая странная неясная запись в русской геральдике. Муж высокого рода (честного), но неизвестно какого. Все это можно объяснить очень просто. Уклончивая и недающая никаких сведений о личности Индриса запись в геральдике явно сделана умышленно, чтобы скрыть действительную личность прибывшую под именем Индриса в Чернигов. Нужно было исполнить формальность, зарегистрировать прибытие, которое нельзя было скрыть от местных жителей, ее выполнили, но действительная личность Индриса осталась скрытой. Конечно это могло быть сделано только с согласия князей принявших Индриса и повидимому по его, столь влиятельной персоны, желанию.

Вот почему необходимо было произвести исследование и выяснить путем его, кто был Индрис перед прибытием в русские области.

Геральдики

По тексту первой записи в русской геральдике значится, что в 1353 году выехал из Германии в Чернигов муж честного рода Индрис, по крещении названный Леонтием, с сыновьями Константином и Феодором и с ними три тысячи дружины и мужей их. Великий Князь пожаловал Индриса многою милостью и вотчинами. Константин Леонтьевич имел внука Андрея Харитоновича, которого Великий Князь Василий Васильевич (1435-1462) прозвал Толстым. Вторая запись в геральдике сделана во Франции, где по французскому закону русская геральдика и ее новые записи имеют силу закона. В этой геральдике во первых указывается, что тотчас по приезде в Чернигов сам Индрис и оба его сына сразу сели боярами в боярской думе Черниговского Князя Димитрия Ольгердовича, сына Великого Князя Литовского Ольгерда (по литовски «Algyrdas»). Дальше в этой геральдике указывается, что имена сыновей Индриса до крещения были Литвинас и Зимоитен т.е. стопроцентные литовские имена, а следовательно и сам Индрис был литовцем, что повидимому его владения заняли немцы и именно тевтонский орден, и этим объясняется первоначальная запись в геральдике, будто он прибыл из Германии. Дальше из этой новой записи в геральдике видно, что сам Индрис,

его сыновья и все его войско были крещены в православную веру т.к. они были язычниками.

Исторические данные Русской Истории

В 1316-ом году (проф. Платонов) Литовский Князь Гедимин объединил под своим великим княжением всех литовских князей и начал присоединять к своему Великому Княжеству и русских, главным образом белорусских князей и дошел даже до Киева, который занял. Гедимин объявил себя королем литовцев и белоруссов и был признаваем таковым немцами, но королевской короны от Папы Римского конечно не имел, т.к. был язычник. После смерти Гедимины, великим князем литовским стал его сын Ольгерд и продолжая политику отца дальше присоединял к себе Белорусских удельных князей.

В 1223-ем году татарские орды Чингис-Хана одержали полную победу над соединенными силами русских князей, разорили страну и после этого исчезли бесследно. Через некоторое время явились татарские орды хана Батыя. Опять разорили всю страну, обложили ее данью, но дойдя до литовской границы остановились и заключили с Литвой договор о взаимопомощи. Татары и после Батыя твердо держались этого договора и литовской границы не нарушали. Этим отчасти объясняется легкое присоединение к Литовскому Великому Княжеству — Белорусских удельных княжеств. Этому также сильно содействовал тот порядок, который В. Князь Литовский оставлял в присоединяемых удельных княжествах. Он оставлял весь русский порядок управления, князей, боярскую думу, а удельным русским князьям было выгодно переходить из ведения русского Вел. Князя в ведение литовского Вел. Князя, т.к. таким образом они переставали платить дань татарам. Таким образом завоевательные походы как Гедимины, так и Ольгерда против русских удельных князей для их присоединения можно даже считать до известной степени театром для татар, чтобы оправдаться перед ними в лишении ими даников. Русский же Вел. Князь и Литовские Вел. Князь оставались во враждебных отношениях ввиду союза последних с татарами.

Из русской истории известно (проф. Платонов, Костомаров, Карамзин и др.), что у Вел. Князя Ольгерда было много сыновей и среди них в русской истории значится князь Тру-

бечска и Полоцка Андрей, который исчезает из Литвы в середине XIV века бесследно. Здесь также нужно отметить, что этот князь имеет немецкое прозвище «Виннгольд», что означает загребающий золото. Из русской истории мы также знаем, что княжество Трубечское и Полоцкое было окружено немецким Тевтонским орденом и поляками.

Прозвище Индрис

Когда автор настоящего исследования приступил к нему после первой мировой войны, живя в Литве в своем родовом литовском имении, новых сведений геральдики, выше описанных, еще не было. По семейному преданию автор от отца слышал, будто Индрис был Литовским князем. Были даже какие-то ветхие листы на латинском языке с белыми печатями, но они не расшифровывались и исчезли может быть и до революции. Значит, чтобы что-нибудь выяснить, необходимо было выяснить первым делом самое имя Индриса, откуда могло прийти лицо под этим именем. Оказалось, что ни в Литве, ни в Германии, ни в Скандинавии такого имени не было; в Норвегии было много Индриков, но также ни одного Индриса. Розыски не дали результатов и автор прекратил попытки что-либо узнать о его предке.

Однако совершенно случайно автор этого исследования получил новые и очень ценные сведения от Премьера Литовской независимой республики профессора филологии Вольдемараса.

Разъяснения Профессора Вольдемараса

Проф. Вольдемарас чистокровный литовец, из литовской небогатой семьи. После народной школы окончил гимназию и поступил в Харьковский университет. Здесь он одновременно проходит два факультета, юридический и филологический, оканчивает оба и последний с золотой медалью. Получает звание приват-доцента, остается при университете и 24-х лет читает студентам лекции по филологии.

После гибели Российской Империи проф. Вольдемарас является одним из главных организаторов независимой Литовской Республики. При приходе к власти литовских националистов Вольдемарас делается Председателем Совета Министров

и министром Иностранных Дел. Вольдемарас был очень популярен в Литве. Но был большим руссофилом.

Однажды будучи у автора этого исследования, профессор Вольдемарас неожиданно спросил меня, известно ли мне мое высокое литовское происхождение и получил ответ, что да, известно, но что я пытался найти этому доказательства, а для этого необходимо выяснить, что за имя Индрис и это мне не удалось. Ни на одном языке, в том числе и на литовском, такого имени не оказалось. «Ну такого имени нигде и не найдете», разъяснил проф. Вольдемарас, «таковое и не существовало, т.к. это русское имя, но взято с литовского *по созвучию*». Это языческое имя и даже скорее прозвище вместо имени. Мало кто из литовцев теперь будет знать это имя, а уж его значения конечно не укажет. Прозвище сына Великого Князя Литовского Ольгерда было Интриус (по литовски Intrius). Это древне-литовское название «кабана». В языческое время «кабаном» называли удачливых военачальников, наносивших своим противникам сильные поражения. Интриус, по русски Индрис, был окружен тевтонами с одной стороны и Польшей с другой. Тевтоны, немецкий орден, все время расширялись и пытались захватить литовско-белорусскую территорию, и Индрис наносил им постоянные крупные поражения, брал с пленных рыцарей крупные выкупы, за что немцы и прозвали его «Винигольд» т.е. загребающий золото. В конце концов тевтоны бросили на него такие огромные силы, что ему пришлось оставить свое княжество Трубечское и Полоцкое и он с сыновьями и войском пробился через немцев к своему брату Димитрию в Чернигов. Русское изображение литовского слова Интриус Индрисом поэтому в литовских записях и нельзя найти, а записывался Ваш предок как Интриус. При написании и переводе иностранных слов на русские, русские дьяки и монахи обычно писали русское слово по созвучию с иностранным».

После вышеупомянутого разъяснения и когда появились новые записи геральдики, можно было считать личность Индриса точно установленной. Однако надо было найти доказательства, подтверждающие точность свидетельства проф. Вольдемараса и прежде всего выяснить, каким же образом по записям в русских книгах (русская история) князем Трубечска и Полоцка записан не Индрис, а Андрей, действительно сын Вел. Князя Литовского Ольгерда.

Выяснение совпадения имени Андрея с именем Индриса

По данным русской истории (Костомаров, Карамзин и др.) при перечислении сыновей Великого Князя Ольгерда князем Трубечска и Полоцка отмечен князь Андрей, а по словам проф. Вольдемараса и по многим другим данным это был Индрис, сын Вел. Князя Литовского Ольгерда. В чем же дело? Ведь Интриус не Андрей. Тут снова приходится обратиться к фонетике. По литовски Андрей пишется «Andrius», а когда литовцы произносят это слово, оно очень созвучно слову «Intrius», и иностранец тонкости различия в произношении этих двух литовских слов не может услышать. Русские монахи и дьяки, изобразившие слово Интриус Индрисом, делали перевод на русский, когда язычество было близко и перевод был сделан на несуществующее имя в христианстве. Когда же в русских летописях перечислялись имена всех сыновей Ольгерда было уже время далекое от язычества и переводчики искали для слова Интриус (Индрис по первым переводчикам) подходящего христианского имени. Они нашли таковое в литовском слове Андриус и перевели по созвучию христианского имени на литовском языке «Андриус» Андреем. Таким образом сначала литовское прозвище Интриус одни переводчики называли Индрисом, а через несколько веков другие переводчики того же Интриуса называли Андреем.

Странность геральдической записи о въезде Индриса в Чернигов

В первой записи, по мнению автора, имеются две странности.

Первая странность это неясность записи. Приходит в Чернигов особа высокого происхождения с большим войском и кроме записи странного имени и будто бы прихода из Германии — никаких сведений об этой высокой особе нет. Из какой части Германии Индрис прибыл неизвестно, какое он имел имущество, благодаря которому содержал такое, по тому времени, большое войско, ни слова. Какой он и его войско были национальности — ничего. Вся запись только о прибытии, голая регистрация и только. Записано только то, что было в Чернигове.

Вторая странность — необыкновенный почет при приеме Черниговским князем, а затем несметные земельные имущества — подарок Вел. Князя, а почему это — тоже ни слова.

На первый вопрос можно ответить следующим предположением. Такая запись могла быть сделана по желанию прибывшего лица и значит по распоряжению князя Черниговского Дмитрия Ольгердовича, чтобы от кого-то скрыть местонахождение прибывшего лица, т.к. русское имя «Индрис» не могло быть за границей известно. Почему это было нужно, можно объяснить семейными отношениями в семье Вел. Князя Ольгерда. Старший сын Ольгерда, Ягайло, по польски Ягелло, будущий польский король, смолоду стремился, женившись на польской королеве Ядвиге, сделаться польским королем. Польки этого также желали, но ставили условием присоединение Литвы к Польше. Все литовские князья, как и братья Ягайлы, так и его родной дядя Жмудский Князь Кейстут, брат Ольгерда, были против этого плана. Поэтому Ягайло враждовал со всеми ими. Доказательством, как он был опасен, служит его расправа с родным дядей Кейстутом и его сыном Витовтом. Как только после смерти отца Вел. Князя Ольгерда, Ягайло стал Великим Князем Литовским, он заманил в ловушку Кейстута, пригласив его на охоту, и приказал его удавить (проф. Платонов), а Витовта посадил в тюрьму и там долго его держал. Весьма вероятно, что из боязни Ягайло, Индрис сам пожелал сделать запись о его въезде в Чернигов так неясно, чтобы брат Ягайло не знал где он.

Вторая странность записи это необыкновенно пышный прием и в Чернигове и у Вел. Князя Михаила Тверского. Даже его сыновья, почти мальчики, садятся в боярской думе князя Дмитрия Ольгердовича боярами, сам Индрис получает несметные вотчины от Вел. Князя Тверского Михаила Александровича и место в Тверской боярской думе. По семейным преданиям он занимает место по правую руку Вел. Князя и бояре не протестуют. В чем же дело? Вел. Князь Тверской имел сестру, как он, происхождения от Рюрика. Эта сестра была женою Вел. Князя Литовского Ольгерда и матерью как Дмитрия Ольгердовича, так и Индриса. Совершенно ясно, что и почет и необыкновенные подарки объясняются родством. Индрис прибыл сначала к брату, а потом к родному дяде. По владельческим документам Толстых, они получили в наслед-

ство от Индриса чуть ли не весь будущий Осташковский уезд Тверской губернии и огромные земли в будущей Новгородской губернии. Сам Индрис построил себе на берегу Селигера, озера из которого вытекает Волга, дом в 120 комнат, с тронным залом. Часть развалин этого дома и имения, как родового, выкупил троюродный брат автора от сенатора Н. лет за десять до первой мировой войны. Это был сын Сергея Ивановича Толстого, бывшего Товарищем Министра Внутренних Дел при Императоре Александре III, полковник Кавалергардского полка Петр Сергеевич Толстой, скончавшийся в Киеве во время мировой войны. Итак, и почет при приеме Индриса и подарки объясняются родством. Индрис прибыл в Чернигов к брату, а в Тверь к дяде.



Теперь следует указать почему правнук Индриса Андрей Харитонович получил фамилию «Толстой». Оказывается, что монахи или дьяки, подавшие совет Великому Князю Василию Васильевичу, по прозванию Темному, дать эту фамилию Андрею Харитоновичу, правнуку Индриса, имели весьма доброе намерение дать фамилию, которая была бы тесно связана и происходила бы от имени «Индрис».

Здесь дело в следующем. Соседями Литовско-Белорусского Княжества Трубечского и Полоцкого кроме тевтонов были поляки. Зная значение литовского имени князя Интриус — кабан, поляки и перевели это имя на польский язык. По польски «кабан» называется «Дзик» и поэтому кроме имени «Индрис» или «Интриус» князь носил также имя «Дзик». Так как ученые времени Василия Темного т.е. монахи или дьяки по видимому знали это второе имя Индриса, но уже лично не могли знать кто он был, и руководясь первой геральдической записью о прибытии в Чернигов Индриса из Германии, решили, что «Дзик» немецкое слово Dick и для связи фамилии с именем Индриса предложили Вел. Князю Василию дать правнуку Индриса имя Толстой, как происходящего от второго имени Индриса. При этом следует указать, что в те времена указание на толщину обозначалось словом толстой, а не толстый. В простонародии и в начале XIX-го столетия обозначение толщины выражалось еще словом «толстой». Введенные в заблуж-

дение о якобы приходе Индриса из Германии, переводчики перевели немецкое слово Dick вместо польского «Дзик». Таким образом ясно, что фамилия Толстых в действительности должна была бы быть «Кабанов», а не Толстой. Происхождение фамилии «Толстой» этим также выясняется.

Борис Толстой

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Г. В. ВЕРНАДСКИЙ

12 июня скончался выдающийся русско-американский ученый Г. В. Вернадский, бывший поистине патриархом русской историографии в США.

Г. В. Вернадский родился 20 августа 1887 года в Петербурге, но свои детские и юношеские годы он провел в Москве, где жили его родители (отец его Владимир Иванович Вернадский был профессором Московского университета, впоследствии академиком, известным ученым в области минералогии и биохимии).

Весной 1905 г. Г. Вернадский окончил московскую 5-ую гимназию и осенью этого года поступил на историко-филологический факультет Московского ун-та, но в бурную осень 1905 года занятий в университете фактически не было, и Г. В. уехал в Германию, где слушал лекции в Берлинском и Фрейбургском университетах. Осенью 1906 г. он возвратился в Россию, в Московский университет, который окончил в 1910 году. Его ученая карьера началась в С.-Петербургском ун-те. В 1911 г. Вернадские переехали в Петербург.

В 1913 г. Г. В. выдержал магистерские экзамены и получил звание приват-доцента по кафедре русской истории, после чего читал лекции и вел «семинарии» на историко-филологическом факультете и одновременно готовил свою магистерскую диссертацию: «Русское масонство в царствование Екатерины 2». Она была опубликована весной 1917 года, а в октябре этого года, после публичной защиты диссертации, Г. В. получил степень магистра русской истории.

Пройдя, таким образом, через два столичных университета, Г. В. Вернадский воспользовался лекциями, советами и руковод-

Этот некролог Г. В. Вернадского был напечатан С. Г. Пушкаревым сразу после кончины Г. В. в «Нов. Русском Слове». РЕД.

ством самых выдающихся русских историков того времени — и «московской школы», во главе с В. О. Ключевским, и «петербургской школы», во главе с С. Ф. Платоновым.

Бурная и жестокая эпоха революции и гражданской войны заставила Г. В. Вернадского и его жену Нину Владимировну, верную спутницу его жизни (скончавшуюся в октябре 1971 г.), покинуть столицу и передвинуться к «перифериям». В 1918–1920 г.г. Г. В. был профессором русской истории сначала в ново-открытом университете в Перми, а потом в Таврическом университете в Симферополе. В сентябре 1920 г. Г. В., оставаясь профессором университета, занял, по назначению ген. Врангеля, должность начальника отдела печати.

После «крымской эвакуации», в ноябре 1920 года, Вернадские около года прожили в Афинах, где Г. В. усиленно занимался изучением источников и литературы по истории Византии, а в начале 1922 года они переехали в Прагу, где, по приглашению чешского правительства, собралось много русских профессоров, преподавателей и студентов. В Праге Г. В. был профессором истории русского права на русском юридическом факультете. Здесь он подготовил и издал «Очерк истории права русского государства XVIII–XIX в.в.» (1924), затем — специальное исследование о составленном Новосильцевым, по поручению Александра I, проекте конституции для России: «Государственная уставная грамота Российской Империи 1820 года» (1925); вскоре это исследование было издано по-французски.

В Праге Г. В. близко сошелся с знаменитым археологом и историком византийского и древне-русского искусства Н. П. Кондаковым и после его смерти (в 1925 г.) принимал деятельное участие в работе т. наз. «Кондаковского института».

В пражский период своей жизни Г. В. Вернадский общался с основоположниками т. наз. «евразийского» движения; он не принимал никакого участия в извилистой политике евразийских «вождей», но ему были близки их историко-философские взгляды, сводившиеся, вкратце, к тому, что Россия-Евразия не «самая отсталая страна Европы», долженствующая имитировать «передовые» страны Западной Европы, но есть мир своеобразной и самобытной культуры, конечно, воспринимающий влияния и с Востока и с Запада.

Ряд книг Г. В. Вернадского, вышедших в «евразийском

книгоиздательстве», содержит обзор истории «России-Евразии», ее политического и культурного развития. Таковы: «Начертание русской истории» (1927); «Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени» (1934); «Звенья русской культуры», ч. 1 (до половины XV в.); здесь автор выясняет влияния Византии и Востока в различных областях древне-русской жизни.

Летом 1927 года Г. В. Вернадский был приглашен Ейльским университетом на должность научного сотрудника по русской истории; в августе 1927 года Вернадские приехали в США и поселились в Нью Хэйвене, где и прожили до конца своей жизни.

Приехав в США, Г. В. погрузился в научную работу. В значительной степени благодаря его инициативе, трудам и заботам, библиотека Ейльского университета обогатилась множеством книг по русской истории и заняла в этом отношении одно из первых мест среди университетских библиотек США.

В 1946 г. Г. В. был назначен профессором русской истории Ейльского ун-та; в 1956 г. он формально оставил этот пост по предельному возрасту, но не порвал ни личных, ни научных, ни деловых связей с университетом (большинство книг, написанных им в США, вышло в издании Ейльского ун-та).

Как профессор Г. В. привлекал к себе студентов, серьезно интересующихся русской историей, не только своей исключительной эрудицией, но и столь же исключительной отзывчивостью и готовностью помочь советами и указаниями по всем вопросам, с которыми к нему обращались.

В американский период своей жизни Г. В. Вернадский подготовил и издал ряд ценных книг по русской истории.

Уже в 1929 г. вышел в свет его учебник («История России»), (привожу заглавия в русском переводе), который получил широкое распространение в университетах США, был переведен на несколько иностранных языков и потребовал несколько повторных изданий. Весьма ценная книга «Политическая и дипломатическая история России» вышла в 1936 г. В эти же годы вышло несколько монографий: «Ленин, красный диктатор» (1931); «Русская революция, 1917-1932» (1932); «Богдан, гетман Украины» (1941). В 1947 г. в книге «Средневековые русские законы» Г. В. дал английский перевод древних памятников русского права «Русской Правды» и Новгородской

и Псковской судных грамот. — В 1959 г. вышла книга Г. В. «Начало Руси».

И учебники, и монографии Г. В. Вернадского снабжены библиографическими и предметными указателями и могут служить надежными и удобными пособиями для тех, кто серьезно интересуется русской историей.

Находясь формально «в отставке», профессор Г. В. Вернадский неумоимо продолжал свою научную работу в области русской истории, буквально до последнего дня жизни.

Его главный научный труд — это 5-томная история России с древнейших времен до конца XVII века. В 1-ом томе «Древняя Русь» (1943) он описывает исторические судьбы Русской равнины от древнейших времен до конца IX века, основываясь на источниках славянских, византийских, латинских и восточных; 2-ой том, «Киевская Русь» (1948) описывает политическую, социально-экономическую и культурную жизнь русской земли в X-XIII вв.; в 3-ем томе, «Монголы и Россия» (1953) автор излагает историю монголо-татарского периода (XIII-XV вв.), когда Россия формально стала провинцией великой Монгольской империи; в 4-ом томе, «Россия на заре нового времени» (1959), заключается история Московского и Литовско-Русского государств в XV-XVI вв.; 5-ый том, «Московское царство, 1547-1682» (в 2-х частях, 1969), заключает эту серию. — В своей «монументальной» «Истории России» Г. В. Вернадский излагает не только политическую и социально-экономическую историю, но и историю духовной культуры каждой эпохи, снабжая каждый том подробной библиографией.

Кроме названных книг Г. В. опубликовал в разных научных журналах множество статей по русской истории на русском, французском и немецком языках. — За последние годы в «Новом Журнале» была напечатана серия статей Г. В., в которых он излагал свои воспоминания и описывал общественную и духовную жизнь эпохи, а в «Записках Русской Академической Группы в США» печатался его весьма ценный труд: «Черки по истории науки в России», труд над которым Г. В. работал до последнего дня своей жизни и который, к сожалению, остался незаконченным.

В течение последнего десятилетия Г. В. посвятил немало времени и труда (как «старший редактор») работе по подго-

товке группой русско-американских историков (включая автора этих строк) 3-томного собрания источников русской истории в английском переводе (изданного Ейльским издательством в 1972 г.); а перед тем он, как внимательный редактор и друг, усердно помогал составителю «Словаря русских исторических терминов» (С. Г. Пушкареву) в подготовке этого «трудоемкого» издания (изд. в 1970 г.).

В 1959 г. Колумбийский университет избрал Г. В. почетным доктором гуманитарных наук, а в 1964 г. вышел сборник статей по русской истории, который посвятили Г. В. Вернадскому его ученики. В предисловии к сборнику они высоко — и справедливо — оценивают роль и заслуги своего учителя на поприще разработки и преподавания науки русской истории в США. Благодаря исключительно широкой и глубокой эрудиции Г. В. Вернадского в области русской истории и его всегдашней готовности помочь указаниями и советами тем, кто занимается этим предметом, его дом в Нью Хэйвене стал, по выражению его учеников, «Меккой для всех изучающих русскую историю».



Мне трудно описать всю духовную красоту и силу ушедшего от нас Георгия Владимировича Вернадского. Он был верным сыном православной церкви, имел твердые моральные принципы и определенные политические убеждения (в России он примыкал к либерально-демократической «кадетской» партии, но не принимал участия в текущей политической борьбе), и в то же время он отличался широкой терпимостью к инакомыслящим и снисходительностью к человеческим слабостям и ошибкам. За долгое-долгое время нашей дружбы (начавшейся в Праге в 1922 году) я не помню, чтобы из уст или из-под пера его вышло какое-нибудь резкое или бранное слово по чьему-либо адресу, хотя он, конечно, с полным осуждением относился и к политическому тоталитаризму и к человеческой подлости. Сдержанный, спокойный и приветливый в личных отношениях, он всегда готов был помочь всем, чем мог, всякому, кто нуждался в его помощи. «Святая душа» сказал о нем протоиерей Павел Златковский в надгробном слове, и в данном случае это была не церковная риторика, а сущая правда.

С. Пушкарев

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

КАЗАЧЬЯ ПЕЧАТЬ В МАНЬЧЖУРИИ

ОПЫТ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ РОЗЫСКОВ

В начале 20-х годов, после поражения Белых армий в Сибири и на Дальнем Востоке, в бывшей полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги в Северной Маньчжурии сосредоточилось более двухсот тысяч бывших бойцов этих армий и беженцев. Постепенно эта масса рассосалась, расселившись в других местностях Китая или эмигрировав за океан.

В этом людском море, представлявшем собою все слои и национальности России, большой процент приходился на казачество всех войск от Урала до Уссурийского края. Забайкальские казаки численно являлись доминирующим элементом среди казаков других войск. Наибольшая часть забайкальцев осела в районе Трехречья (реки Ган, Дербул и Хаул) по правобережью р. Аргуни и на станциях и поселках вдоль западного участка Кит. Вост. ж.д. К сожалению, не сохранилось сведений об общей численности казачьего населения Маньчжурии по окончании гражданской войны. В моем распоряжении имеются сведения на 1939 год, когда в составе Союза казаков в Восточной Азии числилось 19 460 человек, считая мужчин, женщин и детей. В Харбине в 9-ти казачьих станицах было 2 453, в Хайларском казачьем отделе — 7 135, в Трехреченском районе — 7 010, по станциям Западной Линии (Харбин-Хинган) — 1178, и по станциям Восточной Линии (Харбин-Пограничная) — 1684.

В первые годы эмиграции появлялись отдельные статьи и очерки в газетах Харбина, где отмечались исторические события или участие казачьих войск в гражданской войне; или же освещались нужды и культурные запросы казачьего населения полосы отчуждения в Маньчжурии. Потом стали появляться отдельные страницы или вкладные листы в этих газетах, посвященные обычно годовым праздникам тех или иных войск. Следующим этапом было издание однодневных газет и таких же однодневных журналов-сборников, носивших двойной характер: общеказачий или войсковой. Издания первого типа издавались большей частью Союзом казаков, а издания второго типа — харбинскими станицами тех или иных войск. К этой же категории

примыкали «памятки» и юбилейные издания отдельных войск. И наконец отметим выход настоящих периодических изданий — газет и журналов.

Среди зарегистрированных материалов раннего периода находится обще-эмигрантский журнал *«Святая Русь»* (вестник), третий выпуск которого от 28 января 1924 г. посвящен «Доблестному казачеству». На 11-ти страницах помещены две статьи: «Слушай!» Н. Остроумова и «Письмо казакам генерала П. Н. Краснова от 6/19 ноября 1923г.»* Газета *«Русское слово»* в № 556 18 декабря 1927 г. отвела специальную страницу «Сибирскому казаку в день войскового праздника 6/19 декабря 1927 г.» Материалом страницы послужили статьи Е. П. Березовского, А. Грызова, А. Баженова и стихотворения А. Ачаира и Марианны Колосовой. 19 декабря 1930 г. в № 1441 был вкладной лист (2 страницы) с заголовком «День Сибирского казака». В 1933 году при №№ 2186 от 17 июня и 2193 от 25 июня пятая и шестая страницы даны как «Казачья страница». В № 2639 от 19 декабря 1934 г. на 3-й стр. были помещены статьи под общим заголовком «Праздник Сибирского казачьего войска». В № 2761 от 6 мая 1935 г. 5-я стр. была озаглавлена «День Святого Георгия Победоносца — Праздник трех казачьих войск» (оренбургцев, семиреченцев и иркутян).

Популярная в Харбине ежедневная газета *«Заря»* четыре года подряд на своих страницах отмечала годовой праздник Сибирского войска: в 1935 г. 5-я и 6-я стр. № 344-го 19 дек. вышли под заголовком «Сегодня праздник Сибирского казачьего войска»; в тот же день в 1936 г. (№ 344) 3-я стр. имела заголовок «Сегодня праздник славного Сибирского казачьего войска»; в № 343 1937 г. 3-я и 4-я стр. имели надпись «День Святителя Николая — Праздник Сибирских казаков»; в 1938 г. 2-я стр. в № 341 с передовой статьей полковника Березовского вышла под тем же заглавием.

Из других газет Харбина, отводивших свои страницы вопросам казачества, отметим *«Наш путь»*. В 1937 г. страница «Казачьи думы» была помещена в 14 выпусках с февраля по август включительно (№№ 48, 61, 75, 83, 105, 133, 147, 161, 174, 188, 200 и 217). В ежене-

* В издательстве Товарищества «Заря» в Харбине с 1928 г. выходил еженедельный иллюстрированный журнал *«Рубеж»*, где часто помещались статьи и фото-репортажи о жизни казачества. С августа 1934 г. Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской Империи (Харбин) издавало ежемесячный журнал *«Луч Азии»* (с 1944 г. выходил дважды в месяц). Он изобиловал материалами о казачестве и о жизни казаков в Маньчжурии в частности. Оба эти журнала прекратили свое существование с вступлением советской армии в Харбин в середине августа 1945 г.

дельной газете *«Голос эмигрантов»* № 51-83 от 17 дек. 1939 г. 13-ая и 14-ая страницы носили заглавие *«День Святителя Николая — Праздник Сибирских казаков»*; в 1940 г. девятая страница номера 52-136 от 28 декабря вышла под заглавием *«Праздник доблестных защитников Родины — Сибирских казаков»*. Оба эти выпуска начинались передовой статьей полковника Березовского. И наконец последней из зарегистрированных газет была японская газета на русском языке — *«Харбинское время»*, которая в № 342-3581 от 19 дек. 1941 г. отвела страницу под заглавием *«День Св. Николая — Праздник доблестных Сибиряков»*.

Однодневные газеты как и однодневные журналы-сборники, были очень популярны в Харбине. Они выходили по самым различным поводам и издавались разными организациями. Выходили они в Дни Русской Культуры, в Дни Русского Ребенка, выходили как средство изыскания материальной помощи для учебных заведений и в памятные исторические дни. Начало выпуску однодневных газет положило Войсковое Представительство Сибирского Казачьего Войска в Харбине. 19 дек. 1929 г. под редакцией Е. П. Березовского и А. Г. Грызова (отца) вышел в свет *«Сибирский казак»*. В тот же день в 1930 г. под редакцией тех же лиц вышел *«День Сибирского казака»*. В те же дни в 1931, 1932 и 1933 г.г. выходила газета *«Сибирский казак»*, в 1931 г. под ред. Березовского и Грызова, а в последующие годы под ред. Березовского. В хронологическом порядке вступления в издательскую деятельность привожу ниже сведения о других казачьих однодневных газетах. Амурская казачья станица в Харбине выпустила три №№ газ. *«Амурский казак»* 30 марта, 19 июня 1932 г. и 30 марта 1933 г. (6, 6 и 4 стр.) под ред. ген. Е. Г. Сычева. Забайкальская казачья станица в Харбине издала газ. *«Забайкальский казак»* 30 марта 1932 и 1933 г. Первый выпуск в виде приложения на 2-х стр. к газете *«Амурский казак»*, второй вышел самостоятельным изданием на 8 стр. под редакцией А. П. Бакшеева. 6 мая 1932 г. Кружок ревнителей истории Оренбургского казачьего войска в Харбине издал первый выпуск газеты *«Оренбургский казак»*. В тот же день (Св. Георгия Победоносца) в 1933, 1934 и 1935 гг. газета выходила под тем же названием; все выпуски были в 6 страниц и вышли под ред. С. И. Нестеренко. Последний выпуск *«Оренбургского казака»* вышел 6 мая 1939 г., под ред. полк. С. Ф. Старикова на 5 стр. в изд. Союза казаков в Харбине.

В том же 1932 г. начал свою издательскую деятельность Союз (Блок) Дальневосточных казачьих войск. 10 мая вышел первый выпуск газеты *«Дальневосточный казак»* на 4-х стр., без указания фамилии редактора. С перерывом в три года, 30 марта 1936 г. вышел второй выпуск под ред. А. Н. Лазарева на 10 стр. Следующие три выпуска выходили в тот же день в 1937, 1938 и 1939 г.г. И. И.

Почекунин редактировал газеты в 1937 и 1939 г.г., и Л. Л. Черных — в 1938.

В 1933 г. Бюро объединенных крестьянско-казацких групп в Харбине выпустило газету *«Голос крестьянина и казака»* 23 апреля на 6 страницах; редактор не указан. Последним в этой группе изданий стоит *«Казачий клич»*, однодневная газета Союза казаков на Дальнем Востоке (Издатель А. В. Зуев), вышедшая 26 сент. 1937 г. на 15 стр. при «авторе» А. Н. Лазареве. Тираж этих однодневок никогда не превышал двух тысяч экземпляров, но расходился немедленно, и было трудно достать газету через два-три месяца после выхода.

К категории собственно газет относится очень интересная и редкая казачья газета. Зародилась она вдали от Харбина, в Трехречьи, в поселке Драгоценка 15 сент. 1936 г. В течение 6 лет она печаталась на машинке и размножалась на mimeографе. Выходила она аккуратно раз в неделю и имела от 10 до 40 страниц текста, включавшего международные политические новости. С № 159 от 1 июня 1942 г. газета печаталась в одной из типографий в поселке при ст. Хайлар в 4 столбца, сохранив свой первоначальный размер. Газета эта называлась *«Казачья жизнь»* с лозунгом «Бог. Родина. Император. Ура казакам!». В некоторых выпусках отводилось до 6 стр. для «Странички для детей». Редактором газеты был В. Г. Сергеев, издателем вначале было «Отделение Бюро в Трехречьи», а в 1942 г. — «Трехреченское Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской Империи». Другая еженедельная местная газета была *«Захинганский голос»*, выходившая в Хайларе с 14 окт. 1941 г. в изд. газеты *«Казачья жизнь»*. Когда эти две газеты прекратили свое существование, указаний не обнаружено. По всей вероятности, они были закрыты, как все русские периодические издания в Маньчжурии, в авг. 1945 г. с приходом в Маньчжурию советской армии.

В издании журналов, журналов-сборников и однодневных журналов-памяток принимали участие объединения казаков, отдельные станицы и иные организации. Первым в этом разделе стоит журнал *«Вестник рабочего, крестьянина, казака»*. Из отчета Заграничного Исторического Русского архива в Праге видно, что им были получены полные комплекты за 1929-1931 г.г. Следующим журналом был *«Россия и Казачество»*, вначале выходившим ежемесячно, а затем со значительными перерывами. Первый выпуск вышел в сентябре 1933 г. и последний, десятый, в марте 1935 г. Редактировал его ген. Е. Г. Сычев, издателем первых 6 №№ был Восточный Казачий Союз, а последних четырех — К. И. Лаврентьев. Этот журнал имел 24-47 стр. В мае 1934 г. вышел № 1 *«Казачество в Азии»* под ред. П. С. Ковгана, издателем указан «Казачья станица — А. П. Грецев». Это был и последний выпуск.

Переходя к описанию однодневных журналов-сборников, считаю

необходимым отметить, что, по непонятным для меня причинам, японская цензура редко давала разрешение на постоянное название журнала, в силу чего одно и то же издание имело ряд различных названий, менявшихся по выпускам. Первым в данной категории журналов-сборников был журнал *«Дальневосточный казак»*, посвященный забайкальцам, амурцам и уссурийцам, имел он 30 стр. текста с иллюстрациями. Издан был Союзом казаков и бывших чинов Дальневосточных армий. Имени редактора не указано. Датирован 30 марта 1931 г. Все последующие выпуски издавались Союзом казаков. Они были большего формата, с числом страниц от 30 до 59, изобиловали иллюстрациями и отличались красочными обложками. Тираж их варьировался от 1060 до 1500 экз. После перерыва в три года вышел *«Казачий клич»* 29 апр. 1938 г. при «составителе» В. Л. Сергееве. 12 июня того же года вышел *«Зов казака»* при «составителе» Л. Л. Черных. 4 декабря того же года под редакцией К. С. Малых вышел *«Казачий клич»* и 31 дек. *«Атаманский клич»*. В 1939 г. при том же редакторе вышли *«Казачий набат»* 13 фев., опять *«Казачий клич»* 4 апр., *«Атаманский клич»* 8 мая и *«Казачий клич»* 8 авг. Под ред. Н. А. Юдина вышли два выпуска: *«Казачий клич»* 31 окт. и *«Атаманский клич»* 15 дек. Последний выпуск в 1939 г. был *«Казачий призыв»*, датированный 27 дек., под ред. М. Ф. Рюмкина. В 1940 г. вышло три журнала: *«Казачий путь»* 22 фев. под ред. С. Ф. Лапаева, *«Казачий клич»* 24 авг. под ред. М. Ф. Рюмкина, и *«Зарубежное казачество»* 18 нояб. под ред. М. К. Дарвина. На этом заканчивается список однодневных журналов-сборников, изданных Союзом казаков. Продолжателями этого журнала были Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской Империи (БРЭМ). 1 янв. 1941 г. БРЭМ в Хайларе издал *«Казачий клич»* в 30 стр., редактор не указан (можно полагать, Н. А. Юдин). 3 апр. вышел журнал *«Дальневосточное Казачество»* в Харбине, его редактором-издателем был Юдин; в журнале было 34 стр. 20 апр. БРЭМ в Хайларе издало *«Зарубежное Казачество»*, в котором было 30 стр. текста и 16 стр. без пагинации с приветствиями и объявлениями. Четвертым и последним известным автору журналом был снова *«Казачий клич»*, изданный БРЭМ'ом в Харбине 12 июня. Редактор в последних двух случаях не указан.

Вне этой серии стоит журнал *«Зарубежный казак»*, изд. БРЭМ'ом в Хайларе 22 сент. 1940 г., как независимое издание. Его редактировал Юдин, журнал имел 28 страниц текста. Кроме общеказачьих журналов-сборников, издавались также однодневные журналы отдельных казачьих станиц. Начало этому роду изданий положила Зарубежная станица Иркутского Казачьего войска в Харбине. Ею выпущено два сборника за №№ 1 и 2 *«Иркутский казак»* в дни Войскового праздника 6 мая в 1934 и 1935 г.г. Первый выпуск редактировал В. И. Гаськов, а второй — К. С. Малых; журнал имел 72

и 60 стр. с иллюстрациями, при тираже в 1000 экземпляров. Войсковое Представительство Сибирского казачьего войска в Харбине издало объемистый труд «*Сибирский казак*», в виде юбилейного сборника ко дню 350-летия в двух выпусках под редакцией Е. П. Березовского. Первый выпуск вышел 19 дек. 1934 г. в день Войскового праздника; имел 307 стр. с иллюстр. в тексте и на 24 отдельных листах меловой бумаги. Второй выпуск вышел также в день праздника 19 дек. 1941 г., на 342 стр. с иллюстр. в тексте и на 17 отдельных листах. Каждый из выпусков разделялся на две части: в первой помещен материал исторического и биографического характера, а во второй печатались рассказы и стихотворения писателей и поэтов-сибиряков.

Оренбургская Дальневосточная станица имени атамана Дутова в Харбине издала два журнала-сборника в дни Войскового праздника 6 мая в 1937 и 1938 г.г. Журнал «*Оренбургский казак*» имел 96 и 64 стр. при тираже в 500 экз. Редактором первого номера был С. И. Нестеренко, а второго — А. В. Зуев. Оренбургская и Иркутская казачьи станицы в 1940 г. издали совместно журнал «*Казачий клич*» (оренбуржцев, иркутян и семиреков) под ред. С. Ф. Лапаева. Журнал вышел 26 апреля и имел 40 страниц. В том же году 28 марта вышел журнал-сборник «*Дальневосточное Казачество*», изданный совместно тремя станицами: Забайкальской, Амурской и Уссурийской (в Харбине) под редакцией И. С. Кутузова на 42 стр. Енисейская Зарубежная казачья станица в Харбине издала сборник «*Енисейские казаки, 1618-1938*» — Памятка Енисейского казачьего войска, под ред. П. Н. Князева, в 170 стр. Дата выпуска указана 28 ноября 1940 г. 6 апр. 1942 г. с посвящением Амурскому, Забайкальскому и Уссурийскому казачьим войскам вышел однодневный журнал «*Желтый лампас*», изданный Представительством Союза казаков в Восточной Азии под ред. М. Н. Гордеева. Журнал имел 46 стр. текста с иллюстр. и 18 стр. без пагинации с приветствиями и объявлениями.

Этот список будет неполным, если не упомянуть «*Сборник, посвященный 120-летию со дня основания 1-го Сибирского Императора Александра 1-го кадетского корпуса в г. Омске*», изданный в Харбине бывшими питомцами этого военно-учебного заведения, в котором подавляющее число кадетов были сыновья казаков. В сборник вошли статьи и воспоминания казаков, окончивших этот корпус. Богато иллюстрированный сборник вышел в 1934 г. Он имел 67 стр. текста.

В заключение следует указать на культурно-просветительную деятельность казачьей элиты Харбина, целью которой было широкое ознакомление русской эмигрантской общественности и молодого казачьего поколения Маньчжурии с историей и ролью казачества в жизни России и в эмиграции. Давно уже зародилась мысль об устройстве общеказачьей выставки, но к осуществлению ее было приступлено лишь в 1937 г. когда Представительство (тогда называлось

Штабом) Союза казаков в Восточной Азии циркулярным письмом от 15 дек. оповестило все казачьи организации на Дальнем Востоке и в Европе о своем плане устройства выставки под лозунгом «Казачи за границей», а 30 дек. была создана Комиссия по устройству этой выставки. В процессе работы Комиссии выяснилась желательность раздела выставки на пять главных отделов: Зарубежные издания, Гражданская война, Великая война, Мирное время и Разное, не вошедшее в первые четыре отдела. Конечным результатом Комиссия считала составление и опубликование библиографического указателя на основании выставленных экспонатов. Однако недостаток средств у Представительства и гитлеровская экспансия в Европе задержали осуществление выставки на долгий срок, хотя приток экспонатов для выставки не прекращался. Лишь в 1942 г. Представительство при посредстве войскового старшины М. Н. Гордеева изыскало необходимую сумму денег, и в 1943 г. была открыта «Казачья выставка в Харбине». Комитет этой выставки выпустил два издания: *«Путеводитель по выставке»* (автор не знаком с этим изданием) и *«Вестник казачьей выставки в Харбине 1943 г.»*, в подзаголовке — «Сборник статей о казаках и казачестве под ред. Е. П. Березовского», издание Представительства Союза казаков в Восточной Азии, Харбин, 1943. «Вестник» содержал 23 статьи на 202 стр., с вкладной картой казачьих войск Российской Империи.

Подводя итог казачьей печати в Маньчжурии надо сказать, что он не может считаться полным, так как совершенно «белым пятном» остается весь 1944 г. и семь месяцев 1945 г. За эти годы нет ни одного харбинского издания в книгохранилищах и архивах Соединенных Штатов. Поэтому прошу осведомленных лиц сообщить мне сведения не только о казачьих изданиях, но и о всех газетах и журналах, выходивших в Харбине и на линии бывшей Кит. Вост. ж. д. за это время.

А. С. Лукашкин

Музей Русской Культуры, Сан-Франциско, Калифорния

УРОК НА БУДУЩЕЕ

Письмо в редакцию

Глубокоуважаемый Роман Борисович,

Статья Ж. Медведева «Конец 'инакомыслия' или урок на будущее?», опубликованная в 112 кн. «Н. Ж.», по-моему, нуждается в некоторых пояснениях. Справка Л. Рара о собрании группы членов НТС, на котором было решено «работать над созданием собственного издательства», далека от полноты уже по одному тому, что Л. Рар летом 1945 г. не имел никакого отношения к зарождению «Посева».

Окончательное решение об издании еженедельника было принято осенью 1945 г. Первый номер «Посева» на ротаторе вышел 11 ноября 1945 г. и открывался он моей краткой передовой статьей. Это было в лагере Менхегоф, в Германии.

В то время между администрацией лагеря, возглавлявшейся К. В. Болдыревым, а также некоторыми видными членами НТС, и директором 505-го Отдела УНРРА г-ном Бальмелем были крайне натянутые отношения. Я стоял в стороне от этих дрязг, и мне, при моем знании французского языка, удалось убедить г. Бальмеля в пользе издания еженедельника «Посев». Я возглавлял редакцию «Посева» до 31 октября 1946 г., когда решением американских оккупационных властей было приостановлено издание всех газет Дн-Пи.

В конце января 1947 г. капитан Мак-Кун из Civil Affairs Division заверил меня, что вскоре мне будет выдана лицензия на издание «Посева». Но случилось иное: 15 марта 1947 г. в лагерь пришло известие, что лицензия выписана не на мое имя, а на имя члена редакции А. Парфенова-Светова. Это вызвало удивление многих (Г. С. Околовича, Н. Ф. Шица и др.), ибо все знали, что Светов уезжает в Марокко. В разговоре со мной, глава отдела пропаганды и печати НТС Е. Романов сказал, что, вероятно, «произошла ошибка». Эта «ошибка» и до сих пор остается для меня «тайной».

Трехмесячное пребывание А. Светова на посту редактора ознаменовалось разгоном редакции и подбором другого состава. А с отъездом Светова «ошибки» не произошло: с 1947 по 1958 год *бесменным редактором стал Е. Романов*. И за это время в НТС произошло много странных метаморфоз. «Посев» при Е. Романове не стал *органом НТС*. На одном из первых т.н. «расширенных редакционных совещаний» еженедельника Е. Романов провозгласил независимость «Посева» от НТС. «Посев» выходил с такими подзаголовками: «Орган Российского Революционного движения» (1955-58 г.г.), «Голос Российского Революционного движения» с ссылкой «издается при активном участии НТС» (1959-61 г.г.), «Еженедельник общественно-политической мысли» (1964-65 г.г.), «Ежемесячный общественно-политический журнал» (1970).

Итак, «Посев» стоит над НТС, а не наоборот. Кстати, благодаря деятельности Е. Романова в 1952-55 г.г. в НТС возник острый внутренний кризис, поведший к уходу большого числа членов из НТС.

Шумные акции, проводившиеся по инициативе Е. Романова, сводились преимущественно к «расширенным редакционным совещаниям» «Посева», на которых произносились речи и читались доклады более чем спорного характера о положении в СССР и «нарастании революционной ситуации в стране».

«Посев» хвастался своими успехами: — сотни тысяч последователей в СССР и даже «ревком на Балтфлоте» вырос на его стра-

нищах. Цитирую 2 6 (613) «Посева» от 9 февраля 1958 г.: «Создание Ревкома НТС в Балтийском торговом флоте, его широкая, но неуловимая для агентов КГБ-МВД революционная работа вызвала в верхах партии беспокойство. Балтийский флот признан 'неблагополучным' по части революционных настроений».

По словам Ж. Медведева, «издательство 'Посев' стало в последнее время слишком паразитировать на советском самиздате». Замысел жить за счет самиздата выявился давно. В № 31 журнала «Грани» за июль-сентябрь 1956 г. было опубликовано «Обращение российского антикоммунистического издательства 'Посев' к деятелям литературы, искусства и науки поработанной России». В этом странном обращении «Посев» призывал подсоветских авторов посылать ему рукописи, с гарантией, что «ни одна рукопись не попадет в чужие руки».

Вскоре в руках «Посева» оказался самиздатский «Феникс». Затем Тарсис начал из СССР открыто пересылать свои писания «Посеву». Сияявский и Даниэль, пославшие свои произведения польскому журналу «Культура», были привлечены к суду и жестоко наказаны за свои «антисоветские» деяния. Акуратное появление на страницах «Посева» такого крамольного «подпольного» издания, как «Хроника текущих событий», мне представляется вполне закономерным следствием обращения 1956 г.

Из всего случившегося с «инакомыслящими» за последнее время, по-моему, действительно нужно вывести урок на будущее.

Б. Прянишников

БИБЛИОГРАФИЯ

БОРИС ЗАЙЦЕВ. *Избранное*. Изд. «Путь жизни», Нью-Йорк, 1973.

Издательство «Путь жизни» перепечатадо эти вещи Бориса Зайцева из давно затерянных и почти недоступных читателю изданий. Об этой нововышедшей книге хочется говорить, — ибо она хороша, нужна, украшает нашу жизнь и помогает в пути; и вместе с тем, говорить о ней трудно, потому что она — не нечто единое, цельное: она, как трехстворчатый складень, из трех не связанных между собою частей: Сергей Радонежский — Афон — Валаам. Вторая и третья части книги — это зарисовки впечатлений паломника-художника, как сам себя называет Зайцев. Первая же принадлежит к иному литературному жанру: это опыт небольшой агно-монографии.

Спокойно, просто и истово ведет Зайцев рассказ о Преподобном.

Повесть светла, как бессолнечный, но очень светлый северный день. Если кое-где расцвечена красками, то не резкими: светлая киноварь, оливковая зелень, белила, как на иных суздальских иконах. И как на иконе проступает в повествовании Зайцева лик Сергия — трудника, радонежского святителя-плотника, идущего суровым, «одинокочистым путем». «Север духа», «тихое делание», «сдержанная, кристально-разреженная прохладная атмосфера» вокруг святого — так живописует Сергия Зайцев. «В нем — смолистость севера России, чистый, крепкий и здоровый ее дух». Ничего экстатического, никакой экзальтации нет в облике и в натуре Сергия. Ясность, спокойствие, скромность, присущая высокой святости. Вот он совершил чудо — воскресил ребенка — и уверяет потрясенного отца: «Напрасно ты так и смутился, — отрок вовсе и не умирал...» Вот он служит литургию с двумя сослужащими; вдруг два монаха, молившиеся в храме, видят в алтаре кого-то четвертого в блистающих одеждах. «На Малом выходе этот четвертый шел за Сергием и так снял, что Исаакий (монах) должен был прикрыть глаза рукой». Исаакий спрашивает у стоящего рядом с ним Макария — кто бы это такой? Макарий говорит, — должно-быть, это кто-то из приехавших с князем Владимиром Андреевичем. Но князь стоит тут же и говорит, — никого не привозил. (Привожу это подробно, так как очень уж все это живое). После службы монахи стали допытываться у Преподобного. Он отнекивался, но потом признал: ну да, правда, ему сослужит ангел. «Только никому не говорите, пока я жив».

Таков Сергий. Игумен, глава обители — огородничает, шьет подряски и обувь, варит кутью на братию, плотничает. «В благоухании его святости, — говорит Зайцев, — так явствен аромат сосновой стружки». Приходит к нему запросто за хлебом огромный медведь, — «зверь, рекомый аркуда, еже скажется медведь», — говорит летопись. И он же, Сергий, — примиритель междоусобищающих князей, создатель монастырей; это он, Сергий, благословляющий Димитрия Донского перед Куликовым полем, он, посылающий на смертную битву рыцарей-монахов Пересвета и Ослябю.

В конце своего очерка Зайцев говорит: «Ушли князья, татары и монахи, осквернены мощи; а облик жив, и так же светит, учит и ведет».

А дальше в книге Зайцева — «Афон» и «Валаам». Тут иное, иной темп. Кажется, что живой, реальный Зайцев, «памятник и художник», тащит вас за руку, тянет за собой вперед и вверх, по крутым тропкам святых гор, — скорее, скорее! 17 дней срока ему дано побыть на Афоне, того меньше — на Валааме, а он хочет, — и вы это ясно чувствуете, — показать вам, передать вам, вложить в вас, читателя, все то, что он сам увидел и воспринял. Здесь живо-

писец-пейзажист дает себе волю: «Стекло-зеленые воды Архипелага», «раннее утреннее золото», «лимонно-серебряная вода», «лиловая влажная мгла...» Но так же зорко рисует Зайцев и то внутреннее, что удалось ему воспринять на Афоне: наблюдает сам, и жадно слушает рассказы монахов, — о том, например, как во времена св. Афанасия было запрещено говорить «холодные слова — мое, твое».

Хочется привести целиком абзац, где автор как бы обнимает взглядом весь Афон:

«Горы, ветры, леса, кое-где виноградники и оливки, уединенные монастыри с монахами, уединенный звон колоколов, кукушки в лесах, орлы над вершинами, ласточки, стаями отдыхающие по пути на север, серны и кабаны, молчание, тишина, море вокруг и Господь надо всем — вот это и есть Афон».

И третий очерк — о Валааме. На этом очерке — не назойливая, но ясно проступающая тень грусти, тень тоски по русской северной природе. Зайцев приехал на Валаам эмигрантом, приехал из Парижа, оторванный с болью, «с мясом» от России. Ясно чувствуешь, читая очерк, как все на Валааме — «вековой бор», «озерцо», «березка», «Богородицына травка» — больно (и сладко, конечно) берedit у Зайцева эту незажившую рану разлуки с родиной.

Очерк тоже прекрасен. Опять иной: если, говоря языком художников, очерк об Афоне — это густое «масло», то очерк о Валааме — акварель: «Солнце слегка выступило, бледно и робко; посребрилась вода...» Иногда же, когда писатель особенно бережно любит, — видишь у него пастельные тона: «Сквозь эти сосны Ладога голубела зеркально, почти нежно, вдали мягкие синие холмы... Настолько светел пейзаж, что не верилось, что мы так далеко на севере».

О Валааме мне лично читалось с особой любовью и волнением. Мне не привелось там бывать, но много, много рассказов о нем я слышала от друзей-прибалтийцев; живые ниточки этих рассказов, вероятно, и приблизили, притянули меня к Валааму. Много слышала я живых изустных рассказов об удивительном Валаамском старце — схиигумене Иоанне, а потом читала и перечитывала замечательные его письма к своим духовным чадам. Письма эти — чудо по своей простоте и непосредственности, по полному отсутствию нетерпимости и косности, по живой и действенной силе внутреннего духовного делания.

Вот от таких живых рассказов (и писем старца) и стал живым для меня Валаам. И так же точно — от живого, взволнованного Зайцевского повествования о нем — святой северный остров станет живым и близким для многих и многих.

Ольга Анстей

АЛЕКСАНДР ДОНАТ. *Неопалимая купина*. Еврейские сюжеты в русской поэзии. Изд. Нью Йоркского У-та. Нью Йорк. 1973 (480 стр.).

Александр Донат, составитель этой интересной антологии проделал очень большую работу. Из всей русской поэзии он выбрал стихи на еврейские сюжеты. Это, вероятно, потребовало громадного, кропотливого и длительного труда. В книге около 350 стихотворений 154 авторов. Но этот труд составителя, я думаю, будет вполне вознагражден, ибо всякий читатель (не только еврейский) найдет в этой антологии — от Симеона Полоцкого до Ольги Анстей — много интересного.

Я думаю, что А. Донат правильно расположил весь этот громадный материал в хронологическом порядке, разделив антологию на три части: 1) 17-19 век (от Симеона Полоцкого до Пушкина), 2) 19 век (от Пушкина до К. Р. и К. Фофанова и 3) двадцатый век (от символистов до наших дней). Каждому из этих отделов А. Донат предпосылает содержательное предисловие о положении евреев в России в эпоху, к которой относятся выбранные им стихи. Таким образом эта книга как бы дает и сжатый комментарий к «истории еврейства» в России.

Тут и цитаты из проекта «Русской Правды» Пестеля, предлагавшего либо руссифицировать евреев, либо выселить их из страны, создав особое «еврейское государство». Тут и антисемитизм Победоносцева. И наоборот — защита полноправия евреев русской демократической и христианской интеллигенцией.

С некоторыми беглыми замечаниями составителя как-то трудно бывает согласиться — ну, например, хотя бы об антисемитизме у Пушкина или у Некрасова. Впрочем, автор антологии вовсе не рубит с плеча, он дает историко-социальные объяснения к некоторым стихам и к тем или другим сюжетам стихов, указывая, например, на полную отчужденность еврейского населения от общей жизни России времен Пушкина и на незнание — в те времена — русскими евреев. Комментируя некоторые стихи Некрасова, как напр. «Современники», «Еврейская мелодия», составитель пишет, что за евреями-банкирами Некрасов не разглядел «бедных евреев-ремесленников, тружеников, всю непроглядную нищету и забитость еврейских гетто-городов и местечек». Думаю, что Некрасов и не мог разглядеть, ибо просто напросто никогда не видел этой еврейской жизни и быта, да наверное и не знал о ней.

Но вместе с тем А. Донат дает — и правильно делает — как откровенно антисемитские стихотворные выступления Буренина, так и многие филосемитские стихи. Отмечу «Жуткую колыбельную» Федора Сологуба, навеянную известным процессом Бейлиса (вернее — убийством Верой Чеберяк русского мальчика Андрея Ющинского).

БИБЛИОГРАФИЯ

Конечно, ко всей этой антологии нельзя подходить с точки зрения чисто литературной, ибо среди сотен стихотворений на еврейские сюжеты есть и поэтически изумительные (Пушкин, Лермонтова, Вячеслава Иванова, Зинаиды Гиппиус, Цветаевой, Ахматовой и др.), но есть и совершенно беспомощные второстепенных и даже третьестепенных поэтов (Бажанова, Шатрова, Фараонова, Пальмина, Аверкиева, Федорова, Льдова и др.). Поэтому задачу издания антологии можно скорее определить, как литературно-общественную.

Но как бы ее ни определять, всякий читатель должен поблагодарить А. Доната за эту антологию, ибо Донат *впервые* в русской литературе осуществил такую работу. И работу — очень интересную.

В заключение мне хочется привести из антологии А. Доната чудесное стихотворение Зинаиды Гиппиус, озаглавленное — «Он»:

Он принял скорбь земной дороги,
Он первый, Он один,
Склонясь, умыл усталым ноги,
Слуга — и Господин.
Он с ними плакал, — Повелитель
И суши и морей...
Он царь и брат нам, и Учитель,
И Он — еврей.

Роман Гуль

ИГОРЬ ЧИШНОВ, «Композиция». Изд-во «Рифма», Париж, 1973.

Что такое поэзия? Все определения поэзии, начиная с «поэзия есть Бог в святых местах земли», «лучшие слова в лучшем порядке» (спрашивается какие это лучшие слова и какой такой лучший порядок?) или «то, что совершенно и не требует исправления» — но, как это говорил еще Бердяев — совершенных произведений искусства вообще не существует, в том числе и совершенных стихов. Всякое, даже высочайшее произведение искусства — трагично именно своим несовершенством.

Поэзию так же невозможно определить и объяснить, что она такое, как и электричество. Но до чего же труднее и безрадостнее жилось бы без электричества и поэзии! Поэзия необходима многим людям. В ней они находят утешение, она оправдывает бессмысленное существование и мирит с горем. Поэзия открывает людям второй, недоступный им план. Она — ключ не только к пониманию мира, но и ключ к познанию самого себя. Поэты — полу-пророки, прозревающие будущее и открывающие людям новые горизонты, помогающие им слышать и видеть то, что обыкновенным смертным без помощи поэзии

недоступно. Поэт ведет читателей за собой в запредельный мир будущего.

Да, но все это в теории. На практике же получается совсем не то. Поэзия в наши дни не играет роли, предназначенной ей судьбой. За последние 60 лет техника невероятно шагнула вперед, даже не шагнула, а сделала умопомрачительный скачок, достигла фантастических результатов, отказалась от многого, чему еще свято верили не так давно, сделала реальностью самые фантастические мечты. Все изменилось. Изменился, конечно, и современный человек.

Все это так. И все же очень многие современники продолжают думать как их деды и все еще досматривают сон прошлого и не хотят или не могут проснуться. Новые открытия и ломка прежнего, происходящая на их глазах, только возмущают их. Все новшества в области искусства они считают кривлянием, паясничеством и шарлатанством.

Таковы многие наши современники. В поэзии они ищут только привычное, старое, что когда-то в далекой молодости, в дореволюционной России, волновало и покоряло сердца. Они хотят, чтобы стихи не будили их, а, напротив, помогали им спать, убавкивая их сознание сладкозвучностью и красотой, точнее красовитостью, чтобы пели на излюбленные, привычные темы. Ну, конечно, и о смерти, и о любви, настроив свои лиры на высокий лад.

И многие эмигрантские поэты совершенно бескорыстно, в погоне за читательской любовью, стараются исполнить этот «социальный заказ». Иногда, читая новый сборник эмигрантского поэта, задаешь себе вопрос: — Когда это написано? Полвека тому назад или теперь? Современность, все события, научные открытия последних лет, будто не коснулись поэтов, прошли для них незаметными и никак не изменили их самосознания.

«Тут все тоже, тоже, как и прежде», как говорила Ахматова. Мир изменился, космонавты летают на луну и изучают ее, но для поэтов луна то же прежнее романтическое, таинственное светило, без которого в стихах не обойтись.

Чиннов один из редких современных поэтов не только понимающих то, что сейчас происходит и умеющий правильно понять окружающее, но как бы уже предчувствующий будущее. Иногда он способен даже ошеломить неподготовленного читателя своими прозрениями и открывающимися ему перспективами. Иногда кажется, что на его стихи нужно смотреть как бы из будущего, переключаться в атмосферу двухтысячного года. Восприятие красоты и уродства, абсурда и истины, фантастического и реального у него часто меняются местами, претворяясь и переходя одно в другое в удивительных, но убедительнейших сочетаниях.

О формальном мастерстве Игоря Чиннова говорили уже многие,

писавшие о его поэзии, в том числе и я, поэтому не стану повторяться. Все же отмечу изумительную точность и редкое совпадение смыслового и звукового начал в его стихах. Каждое слово не только на своем месте, но и каждый звук дополняет один другой. Основа поэзии И. Чиннова глубоко трагична. Он стремится победить отчаяние и ощущение безвыходности юмором, но и юмор его тоже преобразование отчаяния. Абсурд, порой переходящий в гротеск, является у него основанием не только жизни, но и смерти. Он далеко не безбожник-атеист, вопросы духовного порядка постоянно присутствуют (как бы подводное течение) в самых его саркастических строфах. В его стихи всегда следует вчитаться и вдуматься, для того, чтобы понять по настоящему скрытую в них тягу духовного преобразования мира и человека. Игорь Чиннов по заслугам считается представителем нашей передовой поэзии, так всесторонне и полно даже самые талантливые современные поэты-модернисты ее не воплощали.

Чиннов очень удачно назвал свою книгу «Композиция». Это действительно стройная и законченная композиция. Поэтому я и не беру из нее цитат, отдельных строк и строф, или даже целые стихотворения. Выхваченные из общей композиции, они потеряли бы многое в своей прелести. Они поддерживают, дополняют друг друга и сливаются в общую высоко трагическую гармонию. «Композицию» следует читать самому, непременно вслух, почти нараспев, как читали стихи древние греки и римляне.

Ирина Одоевцева

РОМАН ГУЛЬ. *Одвуконь.* Советская и эмигрантская литература. Изд-во «Мост». Нью Йорк, 1973 (323 стр.)

«Одвуконь» Романа Гуля — собрание статей и заметок, главным образом, на литературные и (в нескольких случаях) публицистические темы. Статьи собраны воедино из «Нового Журнала», «Нового Русского Слова», «Новой Русской Книги» и «Современных записок»; статьи эти были напечатаны в разное время: большинство — в «Н. Ж.» (с 1954 по 1972 год.) — Две статьи: о В. Ходасевиче и А. Белом относятся к 1923-му году. — «Одвуконь» — старое русское слово, обозначающее: ехать верхом с подручной или запасной лошастью. Автор говорит, что русская литература после большевистского переворота пошла одвуконь: — на свободном Западе и под большевистской цензурой в России. На Западе создалась большая русская литература. «Подручная, запасная лошадь» оказалась очень нужна. «Без нее — останься вся русская литература в большевистском рабстве — большевики бы её всю задушили», говорит Р. Гуль.

Литература эмиграции, несомненно, войдет в историю русской

литературы 20 века (будем надеяться только 20-го!), как её значительная часть, как голос свободного русского человека. Увы, часто этот голос вопиет в пустыне! Но в этой, несомненно, большой литературе мало представлена по сравнению с поэзией и прозой литературная критика, именно, критика объективная, пытающаяся помочь читателю разобраться в литературном явлении, а не утверждающая личные вкусы критика.

И вот, в этом отношении надо особенно приветствовать издание критических статей и рецензий Романа Гуля о литературе и подсоветской, и эмигрантской — этот сборник может смело претендовать на место «пособия» по изучению русской литературы, пошедшей «одвуконь».

В сборнике статьи помещены без разделения на подсоветскую и эмигрантскую литературы — как бы символом того, что русская литература всё-же едина; выделены в особый отдел рецензии, но, опять-таки без разделения. Это не только не мешает, но даже помогает читателю действием контрастирования тем. Книга построена и написана так, что читается с живейшим интересом — по причине излагаемой ниже.

Есть различные подходы в критике: указанный выше субъективный, исторический, общественно-политический и психологический — тот самый, который нужен читателю или для ознакомления с неизвестным ему ещё произведением, или для понимания уже знакомого произведения: прочитанную вещь надо еще понять. У Платона есть выражение: «Красота — трудная вещь»!

Главное достоинство Романа Гуля, как критика, — его объективность. Это особенно заметно в статьях о Солженицыне. В эмигрантской критике по отношению к Солженицыну установились или инстинкт, не позволяющий критических замечаний вообще, или (правда, редкое) обесценивающее отношение. В статье об «Августе 14-ого», открывающей сборник, Р. Гуль отмечает, с одной стороны, языковые, литературные и исторические недочёты произведения, с другой — показывает истинную великость и замысла, и выполнения, как изображения русского жертвенного долготерпения в образе само о Самсонова. И вот заключение: «Он (читатель) выносит заражение какой-то сыновней, кровной, религиозной любовью к переживающей свой апокалипсис России».

В статье об «Одном дне Ивана Денисовича» Р. Гуль отмечает полный контраст этой повести соцреализму — «советской прозе», и находит, что эта повесть восходит в своих корнях к ремизовской школе. И еще глубже: — Иван Денисович — тот же Платон Каратаев. И понятно, почему Хрущев «дозволил»: «Но Шухов и так, на голое брюхо работает. Сорок пять лет тянут без подкорма, потянут

и дальше, — вероятно так, думает «сын народа», первый секретарь и председатель совета министров».

В статье о романе «Доктор Живаго» Б. Пастернака Р. Гуль показывает, что утверждение советской печати о политической подкладке «шумихи вокруг романа» неверно: страшна для партии не «политическая подкладка», а идея духовного освобождения человека и само мировоззрение Пастернака, награжденного, по словам Ахматовой, «каким-то вечным детством». Р. Гуль замечает, что этот роман с *немотивированностью действий* и не должен отражать реальности: это *роман-проповедь*, в котором «все действующие лица у Пастернака только как широкая сеть проводов, чтобы пустить по ним ток *своей* мысли, *своей* философии, *своей* интуиции». И Р. Гуль находит, что Пастернак, глядящий на мир, как «удивлённый ребёнок», возвращением русской литературы из немоты литературы советской в лоно литературы мировой совершает одну из своих побед над советским удушением духа.

Система и организация удушения литературы в СССР освещены в очерке о писателе и цензуре: уже написанное проверяется Главлитом, литературный заказ идет через Отдел Пропаганды при ЦК партии (сюда же принадлежит и Союз Советских Писателей). А самая возможность уклонения души писателя от приказов свыше пресекается Литконтролем КГБ. Над всем же стоит еще «1-ая инстанция» — очередной «сам» — Сталин, Хрущев, Брежнев. Результат — говорит Солженицын в своей Нобелевской речи: «...Целая национальная литература осталась там, погребенной...» — погребенной «...в лагерях Гулага...».

А вот секрет писательского преуспевания — очерк об Илье Эренбурге. Эренбург определен, как писатель *без лица*, написавший даже свою «Оттепель» по заказу свыше. К очеркам о советской части литературы примыкают по содержанию отзывы о двух книгах Светланы Аллилуевой. Уход Светланы симптоматичен для настроений молодого поколения *там*.

Оценки творчества Солженицына, Пастернака, Аллилуевой, даже Эренбурга — это оценки больших сдвигов вовне. Оценка прозы Марины Цветаевой и Андрея Белого — это переход к анализу писателя изнутри. И в этом смысле интересно самое противопоставление этих двух разновременных очерков в отчетной книге. У Цветаевой — «ваяние слова», слова, воспринимаемого в его *святости*. Вот характеристика Цветаевой: — приводятся сначала слова её самой: «...Искусство свято...», и далее Гуль говорит: «В отличие от Белого из прозы Цветаевой никогда не уходила её природность, её почва. В ней всегда зоркость глаза, порой ослепительная образность и всегда острый смысл». И эта образность и весомость слова в Цветаевой сочетались по Гулю с каким-то внутренним мифотворчеством

— желанием «того, чего нет на свете» (знаменитая фраза З. Гиппиус). Р. Гуль считает, что у настоящего художника такое желание и есть подлинная основа творчества. Цветаева поверила в созданный ею миф — возвращение в Россию и, очнувшись, — погибла.

Если Цветаева — мастер, владеющий словом, то Белый находится сам во власти своих словесных звукосочетаний, он — жертва слова. Слово у него обращается в звукопись, словесную невнятицу, в полную оторванность от жизни с её эросом. В этом Гуль видит и основу, и трагедию творчества Андрея Белого.

Творчество Георгия Иванова вызывало весьма противоречивые оценки, в особенности стихи, написанные в эмиграции, в последние годы жизни поэта. В статье о Георгии Иванове объяснен путь этого поэта от эстетизма до «весьма ядовитых цветов зла» (как выразился один из собеседников автора статьи). Р. Гуль считает Г. Иванова, одного из значительнейших поэтов русского зарубежья, своеобразным (и единственным русским) поэтом-экзистенциалистом.

Столь же меток и проникновенен анализ, данный Р. Гулем творчеству другого поэта эмиграции — Владислава Ходасевича. Источник замкнутости творчества этого поэта Гуль находит в его остром нарциссизме.

Среди публицистических статей надо упомянуть ответ Р. Гуля Наталии Белинковой и статью об идее свободы в русском народе.

Необходимая краткость рецензии не позволяет остановиться на собрании журнальных рецензий Романа Гуля на выходившие книги. Эти рецензии содержат тот же психологический анализ по существу, как и упомянутые выше статьи. Читателю, заинтересованному в русской литературе, собрание статей и рецензий Романа Гуля будет ценным подарком.

Борис Нарциссов

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО читают на родине. Сборник статей и отзывов. ИМКА-Пресс. Париж, 1973 (139 стр.).

Цель сборника, как говорится в предисловии, «показать лицо русского читающего общества в России». Сборник состоит из девяти статей, кратких отзывов и приложения, в котором представлены отклики на статьи об «Августе Четырнадцатого», появившиеся в официальной советской печати. Ложно было бы думать, что все авторы сборника поют осанну Солженицыну и, безоговорочно принимая роман, не видят в нем никаких недостатков. Как и за рубежом, самиздатовские критики подошли к роману с разных сторон и зачастую их мнения диаметрально противоположны. Ознакомившись со всем сборником, содержание его можно в некоторой мере свести к общим основным наблюдениям. Авторы сосредотачивают свое внимание на

трех аспектах романа Солженицына: «Август Четырнадцатого» с точки зрения исторического романа, с точки зрения языка и с точки зрения убедительности характеристики тех или иных героев романа.

Пожалуй в лучшей статье сборника («Молва и споры») А. Веретенников подчеркивает огромное значение «Августа Четырнадцатого» как исторического романа. Он пишет, что современное поколение в России отличается «параличом исторического чувства». Делая экскурс в психологию «'нового человека', заботливо выпестованного за последние полвека в тени колючей проволоки», Веретенников видит заслугу Солженицына именно в том, что он «один из немногих исцелившихся (от исторического беспамятства), берет на себя непомерную тяжесть борьбы со временем и возвращает нам частицу ушедшей России, пусть даже греховной, но подлинной и живой». В другой стилистически и тематически великолепно обработанной статье («Русская история перед большим судом») Л. О. считает, что «Солженицын показывает нам историю нового времени как историю сугубо политическую» и что он «не столько изображает статистику избранного момента, сколько исследует именно ход и движение ее колеса». Л. О. убедительно доказывает, что «историческая эпопея Солженицына построена очень отлично от исторической эпопеи Толстого, и совсем отлично от исторического романа Пастернака». Заслуживает внимания и третья серьезная, быть может немного суховатая, статья И. Тропинина «'Август Четырнадцатого' и русское историческое самосознание». В ней Тропинин проводит мысль, вычитывая ее из текста романа, что русская интеллигенция была «глубоко антиисторична», что понятие «народа» было ей чуждо и что термин этот употреблялся исключительно революционно настроенными элементами. Автор статьи задает вопрос: «внутри ли русской истории сознание или дела человека — или вне ее». И в дальнейшем Тропинин без трудности перечисляет всех тех больших и малых героев, которые «внутри» и которые «вне» ее. Тропинин видит громадную заслугу Солженицына в том, что в «Августе Четырнадцатого» он «дал начало возрождению исторического сознания».

Почти каждый автор сборника хоть слегка касается языка «Августа Четырнадцатого», а некоторые уделяют ему первостепенное внимание. Так, например, М. Залоец называет язык романа условно «церковно-русским», «языком молитвы». Солженицын отбрасывает затасканный официальный и постоянно меняющийся улично-разговорный языки, потому что, как утверждает Залоец, «ему нужен язык-строитель: почвенный, плотный»; он хочет вернуть языку «внутренние органические начала, так неоглядно промотанные в эпоху 'бури и натиска' литературного авангарда». Залоец однако отмечает, что не всегда «высокий строй речи» Солженицына удачен, порой он даже ущербен. И если, например, он прекрасно звучит в сцене отпевания

Кабанова, то скрежесет диссонансом, когда Солженицын описывает прическу Ободовского, которую «необременительно покрывал ежик».

Разбирая отдельных героев романа, большинство критиков сходится в том, что Солженицыну особенно удался портрет Самсонова, отличающегося «парадоксальностью живого человека, не лежащего в схему, меняющегося от главы к главе, имеющего свои счеты с Богом и миром», как пишет К. Головин в статье «Слишком лобовая переключка с современностью». Другие персонажи, считает Головин, упрощены — они делятся прямо на плохих и хороших.

Две статьи из рукописного журнала «Вечер», А. Скуратова «Писатель Солженицын и профессор Серебряков» и Александра Тулыгина «Закройщик истории и нобелевский лауреат А. И. Солженицын», враждебны Солженицыну, но настолько сумбурны, поверхностны, а местами прямо таки неумны, что о них и говорить не стоит.

В кратких отзывах преобладает элемент импрессионистический, личный. Это в огромном большинстве хвалебные отклики с безграничной любовью к Солженицыну и его роману. Вот наугад, для примера: «'Август 1914' — книга распрямляющая, освобождающая, открывающая глаза. Благословенная книга!».

В общем, сборник «'Август Четырнадцатого' читают на родине» животрепещущее документальное свидетельство умонастроений сегодняшней интеллигентской России.

Оберлин, Охайо.

Сергей Крыжицкий

ИВАН ШУВАЛОВ. *Хлеб и молоко*. «Сета». Париж, 1973. (158 стр.)

Насколько мне известно граф Иван Павлович Шувалов, если и писал, то ничего еще не публиковал. Его книга *Хлеб и молоко* — автобиографическая (по форме) повесть, но это только отчасти мемуары. Шувалов, прежде всего, стремится опять увидеть мир детскими глазами и это ему, несомненно, удастся. Герой — застенчивый, рассеянный мальчик-фантазер. Он весь во власти своих мечтаний и затей. Его тешат причудливые словесные ассоциации: Так, подпрыгивая на диване, он восклицал: Пушкин-лягушкин, Гоголь-моголь. Взрослые этих отроческих шуток не понимали, не одобряли, за исключением старшего брата-офицера, сказавшего ему: Ты будешь писателем... Такой «вздор несли» Ростовы в Отрадном и, в особенности, Володя Ладнев в *Подлипках* Константина Леонтьева, не знаю читал ли Шувалов этот замечательный роман: леонтьевская проза до сих пор мало кому известна.

Дух казался мальчику мужем души! Вообще, в повести немало

забавного: к негодованию законоучителя он назвал 1-е апреля двенадцатым праздником. Изумительно его детское «видение» снега: Клочки неба, ангельский пух... Сугробы — снежные идола. Щекочит звуки зимы, радостный смешливый снег... А из саней слышатся громкие деловые голоса. У многих детей — та же свежесть еще неиспорченного книгами и логикой художественного восприятия, позднее безвозвратно утрачиваемая. А Шувалову, действительно, удалось опять увидеть мир детскими глазами. Его гимны снегу и многое другое (напр. описание цирка) запоминаются. Хорошо и «заледенелые бороды водопадов». Шувалова можно было бы назвать поэтом снега и он напоминает, что русские полжизни проводят в снегу. Это наше снеголюбие у многих писателей, поэтов, хотя бы у Пушкина, непонятно Западу. Так, для В. Х. Одена снег был — символ смерти.

Во что только маленький герой ни играл, напр., в собственные похороны, но в смерть, как все дети, не верил. Он — играющий человек, но опять-таки, как многие дети, и мыслитель... Перед сном он думает: мир сотворен Богом, я сотворен Богом, кто сотворил Бога? А великим постом он чистосердечно кается «в полуосвещенной пещере собора».

Уже в плане мемуарном многие оценят его рассказ об играх с наследником в Павловске. Алексей Николаевич расшалился и на крутом повороте нарочно соскользнул с саней. Это могло иметь роковые последствия для него... «Мы любили его», пишет Шувалов, «он был ласковый, всегда обнимал и целовал на прощание(...) и сердился, когда мы говорили ему Ваше Высочество: меня зовут Алексей».

Бегство из России Шувалов воспринял, как позор и гордился старшим братом, который остался воевать на севере. Его потрясло известие о гибели брата: он не только сочувственно понимал детские фантазии автора, но был и высшим авторитетом. «Самое скверное это вранье и трусость», — говорил брат.

После бегства из России, семья Шуваловых провела некоторое время в Афинах, где Шувалов, уже юноша, учился в католическом лицее. Ему хочется «жить как все, а не во сне воспоминаний». Это здоровое чувство и едва ли очень типичное для эмигрантов. Всё же, через много лет он вспомнил о жизни на родине, но без эмигрантской ностальгии и с беспощадностью к самому себе. Воссозданный им мир — не *старый мир*, а вечно-новый, детский. Надеемся, И. П. Шувалов продолжит свою повесть, которую можно было бы назвать *Хлеб и вино...*

Юрий Иваск

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. *Неизданные письма*. Под общей редакцией проф. Г. и Н. Струве. ИМКА-Пресс. Париж, 1972 (653 стр.).

В очерке *У старого Пимена* (включенном в этот сборник) Марина Цветаева писала «...всё миф... миф предвосхитил и раз навсегда изваял всё». Ее мифы непохожи на творимые легенды символистов. Их мифотворчество — *предумышленное* — слишком явно подтверждающее зыбкие книжные «чаяния» Диониса или Софии. Мифы Цветаевой — *непредумышленные* и она их не творила, а угадывала, напр., в роковом доме у Старого Пимена, где жил дед ее сводного брата — старый историк Д. И. Иловайский, реакционер, фанатик православия, которого она не считала христианином: «Если был у Д. И. Бог — то ветхозаветный... Бог с засухой из ноздрей, и с саранчой за пазухой, — тот Бог, не наш» и, заметим, здесь с ней несомненно согласилась бы Н. Я. Мандельштам, тоже отвращавшаяся от тиранического Иеговы. Иловайский изображен Цветаевой и языческим Хроносом, пожирающим своих детей. Он же предстал ей в виде Харона, перевозящего «через Лету одного за другим — всех своих смертных детей». Все дети старого Иловайского были красивые, нежные и рано умирали от чахотки: первая жена отца М. И. (проф. И. В. Цветаева) и совсем юные Сережа и Надя. Херувим Сережа был первой, еще детской любовью М. И.: «от его голоса сразу хотелось плакать. Плакать и каяться, что я такая злая, грубая...». Этот очерк-миф (один из самых потрясающих мифов Цветаевой), нужно сопоставить с воспоминаниями В. Н. Муромцевой-Бунинной о тех же Иловайских (в этом же сборнике). В. Н. писала о них живо, художественно метко, но это только «сырой материал», как и замечательные воспоминания сестры М. И. — Анастасии (изд. в 1971 г.), тоже уделившей немало внимания Иловайским, и она еще в большей мере, чем В. Н. обладает художественным даром. Но их мемуары — полуобработанный мрамор: и есть прелесть в этой необработанности! А у Марины Цветаевой, как она утверждает — не она сама, а миф «изваял» жестоковыйного и несчастного в своем одиночестве Иловайского и его обреченных семейным роком детей. Здесь всё закончено — не только мифологические герои, но и московский их быт.

Угадывание мифов в жизни — очень существенно для Марины Цветаевой. Мифичен и ее Борис Пастернак: но его миф «изваян» в обращенных к нему стихах: Не суждено, чтобы сильный с сильным / Соединились бы в мире сём... А ее письма к нему эмоционально беспомощные и читать их иногда неловко. Она угадывала в нем «*явление природы*», но едва ли понимала его — человека. То же самое можно сказать и о письмах к Ахматовой, «изваянной» мифом в цикле ей посвященном (ты солнце и выси мне застишь).

Неожиданны в этом сборнике три письма М. И. к В. В. Розанову (1914 г.). Она называет его гениальным писателем и подробно рассказывает ему о смерти отца, которого Розанов знал. В последнем письме она пишет В. В.: «Обращаюсь к Вам, как к папе». Но явно в отца он ей не годился, и она, вероятно, сама это хорошо поняла позднее.

Больше всего писем в сборнике обращено к первой жене известного эсера Виктора Чернова — О. Е. Колбасиной (38, 1924-25 г.г.) и к В. Н. Муромцевой-Буниной (48, 1927-37 г.г.). Обе эти старшие подруги М. И. — героинями для нее не были и никакой миф их не «изваял». Но они ее любили, ободряли и она это очень ценила. Писала она им о своем нищенском быте, острой нужде и о том, что за мытьем посуды она не может найти нужный эпитет... Многие признания в этих письмах очень существенные: «Вера, сколько во мне неизрасходованного негодования и как я жалею, что оно со мной уйдет в гроб. Но и любви тоже: благодарности — восхищения — коленопоклонения — но с занесенной — головой».

Назовем и некоторых других адресатов М. И. Это Л. Л. Кобылинский (Эллис), друг Андрея Белого, суматошный адепт московского символизма. Всего только 3 письма к сестре Анастасии. Другие корреспонденты: Б. Сосинский, вернувшийся в Россию; художник Б. О. Пастернак, отец поэта; Д. А. Шаховской, с ним М. И. переписывалась в связи с сотрудничеством в брюссельском журнале *Благонамеренный*. Одно письмо адресовано Г. В. Адамовичу. Как известно, они в литературе враждовали, но незадолго до смерти Г. В. посвятил ей стихи: Поговорить бы хоть теперь, Марина! (и они помещены в сборнике). Еще немногие письма, написанные уже после возвращения в Россию, и одно из них обращено к сосланной дочери — Але. В книгу не включены письма, уже напечатанные в *Новой Мире*, к Брюсову, Горькому, Тэффи, Ходасевичу и др. Не помещены и ранее изданные письма к чешской подруге Анне Тесковой, к Р. Б. Гулю, Г. П. Федотову, Анатолию Штейгеру, ко мне и др. Ценны подробные примечания ко всем текстам Г. П. Струве.

В конце книги — приложения. Это отрывки из записной книжки М. И. 1939-40 г.г., об отъезде из Парижа, о прибытии в Москву, где она (о чем мы прежде не знали) встретилась с мужем и с дочерью. Оба они были вскоре арестованы. Аля вернулась после долгой ссылки, а С. Я. Эфрон был расстрелян. Сколько отчаяния в ее последних записях: «Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна... но, Господи, как я мала, как я ничего не могу!» В день своего рождения — 26-го сент. ст. стилиа 1940 г., когда ей исполнилось 48 лет, она пишет: «Моя трудность... в невозможности моей задачи, например, словами (смыслами) сказать звук. Чтобы в ушах осталось одно

а-а-а». А у нас нет слов — не для уже ненужного ей сочувствия, а для негодования и проклятия ее гонителям.

Последнее приложение: «стенограмма членов комиссии увековечения памяти М. Цветаевой» — которая ничего не увековечила. Но правдоподобен отчет со слов лиц, знавших Марину Ивановну в Елабуге. В этом городишке ей предложили работу судомойки в столовой... Она съездила в Чистополь, к поэту Асееву и вскоре вернулась подавленная. Через 10 дней после приезда в Елабугу М. И. повесилась — 31 авг. 1941 г. На похоронах никто не присутствовал, даже сын Мур. Могила не сохранилась, и через много лет — вернувшаяся из ссылки сестра — Анастасия поставила ей крест в «примерном месте» кладбища.

Юрий Иваск

ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР. *Нездешний дом*. Четвертая книга стихов. 1973. 54 стр.

Отчётная книга издана с предельной простотой. И вот именно эта простота характерна для её содержания. По привычке рецензента прошел через весь сборник записью основных тем каждого стихотворения. Тем оказалось немного. Темы эти органически связаны: прежде всего, тема глубоко личная — об ушедшем спутнике жизни и о доме, выстроенном своими руками, тема воспоминаний, тема отрешения, смерти и в то же время какого-то глубинного единения с чужой, другой жизнью: даже с жизнью старого кота, «разбойника, бродяги», битого «за проказы, за отвагу», но которому «ласки хочется хоть малость». В теме природы есть что-то от Бунина, но эта тема смягчена, без бунинского твёрдого резца: «чаша синего залива» — «глоток лазурного вина». Отмечу образ: «Праздника большой подсолнух / Под окном расцвёл». Это одновременно образ большой насыщенности и большой простоты, характеризующий основной тон поэта.

Заглавие — «Нездешний дом». Через сборник проходит красной нитью тема дома, своего, обретенного после бездомных скитаний, к порогу которого «руки донесли, как утешенье в горький день унылый» и скитанья, и книги, и «всё, что позвало и остановило». Дом этот опустел — но возникает тема «дома нездешнего» и встречи в нём, когда будет отыскан «по звёздам путь туда».

Тема смерти звучит не отчаяньем, а просветленностью и отрешением. «Лицо — послушная глина», на него кладут свои отпечатки то любовь, то злоба. Но «когда года и потери / Источат, изрежут лик, / — Смерть — мастер среди подмастерьев / Положит последний штрих». Затронута и тема поэзии, она переплетается с темой во-

споминаний: жизнь заполняли стихи, «сотни раз повторённые, сотни...» «И от тех обречённых стихов / От Пандориных страшных даров, / Сердцем странствовали впустую.../

Тема воспоминаний не может не перейти в тему детства и России. От России не уйти — даже в изгнании. И то кажется поэту, что «...Россия томит, бунтуя, / Беспольным наследьем своим», когда «...впустую / Жизнь влачится, как серый дым», когда «Захлестнуло чужое море, / Обезличил чужой язык», то чувствует поэт, что и в изгнании есть своя миссия: «Россия... / Мы — не ветви твои сухие, / Мы — дички для заморских стран».

Как наиболее сильное стихотворение в сборнике, хочется отметить небольшое стихотворение без привычных катренов и обычных рифм, которые заменяются гармоничным совпадением символов и образов:

Окно выходило в чужие сады,
Закаты же были, как вечность ничьи —
Распахнуты Богом для всех.

И думал стоявший в окне человек:
«Увянут сады, но останется крест
Оконных тоскующих рам

И крест на могиле твоей и моей,
Как память страдания, как вечная дверь
В распахнутый Богом закат.

Борис Нарциссов

ALEKSIS RANNIT. *Kaljud (Кальюд). «Скалы»*. 1969. Иллюстрации Арно Вихалемма. 58 стр. Издание Кооператива Эстонских Писателей. Лунд, Швеция.

ALEKSIS RANNIT. *Sõrmus (Сырмус). «Кольцо»*. 1972. Шестой сборник стихов. Визуэтки Леон-Баттиста Альберти. 44 стр. Издание Кооператива Эстонских Писателей, Лунд, Швеция.

Алексис Раннит родился в Эстонии в 1914 году; в настоящее время проживает в США и работает при Иейльском университете. Им выпущены следующие сборники стихов (названия даны в русском переводе): «В оконном переплете», 1937, “Via Dolorosa” 1940 (в переводах Игоря Северянина соответственно в 1938 и 1940 годах), «Рукопожатие», 1945, «Замкнутой дали», 1956 и «Сухое сияние», 1963.

Отдельные стихотворения из двух последних сборников переве-

дены Лидией Алексеевой и Георгием Адамовичем и печатались в «Новом Журнале». На немецком языке (в переводе Антса Ораса) в 1960 году вышли стихи, посвященные выдающемуся эстонскому граверу Эдуарду Вийральту (1898-1954). Под заглавием «Сухое сияние» готовятся к печати избранные стихи в английском переводе американского поэта Хенри Лаймана. Тридцать шесть переводов Лаймана уже напечатано в томах 24 и 25 интернациональной антологии «Нью Дирекшенс», Нью-Йорк.

Анна Ахматова написала А. Ранниту в 1962 году: «Благодарю Вас за Ваши стихи. У меня осталось от них впечатление *высокого* строя души и *необычайно* бережного отношения к слову».

Отдельные стихотворения и сборники А. Раннита — это листья и ветви. Они отходят от ствола — поэтической личности. Но есть и корень — те основные мотивы, которые строят и питают личность.

Корень индивидуального начала поэзии Алексиса Раннита заключается в радости творчества, именно — словесного творчества. Раннит — прежде всего мыслитель. Но мысль требует слова для своего выражения. Четкую мысль нельзя выразить случайным, неподходящим словом. И вот первенство мысли требует мастерства слова.

Алексис Раннит, несомненно, один из немногих мастеров слова. В этом отношении характерен его сборник «Сухое сияние» — в нем помещены поэтические этюды о мастерах искусства и мысли. В полном согласии со строгостью чистой мысли Раннит в своих стилистических приемах зеркальной симметрии является аскетическим классиком; в то же время он выражает свою мысль в символах: он одновременно и классик, и «романтический» символист.

Символическое название сборника «Сухое сияние» выясняется в интервью, данном автором сборника эстонскому писателю Артуру Адсону: Адсон полагал, что слово «сухое» должно означать неземное, нематериальное, в противоположность «влажному», живому, т.е., что автор имел в виду возвышенный свет, а не конкретную реальность. Раннит согласился с этим толкованием, добавив, что термин «сухой» взят из живописи, в которой существует техника «сухой кисти» для достижения большей прозрачности и воздушности картины, своего рода аскетизм средства выражения. В полном согласии с этим стоит символ алмаза в этом сборнике: «...Верь только тому молнийно-холодному, без теней свету, который прошел сквозь бриллиант...» И далее, в стихотворении «Адамант» молчаливый повелитель поэта говорит: «...Мне дали прозвище: Алмаз — символ, пламя, аскеза...»

Лучше всего строй поэзии Раннита выражен им в стихотворении «Полигимния» из отчетного сборника «Кольцо».

Метрическое нововведение Раннита состоит в соблюдении кван-

титативной фонетической стороны эстонского произношения. Эта метрика несколько напоминает древнегреческую и латинскую с долгими гласными, но в эстонском языке существуют две степени долгих гласных и разницы в интенсивности согласных. Поэтому для мелодики эстонского стиха необходимо иметь в виду эти долготы, что заметно и в народном эпосе.

Особенно богаты у Раннита гармонизирования стиха по доминирующим звукам и аллитерации; последние характерны для северных народных эпосов. Ввиду малого количества рифм в эстонском языке Раннит пользуется производными рифмами, производимыми только от одной опорной согласной, как, например, русские полурифмы: *рок* — *ров*. Если в русском языке такие полурифмы не звучат, то, при общей сильной мелодичности языка, они уместны в эстонском. Иногда Раннит вообще отказывается от рифм.

Поясним вышесказанное на примере:

Скоро усталость меня обоймет, / нежнее, чем тяжесть потери.

Сборник «Скалы» (из которого взят этот пример) содержит цикл из двенадцати стихотворений, которые как бы переходят одно в другое своими конечными и начальными образами: «...стремлюсь в чародейство». — «Кто-то меня от чар избавляет...» Весь цикл — рассказ в символах об одиночестве поэта перед приходом вдохновения — Музы — или, может-быть, любви, и о неизбежном расставании и уходе Музы, когда «стихи остаются лежать ничком на земле...»

Сборник «Кольцо» состоит также из двенадцати стихотворений. Краткость этого сборника может быть объяснена тем, что содержание каждого стихотворения чрезвычайно насыщено: каждую строфу (или очень характерные для Раннита двустушия) можно рассматривать, как часть цикла, в который обращается всё стихотворение.

Если «Сухое сияние» говорит о мастерах, если «Скалы» символизируют состояние творчества, то «Кольцо» дает образцы самого творчества — на тему о творчестве. «Полигимния», открывающая сборник, подчеркивает стремление Раннита передать по возможности сжато, до аскетизма формы, радость — и ответственность — творчества. Стихотворения «Кольца» — это природа, воспоминания, посвящения — так или иначе связанные с темой самой поэзии. Особенно характерен «Янтарь». Это — одновременно и картина свежей погоды на балтийских берегах, где в волнах иногда играет пламенем янтарь, и глубокая символика: поэт должна захлестнуть «ночь Божьей волны», чтобы он мог в глубине вспыхнуть янтарем. Одно стихотворение автор посвящает родному языку — его близости к природе и быту страны, выразительности и музыкальности. В «Клёнах», прекрасно переведенных Лидией Алексеевой («Н. Ж.» № 87), образы охваченных осенней расцветкой клёнов, горящих последней

вспышкой борьбы за жизнь, перекликаются с образами предчувствия неизбежного «рассвета нежной зимы». Кольцо как бы замыкается стихотворением «Отрешение»: завершение есть одновременно и отрешение. Это символизируется и ритмом — тем же, что и в «Полигимнии».

Характеристика творчества Алексиса Раннита с кратким разбором двух его последних сборников показывает, какое огромное значение этот поэт придает форме: «...В искусстве высоко / лишь отречение. Лишь меры строгость. / Разграничение. Отсев. Закон». Это — из «Стихов Вийральту», в переводе Л. Алексеевой.

Остается еще упомянуть поэтов, которые, по словам самого Раннита, оказали на него существенное влияние: это, в первую очередь, французские поэты — Бодлэр, Верлэн и, в особенности, Поль Валери. Из русских поэтов Серебряного Века Раннит чувствует себя близким Вячеславу Иванову с его классически-сублимированной формой.

Борис Нарциссов

ILMA RAKUŠA. *Studien zum Motiv der Einsamkeit in der russischen Literatur*. Slavica Helvetica (1971). Zuerich. (197 S.)

В своей книге Ильма Ракуша исходит из работы Г. Кёльбеля по типологии одиночества. Но Кёльбель дает только общую схему, которую Ракуша расширила и обогатила всеми нюансами солитарии в русской литературе за два века. С ней нельзя не согласиться, что одно из лучших определений одиночества и смежного с ним уединения дает В. В. Розанов. Для него одиночество нечто отрицательное — обременяющее душу, а уединение — явление положительное, оно способствует духовной концентрации. Оба эти понятия, по существу, очень разные, хотя иногда и совпадающие в живой и литературной речи. Отмечу: существенно и их стилистическое различие. *Ореол* уединения — книжный, поэтический, а одиночество скорее обыкновенное слово, без *ореола* (как мог бы сказать Щерба).

Интересны составленные Ракушей списки близких этим словам понятий. Так, характерные «субституты» уединения — тишина, пустыня, покой, а одиночества — скорбь, печаль, тоска. Но это только отдельные примеры. Ее списки куда полнее.

Ракуша анализирует мотивы одиночества и уединения в творчестве не только известных, но и полузабытых писателей и поэтов. Так, она включила в книгу разбор стихов элегически-уединенного поэта пушкинской эпохи Теплякова. Отчасти взята и советская литература (Булгаков, Солженицын, Аржак). Ракуша хорошо знает, что тема ее неисчерпаема. Все же, ей удалось проанализировать

многие существенные аспекты одиночества и уединения. Некоторые главы очень уж короткие (о Гоголе или Толстом). Едва ли удачна глава о символистах: они непонятны без учета их основных установок. У Бальмонта или Брюсова преобладает эстетика, а у Блока или Вячеслава Иванова — метафизика. Одна из наиболее продуманных глав посвящена Розанову — этому гению одиночества и уединения. Ракуша хорошо выявила слагаемые этих его реалий: тяжелое детство, эгоцентризм, нарциссизм, страх смерти, опустошенность жизни и гениальные прозрения.

Выделим и превосходный экскурс о другом русском гении одиночества и уединения — Баратынском. Казалось бы, его строй мысли не имеет ничего общего с розановским. Но и для него, как для Розанова, уединение, прежде всего, духовная концентрация и, добавил бы я — духовная аскеза, которой Розанов не знал. Но — каждому свое...

В другом — очень ценном экскурсе Ракуша разбирает понятие, введенное Хомяковым. Это соборность — антитезис одиночеству и, в меньшей степени, уединению. Темы одиночества и уединения очень актуальны в наше время. Актуальны вопреки и добровольной нивелировке, и насильственной коллективизации. Желание — я хочу быть как другие, и приказ — ты должен быть как другие — могут привести к одному и тому же результату: *я* растворится в *мы* муравьиной цивилизации. В западном искусстве солитария часто затмевает политику и даже эотику (напр., в творчестве Т. С. Элиота и мн. др.). А в советском искусстве человек одинок в коллективе и с трудом обретает уединение — чтобы «созерцать звезды», как говорит Олег в *Раковом корпусе* Солженицына (и Ракуша на него ссылается).

Эта книга хороший справочник со многими ценными комментариями и исходный пункт для оживленной творческой дискуссии об одиночестве и уединении.

Юрий Иваск

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- В. Максимов.* Карантин. Изд. «Посев». Франкфурт на Майне. 1973 (362 стр.).
- Иван Елагин.* Дракон на крыше. Стихи. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1973 (159 стр.). Обложка и рисунки Сергея Голлербаха.
- А. Гладков.* Встречи с Пастернаком. ИМКА-пресс. Париж. 1973 (159 стр.).
- Л. Ржевский.* Три темы по Достоевскому. Изд. «Посев». Франкфурт на Майне. 1973 (56 стр.).
- Эммануил Штейн.* Мнемозина и Каисса. Антология русской поэзии. Изд. «Ладья». 1973 (62 стр.).
- Прот. Д. Константинов.* Зарницы духовного возрождения. Русск. Правосл. Церковь в СССР в конце 60-х и начале 70-х г.г. Изд. «Заря». Канада. 1973 (140 стр.).
- о. С. Желудков.* Почему и я — христианин. Изд. «Посев». Франкфурт на Майне. 1973 (324 стр.).
- И. Р. Шафаревич.* Законодательство о религии в СССР. ИМКА-пресс. Париж. 1973 (80 стр.).
- Валентина Синкевич.* Огни. Сборник стихов. Нью Йорк. 1973 (77 стр.).
- Роман Гуль.* Азеф. Исторический роман. Издание 4-е исправленное. Изд. «Мост». Нью Йорк. 1974 (320 стр.).
- И. С. Ежов и Е. И. Шамурин.* Русская поэзия XX века. Перепечатка с московск. издания 1925 г. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (667 стр.).
- Из переписки З. Н. Гиппиус.* Вступление и примечания Темиры Пахмусс. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (784 стр.).
- А. Авторханов.* Происхождение партократии. т. I. ЦК и Ленин. Изд. «Посев». Франкфурт на Майне. 1973 (728 стр.).
- А. Авторханов.* Происхождение партократии. т. II. ЦК и Сталин. Изд. «Посев». Франкфурт на Майне. 1973 (534 стр.).
- Валентина Богдан.* Студенты Первой Пятилетки. Изд. «Наша Страна». Буэнос Айрес. 1973 (279 стр.).
- И. А. Ильин.* Русские писатели, литература и искусство. Изд. Виктор Камкин. Вашингтон. 1973 (285 стр.).

- Григорий Климов.* Крылья холопа. Изд. «Россия». Нью Йорк. 1972 (485 стр.).
- Юлий Марголин.* Повесть тысячелетий. Изд. Общества по увековечению памяти д-ра Ю. Б. Марголина. Тель-Авив. 1973 (447 стр.).
- Русские писатели эмиграции.* Биографические сведения и библиография их книг по Богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре 1921-1972. Составитель Николай Зернов. Бостон, Масс. 1973 (182 стр.).
- Русские поэты Австралии.* Мельбурн. 1971 (147 стр.).
- Хроника защиты прав в СССР.* Выпуск 1, 2, 3. Изд. «Хроника». Нью Йорк. 1973 (по 80 стр.).
- Б. Андриан.* Современное познание Господа. Монреаль. Канада. 1973 (344 стр.).
- Странник.* Избранная лирика. Стокгольм. 1974 (227 стр.).
- Геннадий Озерецковский.* Русский блистательный Париж до войны. «Россия Малая» том I. Париж. 1973 (209 стр.).
- Edward J. Brown.* Major Soviet Writers. Essays in Criticism. Oxford University Press. London, Oxford, New York 1973. (439 p.).
- Stephen F. Cohen.* Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888-1938. Alfred A. Knopf. New York 1973. (495 + XVII).
- C. Moody.* Solzhenitsyn. Barnes & Noble. Great Britain. 1973. (184 p.).
- Rolf H. W. Theen.* Lenin. Genesis and Development of a Revolutionary. J. B. Lippincott Company. 1973. Philadelphia-New York (194 p.).
- Robert C. Tucker.* Stalin as Revolutionary (1879-1929). W. W. Norton & Co. New York. 1973 (519 p.).
- Dr. B. Ischboldin.* Essays on Tatar History. New Book Society of India. New Delhi. 1973 (184 p.).
- Complete Poetry of O. E. Mandelstam.* Translated by Burton Raffel and Alla Burago. With an Introduction and Notes by Sidney Monas. State University of New York Press. Albany. 1973 (353 p.).

В издательстве «МОСТ» вышла новая книга:

РОМАН ГУЛЬ

А З Е Ф

исторический роман

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ ИСПРАВЛЕННОЕ

ЦЕНА — 6 долл.

В КНИГЕ 320 СТРАНИЦ И ПОРТРЕТ АЗЕФА

Книготорговцам обычная скидка. Заказы направлять:

THE NEW REVIEW, 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

В феврале выйдет Р О М А Н

П. МУРАВЬЕВА

ВРЕМЯ И ДЕНЬ

из жизни современного Нью Йорка. Центральная мысль: несоответствие между безудержным прогрессом научно-технической цивилизации и замедляющимся духовным ростом человека. Затронуты острые современные проблемы: свободы, культуры, демократии.

Книга содержит 334 стр. крупн. формата, в полутвердой цветной обложке. Иллюстрации — автора.

ЦЕНА — \$7.00 (с пересылкой — \$7.50)

Заказы с чеками или мони-ордер направлять по адресу:

P. MURAVIEV, P.O.BOX 189C, Midland Park, N.J. 07432

УКАЗАТЕЛЬ
СОДЕРЖАНИЯ ОТ 102-й ДО 113-й КНИГИ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»
(1971 — 1973 Г.Г.)

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ
ОТ 102-й ДО 113-й КНИГИ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»
(1971 — 1973 Г. Г.)

ПРОЗА

- Андреевко, М.* — Перекресток, 105.
Белый, А. — Зовы времен, 102.
Булаков, М. — Рашель (публикация А. К. Райт), 108.
Валентинов, Е. — Антисинтетические лучи, 107.
Волл, М. — Генерал и дракон, 113.
Газданов, Г. — Эвелина и ее друзья, 102, 104, 105. Переворот, 107, 108, 109.
Зуров, Л. — Первый, второй... 108.
Ельцов, И. — Крюк, 105.
Ильинская, Н. — Птица голубая, 102, 103.
Кротков, Ю. — Борис Пастернак, 108. Последнее слово, 113.
Кузнецов, А. — Августовский день, 112.
Муравьев, П. — Время и день, 102. Полюс Лорда, 110.
Несмелов, А. — Прощенный Бес, 110.
Ржевский, Л. — Симпозиум, 109.
Соловьев, В. — Забытый рассказ, 105.
Ульянов, Н. — Сириус 104, 106, 109, 111, 112.
Хармс, Д. — Падение вод, 103. Старуха, 106.
Шаламов, В. — Рассказы, 102. Две встречи. Безымянная кошка. 103. За письмом. Огонь и вода, 104. Заговор юристов, 106. Город на горе, 107. Причал ада. Храбрые глаза, 108. Букинист, 110. Смытая фотография, 111. Геркулес. Ягоды, 112. Тишина, 113.
Шаховская, З. — Старость Пушкина, 110. Пустыня, 111. Лоскутки, 113.
Элис, В. — В бегах, 112.
Эрдман, Н. — Самоубийца, 112, 113.

СТИХИ

- Адамович, Г.* — Два стихотворения, 102.
Алексеева, Л. — 103, 106, 109, 113.
Анстей, Ольга — 103.
Бергер, Я. — 102.
Бетаки, В. — 112, 113.

- Вейдле, В. — 111.
 Величковский, В. — Воспоминание, 106, 109, 112.
 Владимирова, Л. — 113.
 Волин, М. — 107, 110.
 Глинка, Г. — 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113.
 Гробман, М. — 108.
 Еванилов, Г. — Баллада о дровосеке, 113.
 Елагин, П. — Переезд, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 112.
 Иванов, Вячеслав — Стихи о земном Рае, 103.
 Иваск, Ю. — 105, 108, 112, 113.
 Иверни, Виолетта — 112, 113.
 Пльинский, О. — 103, 104, 107, 108, 109, 111, 112.
 Кленовский, Д. — 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.
 Коржавин, П. — Церковь Спаса на крови, 113.
 Мар, Сусанна — 112, 113.
 Матвеева, Е. — 110, 113.
 Моршан, П. — 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113.
 Нарциссов, Б. — 111, 113.
 Одарченко, Ю. — 102.
 Одоевцева, П. — 103, 109, 110.
 Перелешин, В. — 104, 105, 108, 109, 110, 111, 113.
 Рашит, А. — 102, 109.
 Чиннов, П. — 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113.
 X. — Стихи из СССР, 107.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- Адамович, Г. — Оправдание черновиков, 103.
 Андреев, П. — Отчина и ее автор, 105. О самом важном, 111.
 Вейдле, В. — О поэтической речи, 103. Еще раз о словесности, слове и словах, 104. Толстой об искусстве, 105. Эмбриология поэзии, 106, 107. Музыка речи, 108, 109. Пикассана, 111. Звучащие смыслы, 110, 112, 113.
 Гуль, Роман — Читая «Август Четырнадцатого», 104.
 Донсков, А. — Предвестники «Вишневого сада», 112.
 Дубинин, М. — Радищев и Пушкин, 113.
 Иваск, Юрий — Христианская поэзия Мандельштама, 103. Упоение Достоевского, 107. Исповедь горячего сердца, 111.
 Пльин, Вл. — Вячеслав Иванов, 107.
 Пльинский, О. — Лермонтов и Плотин, 113.
 Кантак, Е. — Неизвестные письма Тургенева, 107.

- Кочевницкий, Г.* — Эмпирическая и научная фортепьянная педагогика, 106. Период барокко и Иоганн Себастьян Бах, 109. И. С. Бах и фортепьяно, 111.
- Крыжицкий, С.* — Анатолий Кузнецов, 110.
- Левицкий, С.* — Этика Солженицына, 102.
- Лопухина-Родзянко, Т.* — Духовные основы в творчестве Солженицына, 113.
- Натова, И.* — Драматизация произведений Достоевского, 104. Столетие «Бесов» Достоевского, 112.
- Первушин, И.* — Встречался ли Достоевский с Гоголем?, 105.
- Плетнев, Р.* — О животных у Достоевского, 106.
- Померанцев, К.* — Последний Адамович, 108.
- Ранит, А.* — К определению поэзии, 111.
- Ржевский, Л.* — Об одной творческой преемственности, 108.
- Стивенсон, И.* — Михаил Кузмин, 106.
- Струве, Глеб* — Кто был пушкинский «полонофил»? 103.
- Террас, В.* — Органическая критика, формализм, структурализм, 110.
- Фесенко, Т.* — Леся Украинка, 105.
- Чинцов, Игорь* — Смотрите — стихи, 92 (пропущено в предыдущем указателе). Вспоминая Адамовича, 109.
- Юрева, Зоя* — Казимир Вежинский, 108.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

- Адамович, Г.* — Бунин. Воспоминания, 105.
- Бугаева, К.* — Об Андрее Белом, 102. Андрей Белый на Кавказе, 103. А. Белый в жизни, 108.
- К биографии М. А. Булакова* (публикация Л. Милн), 111.
- Письма И. Бунина к Л. Зурову*, 105.
- Письма И. Бунина к Г. Адамовичу* (публ. А. Зверев), 110.
- Бунин о себе и своем творчестве* (Публ. М. Грин), 107.
- Из дневников И. А. Бунина* (Публ. М. Грин), 108, 109, 110, 111, 112, 113.
- Васильчиков, И. кн.* — Поместный Церковный Собор 1917-1918 гг, 102.
- Вернадский, Г.* — Пермь, Москва, Киев, 104. Крым, 105. Константинополь, 108.
- Гапанович, И.* — Амур, Шанхай, Филиппины, Пекин, 111.
- Градобоев, И.* — Берлин 1942 г., 102.
- Письма М. В. Добужинского* (публ. Е. Климова), 111, 113.

Ильин, П. — На службе в сов. разведке в тылу у японцев, 102, 103.

Инструкция НКГБ, 107.

Письма Н. Ф. Колина (публ. К. Аренского), 113.

Кочевницкий, Г. — Профессор Л. В. Николаев, 104.

Кротков, Ю. — КГБ в действии — 109, 110, 111, 112.

Кучеров, С. — Антисемитизм в дореволюционной России, 109.

Маквей, Г. — Письма и записки С. Есенина, 109.

Медведев, Ж. — Рассказ о родителях, 112.

Одоевцева, Прина — На берегах Сены, 103, 108.

Поздняков, В. — М. А. Зыков, 103. Первая конференция Военнопленных Красной Армии вступивших в РОД, 106.

Рапопорт, А. — Русский суд до революции, 112.

фон Раунах, Р. — Террор с двух сторон, 107.

Рахманинова, П. — С. В. Рахманинов, 103, 108.

Резникова, П. — А. М. Ремизов, 107.

Слоим, М. — О Марине Цветаевой, 104.

Струве, Г. — К истории русской зарубежной литературы, 110.

Из переписки Э. Гиппиус с М. Кантором, 112.

Из архива П. Б. Струве (публ. Г. П. Струве), 106.

Тузов, П. — Чекисты за решеткой, 102. Падение Ростова, 106.

Мои встречи с Н. В. Крыленко, 103.

Шифрин, А. — Четвертое измерение, 110.

Шуб, Д. — Из давних лет, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Авербух, Н. — Еще одно чудо, 106.

Авторханов, А. — Ленин и ЦК после июльского восстания, 102,

103. Новая фаза в политике советской экспансии, 104.

Вечный Микоян, 105, 107, 108, 111. Куба и Камо, 110.

Кто же «отец колхозов»? 113.

Андреев, Г. — После Толстого, 107. Только верой, 112.

Андреев, Н. — Мнимая тема, 109. «Свиток» Н. И. Ульянова, 113.

Анил, Д. — Возможно ли сближение? 111. Н. Валентинов о Ленине, 112.

Буковский, В. — Последнее слово на суде, 106.

Глазов, Ю. — Что же такое демократическое движение в СССР? 109.

Глинка, Г. — Русское старообрядчество, 111.

Градобоев, Н. — КПСС после съезда, 103.

- Гуль, Р.* — К вопросу об автокефалии, 106. Писатель и цензура в СССР, 109. Книга Жореса Медведева, 113.
- Декстер, Ч.* — Проблема социальной ренты в Америке, 110.
- Иванов, А.* — Внешняя торговля СССР, 102. Раздумья над новой пятилеткой, 103. Демографические процессы в США и в СССР, 111.
- Ижболдин, Б.* — о С. Булгаков как экономист, 102.
- Ильин, Вл.* — Эпоха низости, 103. Достоевский и Бердяев, 105.
- Каннак, Е.* — П. Дэкс об СССР и Солженицыне, 112.
- Марголин, Ю.* — Письмо к молодым друзьям, 103.
- Мацкевич, П.* — Капитуляция Римской Церкви, 108.
- Медведев, Ж.* — Конец «инакомыслия» или урок на будущее? 112. А. Д. Сахаров и проблема мирного сотрудничества, 113.
- Михайлов, М.* — Взгляд в глубину, 110.
- Павлов, К.* — К визиту в КНР президента США, 104. ООН и КНР, 105.
- Перелешин, В.* — Русские дальневосточные поэты, 107.
- Пирожкова, В.* — Советский коммунизм в немецких университетах, 106. Единство или свобода? 110.
- Поздняков, В.* — Новое о Катине, 104. Генералы РОА в американском плену, 108.
- Пушкарёв, С.* — Латышские стелки в борьбе за ленинскую власть, 104. Маркиз Кюстин, ген. Смит и проф. Кеннан, 106.
- Рутман, Р.* — Уходящему — поклон. Остающемуся — братство, 112.
- Соловьев, А.* — Светлая и святая Русь, 104.
- Струве, Г.* — Как составлялась антология «Якорь», 107.
- Суварин, Б.* — «Сталинизм» по Рою Медведеву, 113.
- Толстой, Б.* — Установление личности «Индриша», родоначальника Толстых, 113.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

- Авторханов, А.* — Ответ Д. Анину, 109.
- Андреев, П.* — Письмо к Р. Б. Гулю об «Августе 1914-го», 105. Письмо в редакцию, 111.
- Анин, Д.* — Ленин и 1917 год, 109.
- Бергер, П. М.* — Е. Д. Стасова, 103.
- П. А. и В. П. Бунины в кауи эмиграции* (публ. Л. Зурова), 107.
- Глэд, Дж.* — Экстраполяция, прогнозирование, моделирование, 102.

- Жернаков, П.* — Акад. Н. Рерих в Манчжурии, 110.
Десяностолетие Б. К. Зайцева, 102.
Зернов, Н. — Письмо в редакцию, 109.
Собрание сочинений Вяч. Иванова, 103.
Киселев, А. — Варсонофьев и Н. Ф. Федоров, 110.
Климов, Е. — К. Петров-Водкин о живописи, 105.
Ковалевский, П. — По поводу воспоминаний кн. И. Васильчикова, 109.
Неизданное письмо Ленина, 103.
Письмо президента США Ричарда Никсона, 102.
Перелешин, В. — Дальний Восток в «Якоре», 111.
Плетнев, Р. — Стихи в ящичке стола и А. С. Пушкин, 110. Заметка, 111. Ода «Бог» Державина, 105.
Письмо С. Г. Пушкарева, 102.
Прямышников, Б. — Урок на будущее, 113.
Соловьев, А. — О Ченстоховской иконе Богоматери. П. И. Чайковский и его музыка, 107.
Харден, Э. — Новые материалы о Грибоедове, 102.
Чехов, М. — О смерти С. В. Рахманинова, 111.
Чижевский, Д. — Письмо в редакцию, 112.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

- Адамович, Г. В.* — (Ю. Иваск), 106.
Вернадский, Г. В. — (С. Пушкарев), 113.
Газданов, Г. Н. — (Л. Ржевский), 106.
Зайцев, Б. К. — (Шиялева. А.), 106.
Зернова, С. М. — (М. Энден), 106.
Зуров, Л. Ф. — (Н. Андреев), 105.
Кантор, Михаил — (Е. Винавер), 105.
Малер, Е. Э. — (Ю. Иваск), 111.
Марголин, Ю. — (Р. Гуль), 111.
Мерinov, Д. В. — (С. Шаршун), 106.
Мияковский, В. В. — (Р. Гуль), 111.
Мозли, Ф. А. — (Р. Гуль), 106.
Сергиевский, Б. В. — (Прот. А. Киселев), 106.
Тизенгаузен (Н. Туров) — (Р. Гуль), 106.
Тимошенко, С. П. — (Л. Тихвинский), 108.
Унбегаун, Б. Г. — (В. Филипп), 111.
Шуб, Д. П. — (Р. Гуль), 111.
Элькин, Б. Н. — (Н. Андреев), 109.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Август 14-го читают на родине* — (С. Крыжицкий), 113.
Алексеева, Л. — Время разлук, 109. (В. Перелешин).
Алин, Д. — Революция 1917 г. глазами ее руководителей, 107.
 (А. Авторханов).
Бродский, И. — Остановка в пустыне, 102. (Ю. Иваск).
Брюсов, В. — Огненный ангел, 111. (Б. Нарциссов).
Валнер, Г. — Скульптура в Древней Руси, 103. (Е. Климов).
Варди, А. — Подконвойный мир, 109. (С. Крыжицкий).
Вартавский, В. — Ожидание, 109. (Ю. Иваск).
Вейдле, В. — О поэтах и поэзии, 112. (Ю. Иваск).
Гитлиц, Зинаида — Живые лица, 111. (Ю. Иваск).
Григорьев, Аполлон — Сочинения. Критика. 102. (Р. Плетнев).
Гуль, Роман — Одвуконь (Б. Нарциссов), 113.
Данилова, И. Е. — Фрески Ферапонтова монастыря, 107. (Е. Климов).
Донат, Александр. — Неопалимая кушна (Роман Гуль), 113.
Достоевская, А. Г. — Воспоминания, 107. (Р. Плетнев).
Загоровский, В. — Белгородская черта, 111. (Ю. Сречинский).
Зайцев, Борис — Избранное (О. Аштей), 113.
Записки Русской Академической Группы в США т. 4, 103. (Т. Сорокина) т. 5, 107. (Т. Сорокина).
Семейная хроника Зерновых, 111. (Н. Андреев).
Злобин, В. — Тяжелая душа, 107. (Б. Нарциссов).
Иваск, Ю. — Золушка, 102. (Г. Адамович).
Каратеев, М. — Арабески истории, 107. (Б. Нарциссов).
Каратеев, М. — По следам конквистадоров, 111. (Б. Нарциссов).
Кардиналовская, М. — Стихи, 111. (З. Юрьева).
Кленовский, Д. — Почерком поэта, 103. (О. Ильинский).
Корвин-Пиотровский. — Поздний гость. Стихи, т. 1, т. 2., 107. (Б. Нарциссов).
Крюков, Борис — монография, 105. (Т. Фесенко).
Лукашкин, А. — Казацья печать в Манчжурии, 113.
Максимов, Вл. — Семь дней творения, 107. (С. Крыжицкий).
Мандельштам, П. — Вторая книга, 109. (О. Ильинский).
Медведевы, Ж. и Р. — Кто сумасшедший? 109. (Ю. Сречинский).
Мережковский, Д. — Избранные статьи, 111. (Д. Чижевский).
Отец Алексей Мечев — Письма, воспоминания, проповеди, 102. (Ю. Иваск).

- Намир, М.* — Миссия в Москве, 104. (А. Бен-Яков).
- Олицкая, Е.* — Мои воспоминания, т. I и т. II, 107. (С. Крыжицкий).
- Перелешин, В.* — Южный дом, 5-я книга стихов, 107. (А. Раннит).
- Петров, В.* — Колумбы российские, 105. (Т. Фесенко).
- Платонов, А.* — Чевенгур, 111. (А. Киселев).
- Позов, А.* — Основы христианской философии, 102. (Игум. Геннадий).
- Пылин, Б.* — Первые четырнадцать лет, 111. (Б. Прянишников).
- Работы о чешско-русских отношениях*, 111. (Д. Чижевский).
- Радии* — монография, 111. (Т. Фесенко).
- Российский, М.* — Утро внутри. Стихи, 104. (Ю. Иваск).
- Северные цветы IV*, 111. (Ю. Иваск).
- Сокровища русского искусства*, 102. (Б. Климов).
- Солдатов, Г.* — Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский, 111. (Игум. Геннадий).
- «Дело» Солженицына*, 102. (В. Завалишин).
- Таубер, Екатерина* — Нездешний дом (Борис Нарциссов), 113.
- Фостер, Людмила* — Библиография русской зарубежной литературы 1918-1968 гг., 111. (А. Фесенко).
- Христианство, атеизм и современность*, 102. (Игум. Геннадий).
- Цветасва, М.* — Несобранные стихотворения, 107. (Ю. Иваск).
- Цветасва, Марина* — Незданные письма (Ю. Иваск), 113.
- Чиннов, Игорь* — Партитура, 102. (Г. Адамович).
- Чиннов, Игорь* — Композиция (Ирина Одоевцева), 113.
- Чуковская, Лидия* — Спуск под воду, 109. (С. Крыжицкий).
- Шаховская, Зинаида* — Перед сном, 109. (Ю. Иваск).
- Шнялева, А.* — Б. Зайцев и его беллетризованные биографии, 107. (И. Шведе).
- Шпенглер, Уте* — Д. Мережковский, как литературный критик, 111. (Д. Чижевский).
- Шувалов, Иван* — Хлеб и молоко (Юрий Иваск), 113.
- Эйхенбаум, В.* — О прозе. Сборник статей, 102. (А. Гольденвейзер).
- Эллиот, Т. С.* — К определению понятия культуры, 111. (Н. Мандельштам).

КНИГИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

- Andreyev, N.* — Studies in Muscovy. Variorum Reprints, 105.
(В. Вейдле).
- California Slavic Studies.* Volume VI, 111. (Н. Первушин).
- Čiževskij, D.* — Comparative History of Slavic Literatures, 111.
(В. Сечкарев).
- Czapka, Maria* — Europa w Rodzinie, 104. (М. Павликовский).
- Gawecki, Bolesław* — Filozofia rozwoju, 103
(Игум. Геннадий).
- Half a Century of Russian Serials* (1917-1968). Compiled by
Michael Schatoff. Edited by N. A. Hale Part II, 105. Part
III, 107. (Ю. Сречинский).
- Ischboldin, Boris.* — History of the Russian Nonmarxian Social
Economic Thought, 105. (Др. Д. Викор).
- Koeler, Ludmila.* — Anton Antonovič Del'vig, a Classicist in the
Time of Romanticism, 102. (О. Ильинский).
- Krzyżyski, S.* — The Works of Ivan Bunin, 111. (Ю. Иваск).
- Lyngstad, Alexandra and Sverre* — Ivan Goncharov, 111.
(В. Сечкарев).
- Mackiewicz, J.* — W Cieniu Krzyża, 111. (С. Крыжицкий).
- Pachmuss, Temira* — Zinaida Hippus. An Intellectual Profile,
104. (Г. Адамович).
- Pawlikowski, M.* — Wojna i Sezon. Dzieciństwo i młodość Та-
деуша Иртеńskiego, 102. (Н. Ульянов).
- Piroschkow, Vera* — Freiheit und Notwendigkeit in der Geschich-
te, 102. (И. Модесто).
- Rakuša, Ilma* — Studien zum Motiv der Einsamkeit in der russi-
schen Literatur, 113. (Ю. Иваск).
- Rannit, Alexis* — Kaljud, 113. (Б. Нарциссов).
- Rannit, Alexis* — Sôrmus, 113. (Б. Нарциссов).
- Rothberg, A.* — A. Solzenitsyn. The Major Novels, 107.
(С. Крыжицкий).
- Struve, Gleb* — Russian Literature under Lenin and Stalin
(1917-1953), 104. (В. Завалипин).
- Struve, Gleb* — Russian Literature under Lenin and Stalin, 107.
(О. Сорокина).

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ



ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1974 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1974 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня
